

Министерство культуры и молодёжной политики Самарской области
и Самарская областная писательская организация
представляют в проекте
«Народная библиотека Самарской губернии»
книгу

Евгений Жироухов

Мой любимый коллектив

Следствие по делу друга

Рассказы



Русское эхо
2009

Жироухов Е.В.

Ж 73 Мой любимый коллектив. Следствие по делу друга: Рассказы. — Русское эхо: Самара, 2009. — 272 с.

978-5-904319-22-9

Евгений Владимирович Жироухов родился 22 декабря 1953 года в городе Чернигове в семье военнослужащего. Отца переводили из гарнизона в гарнизон, вместе с ним переезжала и семья. Среднюю школу Евгений окончил в городе Муроме. После службы в армии окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета. Поменял множество мест жительства и профессий. Работал в следственных органах МВД, судебной системе, коммерческих организациях. Сейчас член коллегии адвокатов города Самары. Публиковаться начал с 1982 года, печатался в журналах «Дальний Восток» (г. Хабаровск), «Пограничник» (г. Москва), «Лесная новь» (г. Москва), «Русское эхо» (г. Самара), газетах «Волжский комсомолец», «Волжская коммуна», в коллективных сборниках. В 2004 году в Самаре вышел авторский сборник рассказов «Биндюжка».

Член Союза писателей России

**Мой любимый
коллектив**

Закон рынка, или Мой любимый коллектив

В группе учёта сидели три женщины. Сразу же у дверей, за маленьким столиком — Клавдия Петровна. У окна, рядом с телефоном и несгораемым шкафом — Ольга Ренатовна. В дальнем углу, за большим столом светлой полировки — Эмма Ерофеевна. Комнату разделяла пополам перегородка из тонкой фанеры, возведённая чисто из соображений субординации, но пропускающая сквозь себя даже скрип золотого пера авторучки. За перегородкой находился кабинет начальника группы. Начальником группы учёта тоже была женщина, итого четвёртая по счёту. Вернее, первая, поскольку — начальник, по имени-отчеству Анна Моисеевна.

Служебные обязанности женщины исполняли добросовестно, блюли трудовой распорядок, по магазинам среди рабочего дня не бегали и не только потому, что вокруг пустыри, складские ангары и непролазная грязь. Просто они были с развитым чувством долга, болели душой за родное управление, особенно в конце очередного квартала. За все эти хорошие качества женщины из группы учёта регулярно получали прогрессивку, тринадцатую зарплату и похвальные грамоты на Восьмое Марта.

Клавдия Петровна в последние два года перед пенсией взялась приходить на работу раньше всех, наивно полагая, что подобный трудовой энтузиазм где-то фиксируется. Клавдия Петровна пошуркала ключом в замочной скважине, толкнула дверь и потянулась рукой к выключателю. В это время в темноте из-за вешалки с ней поздоровался мужской голос. Клавдия Петровна тихо ахнула и прижала похолодевшие руки к затрепетавшему сердцу.

— Ох, Виктор Иванович, как вы меня напугали! Разве так можно? Без света сидите, я вас совсем не заметила...

Виктор Иванович вообще любил, чтобы его как можно меньше замечали... Эта его любовь к незаметности была на втором месте после любви к соседским тёмно-вишнёвым «Жигулям». Работал Виктор Иванович инженером по ТБ, тихо сидел в группе учёта за вешалкой и большую часть времени посвящал расчётам: сколько ему потребуется времени для покупки у соседа машины, если откладывать ежемесячно с зарплаты энную сумму. Значения «энной суммы» варьировались по-разному, но даже при максимально возможном размере отчислений, даже при жизненном уровне на грани голодного обморока вишнёвые «Жигули» еле-еле проглядывали сквозь голубую дымку далёкого будущего. Такие перспективы ужасно расстраивали Виктора Ивановича, но он мужественно молчал за вешалкой, грыз заусенцы на большом пальце и продолжал что-то считать на листке бумаги, словно надеялся найти арифметическую ошибку в своих расчётах.

От включённого Клавдией Петровной света Виктор Иванович покашляя сузил глаза. Привыкнув к свету, он положил перед собой чистый листок и вынул из нагрудного кармашка авторучку.

— Ну, вот, начинается новая трудовая неделя, — со вздохом, однако оптимистично сказала Клавдия Петровна.

Она достала из большой сумки какой-то свёрток, развернула его, встряхнула и повесила на гвоздик над своим столом заблестевшую мехом детскую шубку.

В комнату нервно-быстрой походкой пожилой девушки, которую непонятно что постоянно раздражает и нервирует, вошла Ольга Ренатовна. Она прицепила на рожек вешалки свою шапку и потом уже, сматывая с шеи длинный шарф, почему-то укоризненно поздоровалась с присутствующими.

— Здравствуйте-здоровствуйте, — ответил занятым тоном Виктор Иванович.

Вошедшая следом Анна Моисеевна поздоровалась первой сразу же с порога, как и полагается строгому, но демократичному руководителю нового типа.

— Здравствуйте-здоровствуйте, — повторил за вешалкой Виктор Иванович.

— Все на месте? — поправив перед зеркалом причёску, спросила Анна Моисеевна и посмотрела на наручные часы, будто с минуты на минуту ей предстояло скомандовать «отдать швартовы». — А это что у вас? — с циферблата часов она перевела взгляд на висящую над головой Клавдии Петровны шубку. — Продавать принесли? Она мальчиговая или на девочку? И какой же это размер? Натуральная, да?

Тут в широко распахнутых дверях возникла запыхавшаяся, раскрасневшаяся с морозца, в расстёгнутой шубе и с платком в руке Эмма Ерофеевна. Она посмотрела в строгие глаза начальницы, но не

придала никакого значения их выражению и, прыская, размахивая руками и платком, торопливо выпалила:

— Ой, что я вам расскажу — сплошной цирк!.. Выходим мы, значит, из автобуса. Я и эта фифочка Романова из бухгалтерии. Она спешит, торопится, я — сзади, а народу — тьма... Ой, не могу, так и стоит перед глазами. Ну и Романова с разбегу со ступенек — шлёп. Задницей на лёд — бряк и сидит, как кукла, глазами — хлоп-хлоп... Ой, не могу. Умора, чуть сама от смеха не шмякнулась...

Продолжая похохатывать, так что её не очень изящная фигура колыхалась, будто пшеничное поле под лёгким ветерком, Эмма Ерофеевна повесила шубу, поддёрнула чулки и направилась к своему столу светлой полировки.

— Всё это прелестно, Эмма Ерофеевна, — сделав прямую спину и вздёрнув подбородок, сказала Анна Моисеевна. — Но на работу надо приходиться вовремя. Тогда не нужно будет спешить, шлёпаться, брыкаться и тогда не случатся никакие смешные казусы... И вот это ваше любимое словцо... ну, сколько раз можно вас предупреждать, что в кругу культурных людей оно считается неприличным.

Анна Моисеевна ещё раз немного задержала взгляд на детской шубке и, цокая каблуками, ушла к себе за перегородку.

Под шум закипающего чайника за окном в морозной дымке поднималось блекло-розовое солнце, похожее на леденец в конфетной вазочке.

— Давайте пить чай, — сказала Клавдия Петровна и достала из своего стола чашку. — Анна Моисеевна, чай готов!

Все женщины с чашечками, Виктор Иванович с залапанным стаканом выстроились в очередь к чайнику. С полными ёмкостями вернулись по своим местам, а начальница присела у стола Клавдии Петровны. За чаепитием в группе учёта было принято говорить на общекультурные темы. На этот раз общекультурный разговор начался с вопроса Анны Моисеевны — по какой цене продаётся шубка.

— Так-то она семьдесят... но я переплачивала, с рук брала по случаю. Ну, за девяносто, наверное... — неуверенно сказала Клавдия Петровна. — Жалко, что внуку не подходит. Прямо места себе не нахожу.

— Ну, уж, девяносто, мне кажется, чересчур, — вставила Ольга Ренатовна без всякой враждебности, просто так, для объективности.

Приносить и продавать на работе вещи, по местным обычаям, ничего зазорного в себе не содержало. В управлении это практиковалось давно, управленцы женского пола представить себе не могли, что белоснежный кафель в том помещении, на дверях которого изображена девочка в платице, окажется вдруг пустынным, как зимняя тундра, без оперативных сообщений: что, где, у кого продаётся или обменивается. Даже наоборот, считалось, что престиж во многом

определяется тем, какой степени модности и дефицитности вещь предъявляют на продажу. Разумеется, со старыми валенками никто бы не вылез на глаза общественному мнению. Уважение коллектива — главное в жизни любого человека, другое дело — какими ценностями это уважение обеспечивается. Но в этом вина не отдельной личности, а самого коллектива, устанавливающего шкалу оценок.

Женщины разговорились о вчерашнем телеспектакле. Дружно сошлись во мнении, что спектакль — чушь и не соответствует жизненной правде. Анна Моисеевна ругала режиссёра, все остальные — актёров. Виктор Иванович молчал за вешалкой, хлебая голый чай без сахара и конфет.

Обсудив воскресные телепередачи, женщины немного помолчали, в одинаковом удовлетворении сознанием собственного превосходства над теми, кого выпускают на всесоюзный телеэкран. Они вот не рвутся к звёздам славы, простые, честные труженицы, исполняющие свой рядовой долг... хотя, если б захотели, тоже могли блеснуть кое-чем. Но очень им это надо?!

— И совсем ничего смешного не показывают, — сказала Эмма Ерофеевна, громко разгрызая карамельку. — Тоска... Раньше, помню, были такие смешные фильмы...

Эмма Ерофеевна, до сорока своих лет прожившая с простым русским именем Марфа в глухом таёжном посёлке, потом, перебравшись в большой город за сделавшим карьеру мужем, вдруг узнала, что есть на свете такая вещь — «тоска». И любила повторять это слово после очередного взрыва почти беспричинного смеха. Наверное, чтобы показать, что она тоже приобщена к цивилизации.

Напевая весёленький мотивчик, в комнату вошла пританцовывающей походкой Романова из бухгалтерии, прозванная мужчинами управления «фигурой», с ярко выраженным рельефом местности. Двумя пальчиками Романова изящно держала кусочек шоколадной плитки, левой рукой упираясь в бедро, туго обтянутое фиолетовым платьем.

— Ну, как? — спросила она, движением манекенщицы покрутившись на месте. — Как вам моя новенькая штучка? Плановый отдел в восторге.

Женщины группы учёта высказались очень сдержанно, как строгие арбитры на соревнованиях по фигурному катанию. Одна Клавдия Петровна с умильной улыбочкой покачала головой.

— Вчера с мужем собрались в театр. А по пути зашли в универмаг. Гляжу — длиннющая очередь, финские платья дают. Ой, говорю, папочка, если ты не купишь мне такую прелесть, я просто не знаю, что со мной случится. И вот, — Романова опять покрутилась на месте. — Как в нём родилась. Даже ни капельки не жалко, что в театр не попали.

— Золотой у вас супруг, — сказала всё с той же улыбочкой Клавдия Петровна.

— Да я и сама не деревянная, — Романова погладила себя по талии. — Ой, девочки! — вспомнила она. — Новость не слышали? Белкина у нас четвёртого рожать собралась. Кошмар!

— Размножаются, как кролики, — презрительно прокомментировала Ольга Ренатовна. — Чем плодиться, лучше бы на курорт хоть раз в жизни съездили.

— Да, — сказала Эмма Ерофеевна. — Один раз живём.

— Ну, это просто безответственно с её стороны, — высказалась начальница Анна Моисеевна. — Просто безответственно. Мир на грани катастрофы. Надо читать газеты.

— А это что такое у вас? — прищурив глаза, Романова посмотрела на висящую над столом Клавдии Петровны шубку. — Продавать принесли? И почём же? — Она облизнула пальчики и пощупала рукав шубки. — Сколько просите, если сразу, без вранья?

— Зачем же мне врать? — немного обиделась Клавдия Петровна. — Стоит она семьдесят, но я по случаю...

— Сколько?!

— Девяносто, я хотела...

— Берём, — коротко бросила Романова. — Моей Жульетке будет в самый раз.

— Почему это вы-ы берёте? — Анна Моисеевна порывисто поднялась со стула и встала в позу памятника завоевателю. — Я первая договорилась купить. Тем более, это шубка мальчиковая.

— А я петли перешью, — высокомерно глядя на чужого начальника, ответила Романова. — Дети — лучшее украшение родителей, и для своей Жульетки я ничего не пожалею. И вы тут свои права не качайте! Это называется — злоупотребление властью. Вот!

— Я-я? — голос Анны Моисеевны надломился. — Я... Вы сами врываетесь и мешаете работать... Скажите, Клавдия Петровна, ведь я же первая с вами договорилась?

Клавдия Петровна виновато улыбнулась и неопределённо пожала плечами. Глаза Ольги Ренатовны и Эммы Ерофеевны горели, как у футбольных фанатов в начале матча. Виктору Ивановичу ничего не было видно из-за вешалки и он вышел на середину комнаты, встал, заинтересованно приоткрыв рот.

— Я вам сейчас принесу девяносто рублей, — скороговоркой выпалила Анна Моисеевна и скрылась за перегородкой.

— Ах, вы так! — топнула ногой Романова и молнией вылетела в коридор.

Через пять секунд Романова на той же скорости влетела обратно. Опередив Анну Моисеевну на какие-то два шага, кинула на стол Клавдии Петровны сторублёвую бумажку.

— Сто рублей, кто больше?! Никто?.. Продано! — объявила Романова только и успевшей ахнуть Анне Моисеевне. Схватила с гвоздика шубку и уже неторопливо удалилась в свою бухгалтерию.

Поблудневшая Анна Моисеевна сдавленно прошептала:

— Ах, какая наглость...

— Хулиганка, — презрительно высказалась Ольга Ренатовна. — Прибегала, наорала, схватила, убежала — только пыль столбом.

— То-то её утром из автобуса выпихнули, — добавила Эмма Ерофеевна.

Виктор Иванович почему-то досадливо крикнул и вернулся на своё место. Взгляд начальницы, как сбитая с места стрелка компаса, покрутился по комнате и остановился острием на Клавдии Петровне, продолжавшей сидеть с растерянной улыбкой.

— Я, конечно, никогда не отрицала, что существуют совершенно беспринципные люди. Но я считала, что такие где-то там, за рубежом... Но чтобы у нас, вот тут, здесь, совсем рядом притаился такой преотвратный тип... В это я никогда не верила и теперь раскаиваюсь. Да, товарищи, мне очень горько за свой коллектив.

Она тряхнула причёской и понуро, как пожизненно в монастырь, поплелась за перегородку. Затем из-за перегородки послышалось тихое треньканье, будто рассеянно, без всякой цели нажимали на клавиши счётной машинки.

До Клавдии Петровны не сразу дошло, что это она и есть «тип». Потом, когда дошло, она густо покраснела, низко склонила голову и, поджав губы, принялась усердно переписывать что-то с маленьких листочков в большую тетрадь.

— Она думает, что, если ей скоро на пенсию, значит ей всё можно, — осуждающе объявила Эмма Ерофеевна.

— И не говорите, — согласилась Ольга Ренатовна. — Вот таким бессовестным образом всякие спекулянты и приобретают дачи, гарнитуры, машины...

Виктор Иванович вздрогнул при слове «машины» и быстро-быстро закивал головой.

— Совершенно верно. Честному человеку, чтобы купить машину, обязательно надо вступить в сделку с совестью. Иначе — никак. Вот я, к примеру...

За перегородкой раздался голос начальницы:

— Сейчас же прекращайте разговоры! Занимайтесь своими прямыми обязанностями!

Разговорившиеся было женщины притихли, как напавшие школьницы. Однако не прошло и пары минут, и Эмма Ерофеевна по простоте своей душевной, которая бывает у людей, долго общавшихся с девственной природой, уже забыла про запрет и высказала мучившую её мысль:

— А эта Романова!.. Видите ли, ей все можно, у неё муж — большой начальник. У меня тоже муж — начальник, но я же веду себя скромно. Правда, ведь? Ведь правда?.. А Романова считает, что ей всё можно.

Анна Моисеевна вышла из кабинета. В руке она держала чашечку, и по этому признаку было ясно, что она уже аннулировала свой приказ о «прямых обязанностях» и не прочь присоединиться к общей беседе.

Клавдия Петровна тут же опять приготовилась к атаке в свой адрес: свела к переносице светлые бровки и будто вся втянулась под крышку стола, как улитка в раковину. Пока начальница воодушевлённо говорила о дружном коллективе, который должен сообща наступить на горло антиобщественным явлениям, Клавдия Петровна, выдвинув незаметно ящик стола и достав оттуда кошелёк, а из кошелька — новенькую сторублёвку, подержала её в ладошке и сунула обратно в кошелёк. После чего тихо вздохнула.

— ...Откровенно говоря, я не представляю, как с такой червоточной в коллективе мы сможем выполнять поставленные перед нами задачи.

— Да! — Эмма Ерофеевна трахнула кулаком по столу. — А эту фи-фочку Романову, чтобы она не спекулировала своим мужем, надо вообще... перевести в уборщицы. Пусть там вертит своей... — Эмма Ерофеевна запнулась, вспомнив утреннее предупреждение, и закончила так: — Своим задом. Пускай! Я проголосую двумя руками.

— Нет! — коротко и резко сказала Ольга Ренатовна, как человек, знающий истину в последней инстанции. — Просто народ стал меркантильным до мозга костей. От этого и развал, и застой. От этого я до сих пор... в одиночестве. Мужчины, чёрт бы их побрал, обращают внимание только на материальные блага. А все другие... качества их совершенно не интересуют... Ну и пусть, пусть!..

Железный характер Ольги Ренатовны не выдержал порыва откровенности и она, хлопнув носом, достала зеркальце и пудреницу.

— Всё правильно, да что там, — рассудительно, по-мужски проговорил за вешалкой Виктор Иванович. — Что продаётся — то продаётся за сколько купят. А что не продаётся — того не купишь ни за какие деньги... Закон рынка.

Сказанное Виктором Ивановичем прозвучало очень значительно, даже красиво и все женщины, несмотря на разницу вкусов, уважительно посмотрели в сторону вешалки, на прикреплённый к стене плакат, изображающий щекастого мужика в строительной каске, который, выставив вперёд указательный палец, грозно вопрошал: «А ты соблюдаешь технику безопасности?». Мужик в каске имел большое внешнее сходство с Виктором Ивановичем и иногда кое-кто, не замечая отсутствия живого инженера по ТБ, разговаривал с его плакатным двойником и порой по довольно сложным вопросам.

— Я все законы знаю, но о таком что-то впервые слышу, — несколько недоверчиво сказала Анна Моисеевна.

— Это совсем другой закон, не настоящий... Экономический закон.

— Но всё равно звучит двусмысленно. Не продаётся — продаётся... А если народ скажет «Надо!», а?

— Тогда не знаю, — безразлично пожал плечами Виктор Иванович.

— Вот так-то, — Анна Моисеевна улыбнулась слабой, как после тяжёлой болезни, улыбкой. — Надо смотреть вглубь, в сущность. — Она поднялась со стула, сделала прямую спину и с красноречивым значением, присущим, по её мнению, руководителю нового типа, который всему знает меру, взглянула на часы. — Работать, работать, товарищи... А вы, Клавдия Петровна, к семнадцати ноль-ноль представьте мне отчёт по расходованию оборудования.

Клавдия Петровна побледнела и чуть слышно возразила:

— Но ведь впереди ещё целая неделя... У меня и всех данных ещё нет.

— Вам ясно, к семнадцати ноль-ноль? Работа есть работа. Спекулировать шубками, конечно, проще.

Бледное зимнее солнце постепенно подбиралось к зениту, рабочий день — к обеду, а время несло на бешеной, не фиксируемой глазом скорости и поэтому казалось, что оно стоит на месте.

Незаметно, будто его никогда не было, кончился понедельник, и так же незаметно, будто он был всегда, наступил вторник. Клавдия Петровна принесла коробку шоколадных конфет и положила её около чайника для общего пользования. Когда закипел чайник, дружно пили чай с конфетами и в один голос жалели Виктора Ивановича, которого за халатное исполнение служебных обязанностей лишили квартальной премии.

— Какой всё-таки у нас чудесный коллектив, — умильно вздыхала после каждой чашки Клавдия Петровна. — Правда-правда.

Моменты личной жизни

И в сорок лет женщина она, конечно, была красивая. Красивая сама по себе, от природы, потому что одеваться с шиком и со вкусом, наводить макияж она не могла, да и просто не умела. А накрашится иногда так, что ей секретарша директора прямо говорит: «У тебя, Танюха, или руки не тем концом вставлены, или ты специально, как папуасы, для устрашения врагов». К ней все запросто обращались: Танька, Татьяна, Танюха... И она ни на кого не обижалась, не поправляла на «Татьяну Васильевну», и даже, казалось, ей самой по душе такая форма обращения: мол, её все считают молодой.

— О-ох, — Татьяна с надрывом, что аж спазмом сжало сердце, вздохнула.

Накатила на неё печальная минута. Татьяна смотрела на видимый из окна уголок по-осеннему невзрачного сквера с какими-то безжизненными, как вырезанными из фанеры, деревцами, с мокрыми, облепленными павшими листьями скамейками — и все предметы перед её глазами двоились и туманились: то ли от запотевшего в мелких капельках стекла, или от повисшей на реснице слезинки. С чего-то вдруг представилась Татьяне вся её жизнь в виде мохнатого клубочка, смотанного из коротких и более-менее длинных ниток. Если разложить по порядку в линию эти обрывки, то и получится вся её жизнь к сорокалетнему возрасту.

Первая ниточка — это Саша, комсомольский секретарь их школы. Татьяне было тогда шестнадцать, а в семнадцать лет у неё родился Серёжка. Глупая была, вспомнить смешно. И ради какой-такой сладости столько позора перенесла — глупая и есть глупая. А Сашка сейчас директором таксопарка, толстый стал, старый — видела недавно, совсем некрасивый...

Потом был прапорщик Глотов, которого мама называла офицером и очень обхаживала: думала, что он Таню возьмёт замуж. Но замуж прапорщик не предлагал, да и самой не хотелось, потому что Глотов был рыжий и злой, когда пьяный. Затем, когда мамы уже не стало и оказалось, что в жизни очень много-много таких трудностей, о кото-

рых она и не подозревала, ей самой захотелось замуж. Она даже сама себе снилась каждую ночь в белом платье и фате.

В это время появились у неё два друга, весёлые парни Гарик и Слава. Они знали уйму анекдотов, пели под гитару хриплыми голосами, постоянно хохотали, не поймёшь над чем, и всегда приносили пятилетнему Серёжке кулёк карамелек. Между собой Гарик и Слава никогда не ссорились из-за Татьяны, раскидывали на картах: кому с ней оставаться, а кому уходить. По картам чаще всего выпадало Гарику, хотя ей самой больше нравился Славик: он был с хулиганскими голубыми глазами и очень похож на Есенина...

— Та-ань! — громко, как в лесу, позвал Татьяну из-за соседнего стола Павел Петрович, её непосредственный начальник. — Не ви-тай в облаках, займись делом. И убирай своё вязание. Нельзя же так явно, в рабочее время.

Рассеянно, с улыбкой, застывшей на губах, как след воспоминаний, Татьяна выдвинула ящик, сгребла в него разноцветные клубки шерсти, пластмассовые крючки и недовязанную шапочку. Села, будто примерная ученица, сложив руки на чистом столе.

— А что мне делать, Па-ал Петрович?

Весь в мохнатом волосе, круглый, похожий на постаревшего Чебурашку, Павел Петрович сердито дёрнул головой и, отставив мизинец, поскрёб ногтем поросшее чёрным мхом ухо.

— Баба ты, Танюх — первый сорт. — Павел Петрович добавил даже молодецкое «у-ух». — Но какая-то меланхоличная. И ни для чего другого не приспособленная, кроме того самого... Чем должен сейчас заниматься инженер диспетчерской службы?

— Ах, да, — вспомнила Татьяна. — Надо сводки собирать.

— Не сводки, не сводки! — Павел Петрович от сердитого недовольства заёрзал на стуле. — Сегодня среда-а. Гра-фик надо составлять.

Смущённо пожав плечами и жалко улыбнувшись оттого, что захихикали Вероника Фёдоровна и Света — тоже инженеры производственного отдела, Татьяна достала из шкафа рулон ватмана, развернула его на столе, придавив чугунными кругляшками. Устроившись на стуле поудобнее, встав на него коленками, Татьяна принялась чертить большие и малые квадраты, высунув от усердия кончик языка. Квадраты у неё получались аккуратными, и её гибкое, худощавое тело в облегающем фигуру темно-коричневом платье красиво, даже эффектно смотрелось с любой точки комнаты. Татьяна напоминала большую сиамскую кошку, изящно выгнувшую спину в приятной, сытой истоме.

— Подол-то одёрни, краля, — с усмешкой сказала Вероника Фёдоровна, женщина пятидесяти трёх лет, имевшая мужа и двоих сыновей и поэтому считавшая себя человеком строгой морали. — Всё твоё приданое наружу.

Татьяна, не отрывая карандаша от бумаги, левой рукой поправила платье. Павел Петрович снял с кончика носа очки, посмотрел на Татьяну, вернее, на линии её фигуры, крикнул своё молодецкое «у-ух» и отвернулся, будто через силу. Вероника Фёдоровна и Света переглянулись между собой, захихикали с солидарным пониманием.

Вероника Фёдоровна как старый кадр управления, а из её рук и молодой специалист Света знали то, отчего они сразу поняли, почему их начальник так от души произнёс своё «у-ух». Было это давно, лет двенадцать назад, когда Павел Петрович ещё не был таким мохнатым колобком, пропахшим дымом дешёвых сигарет. А Татьяна тогда, естественно, имела ещё больший потенциал привлекательности, магнетически действовавший даже на вышедших в тираж конторских мафусаилов, у которых при виде Татьяны появлялась в глазах туманность, точно у котов в начале марта. Чудодейственно оживляясь в ущерб своей авторитетной осанке, эти бывшие творцы порывов энтузиазма млели в присутствии Татьяны от собственных сальных комплиментов, не обращая внимания на участвовавшее сердцебиение, хруст ревматических суставов и шамканье вставных челюстей.

«Какую, дурёха, могла подыскать себе партию, — иногда вздыхала Вероника Фёдоровна с таким сожалением, точно речь шла о её собственных просчётах. — Ведь могла жизнь себе устроить, да ещё какую жизнь. От нашей Таньки даже у генерального директора слюнки текли. Одним словом, бог для неё красоты не пожалел, а насчёт мозгов решил, что она и без них с голоду не умрёт».

Однако, правду сказать, именно тогда, в благожелательные для неё времена, Татьяна получила должность инженера при своём общем среднем образовании.

Павел Петрович ни в коей мере не относился к категории донжуанов или просто влюбчивых мужчин, наоборот — был исключительно примерным семьянином. Ни внешностью, ни должностью, никакими другими особенностями, фокусирующими на себе внимание женского пола, он не обладал. Но вот, тем не менее, тоже полез в эту толкучку у Татьяниной юбки, непонятно чем руководствуясь и на что надеясь. Бес в ребро ему, что ли, или общий ажиотаж подействовал: так сказать, обострённое чувство коллективизма проявилось.

Кстати, о коллективизме. В те времена коллектив был дружнее и сплочённее. Частенько и после работы задерживались, чтобы отпраздновать день рождения в кругу сослуживцев, и на пикники, по грибы, на рыбалку коллективно выезжали. За пустую бутылку из-под коньяка, обнаруженную в кабинете, не вызывали на профком-партком и не грозили, если не признаешься, снять отпечатки пальцев. Всё как-то проще было, душевнее, без номенклатурного шовинизма. Руководители, их замы и другие нижестоящие начальники

не чурались общаться с подчинёнными в неслужебной обстановке. Подчинённые, в свою очередь, очень по-человечески понимали слабости начальства, когда оно, остограммившись, захочет вдруг спеть немзыкальным голосом какой-нибудь романс, или положить руку на чью-нибудь круглую коленку.

Так что у тогдашнего Павла Петровича была возможность встретиться с Татьяной в неслужебной обстановке и объяснить, как он сам выразился, свои чувства. Они сидели у догорающего костра, уставший отдыхать коллектив храпел в палатках, Татьяна отгоняла веткой комаров и не очень вслушивалась, что ей там, заикаясь, пытается объяснить Павел Петрович. Вернее, по опыту ей уже с первых слов стало ясно, о чём пойдёт речь: ни о чём другом с ней мужчины никогда не разговаривали. Другая бы на месте Татьяны начала кокетничать, вертеть хвостом, по-всячески злоупотреблять своим положением, а Татьяна просто и даже чуть с жалостью сказала:

— Да что вы, Па-ал Петрович, я сейчас с Мишкой из снабжения... Не могу же я сразу с двумя. Я всё-таки порядочная женщина... Вы, наверное, обо мне плохо думаете? Да?

— Нет, нет, — Павел Петрович сильно замотал головой. От собственного волнения и от Татьяниной откровенности он ещё больше заикался. — Я н-не к-как все... Я в-в самом серьёзном смысле. Брошу семью и мы п-п-поженимся. Д-давай, а?

— У вас на лбу комар, — спокойно сообщила Татьяна и легонько хлопнула Павла Петровича веткой по голове.

— Я... я, знаешь как тебя любить буду... Я очень хозяйственный...

Татьяна поднялась и жестом подозвала к себе Павла Петровича. Тот, мелко подрагивая, прижимая к сердцу обе руки, подошёл к ней и попытался чмокнуть в губы.

— Ну вот, — как бы разъясняя, сказала Татьяна, положив на макушку Павла Петровича ладонь, а потом чиркнув ею себя на уровне бровей. — Вы ниже меня на целых восемь сантиметров. Разве у нас получится счастливая семья?

— Танечка, в принципе, это не имеет значения...

— Как же не имеет? — удивлённо возразила Татьяна. — В семье всё имеет значение... Идите, идите, Па-ал Петрович, спать. Ну, Па-ал Петрович... не надо. Ой, что вы, Па-ал Петрович!.. Прямо здесь?..

В дружном коллективе, где по-настоящему развито общение между людьми, совершенно невозможно что-либо скрыть. Это, наверное, единственное отрицательное качество дружного коллектива. Так впоследствии думал Павел Петрович.

Татьяна пришла на работу с печальным лицом, уселась на место и сидела, вздыхая, будто специально ждала, чтобы её спросили: «Что такое, Тань, случилось?».

— У тебя платье под мышкой разорвалось, — сказала Вероника Фёдоровна, обсасывая после вишнёвого варенья палец.

— Ой, где? — Татьяна всполошилась, по-птичьи заглянула себе под мышку, обнаружила распоровшийся шов, из которого выглядывала розовая комбинация. Сконфуженно прикрыла дырочку ладошкой. — Надо же, совсем новое платье. Толстею, что ли...

— Наверное, — кивнула Вероника Фёдоровна, аккуратно переливая горячий чай из чашки в блюдечко. — От хорошей жизни.

— Какой уж там хорошей, — сказала Татьяна с глубоким вздохом и низко опустила голову. На шее у неё проступили острые позвонки, и шея казалась тонкой, беззащитной, как у ошипанной заживо курицы. — Вот Серёжку моего опять с работы выгнали. Опять пьёт, стервец. Опять со своей крыской из меня соки тянуть станут.

— А сколько же его крыска получает? — поинтересовалась Света.

— Да сколько она там получает. Рублей 60-70. А у них два спингрыза... Ладно бы оба родные внуки, а то ж один прижитой, не поймёшь от кого... Вот и корми их четверых. А у меня и своя личная жизнь.

С плаксивым выражением, Татьяна прикусила нижнюю губу. Света сочувственно закивала и в знак солидарности тоже пару раз вздохнула.

— Вот будут теперь с Витькой лаяться до мордобития каждый день. То ничего — дружные, в карты играют, самогонку вместе гонют... А то сцепятся, как собаки, из-за какой-нибудь чепухи. Может, Витька к его крыске без меня пристаёт?

— Витька — кто такой? — не поняла Света.

— Витька-то? — Татьяна смущённо повела плечом. — Ну так, один хороший человек...

— Да хахаль это её новый, — в открытую пояснила более информированная Вероника Фёдоровна.

— Так был же этот... Валерка? — опять не поняла Света.

— Был да сплыл, — опять объяснила за Татьяну Вероника Фёдоровна. — Теперь Витька.

— Уж больше месяца прошло, — добавила Татьяна. — Я же вам рассказывала, вы, что ли, не помните. Валерка, конечно, как мужик хуже Витьки. А Витька на шесть лет меня старше. Но зато денег мне даёт иногда. Всё помощь какая-то. А то как же я на 123 рубля такую ораву прокормлю... Вот если бы Серёжка не пил, да ушёл бы куда-нибудь жить со своей крыской — тогда бы всё было бы ничего... А так — одно мучение, я со своей зарплаты даже за детский садик плачу.

Вероника Фёдоровна, покончив с чаепитием и убирая в стол чайный прибор, сказала авторитетно:

— Это, Таньк, твоя беспутная жизнь тебе боком выходит. Бог шельме счастья не даёт.

— Кто шельма, я? — с покорной интонацией, без возражения спросила Татьяна.

— Ну, не я же. Сама ты, Тань, и виновата. Помнишь, небось, как я тебе мужика сватала? Крепенький такой мужичок, пенсия приличная, квартира отдельная, в квартире всё, что надо. Жила бы, как сыр в масле каталась. Так нет же: ты коньяку наалакалась — и давай перед его сыном своим задом вертеть. Разве какому приличному человеку такая женщина понравится, пусть даже и на морду смазливая.

Татьяна тихонько хихикнула, видимо, вспомнив то сватовство.

— Ох, — сказала она, махнув ладонью. — Если кровь играет, что же мне со стариком себя заживо хоронить? Успеется ещё. Вот в газете сколько объявлений, где пожилые мужчины ищут молодых жён. Успеется ещё.

— Шалава ты, — Вероника Фёдоровна сплюнула в сердцах. — Слаба на передок, поэтому и женского счастья не знаешь. Вот.

— А может, женское счастье и есть в этом смысле. — Татьяна игриво повела головой и прищёлкнула языком. — Чтобы мужчины по тебе обмирали и чтобы всякий раз по-разному, по-другому. Так всё интересно-о. Я вот даже как начну вспоминать — и то интересно.

— Тьфу, — сказала Вероника Фёдоровна, а Света засмеялась и захлопала в ладоши. Вероника Фёдоровна посмотрела и на Свету, ещё раз сказала: — Тьфу.

В кабинет вошёл Павел Петрович, вернувшийся с оперативного совещания. Ему, видно, там досталось: он был молчалив и мрачен. Подлаживаясь под начальника, замолчали и помрачнели подчинённые. Но через минуту, начав с протяжного «о-ох», Татьяна опять проговорила:

— Нет, ну почему я такая несчастная... Убейте, не понимаю.

Машинально водя авторучкой по журналу сводных отчётов, Татьяна смотрела на разложенные под настольным стеклом картинки и думала о своих горестях. Может, попросить зарплату прибавить? Так скажут — у тебя, подруга, и так должность выше образования. Устроиться по совместительству уборщицей? Рублей сорок прибавки к зарплате — это было бы здорово. Но будешь приходить вся измочаленная. Витька будет недоволен. А Витька — мужик, каких поискать, настоящий трактор, хоть землю на нём паши. Но очень уж привередливый... А ещё говорят — неполноценный, в школе для умственно отсталых учился. Сплетники: завидуют, вот и наговаривают на мужика. Нет, за Витьку держаться надо: он и спокойный, и деньги иногда даёт. С ним жить можно. Всё бы было хорошо, если бы Серёжка со своей крыской куда-нибудь уехали. Соседка рассказывала, что люди на Сахалин вербуются, там, как будто, большие деньги платят. Так разве куда спихнёшь его, присосался к матери — никакой жизни не даёт. Уехал бы в самом деле в этот Сахалин, и всё бы наладилось...

— Ой, — Татьяна испуганно пискнула, увидев, что страницы служебного журнала она произвольно искалякала жирными треугольниками и продолговатыми кругами, будто графически отобразив ход своих мыслей.

— Что такое? — сурово спросил Павел Петрович.

— Ничего, ничего, — Татьяна замотала стриженной причёской и, как виноватая школьница, посмотрела на Павла Петровича широко раскрытыми светло-зелёными глазами.

— Так что ж ты-то: ойкаешь, айкаешь?

— Просто так, вырывается...

— Это она все свои любви в памяти перебирает, — улыбнулась Света. — Даже завидно: есть что вспомнить человеку.

Вероника Фёдоровна подняла голову и сказала, как проквкала:

— Да уж... да уж...

Павел Петрович заёрзал на месте, почмокал губами, похмыкал и осуждающе произнёс:

— Ты у нас, Тань, прямо, как Клеопатра какая. До старости лет один секс на уме.

После этих слов щёки у Татьяны густо покраснели, глаза потемнели и сузились. Она порывисто вскочила и, стукнувшись по дороге бедром об угол стола, выбежала в коридор.

Оставшиеся в молчании переглянулись.

— Ну, зачем вы так, Павел Петрович? — с упрёком сказала Света.

— А что я? — начальник растерянно пожал плечами. — Что я такого обидного сказал? Подумаешь, обиделась...

— Клеопатрой обозвали, — объяснила Вероника Фёдоровна, надевая очки, как она всегда делала в критических ситуациях. — Ну и правильно. Клеопатра — она и есть Клеопатра.

— Вы сказали, что она — старуха. Вот что, — жалостливым голосом вступилась Света. — Для женщины её лет — это ужасное оскорбление. Вы поступили очень жестоко, Павел Петрович. Тем более, что у вас с ней... то есть у вас к ней... — Света замялась. — Ну, короче, у вас с Татьяной были... интимные отношения.

— Что-о? — взревел Павел Петрович и хлопнул ладонью по столу. — Обо мне такое сказать!.. Ты понимаешь... — он весь затрясся, не находя слов, выражающих его возмущение. — Ах, ты, какая подлая!..

Света, как яблочко, налившись пунцовым цветом, демонстративно зажала пальцами уши. Павел Петрович орал, а Света хладнокровно делала вид, что ничего не слышит. Но тут она поймала на себе упрекающий взгляд Вероники Фёдоровны, поняла, что означает этот взгляд, поняла, что начальник есть начальник, работа есть работа и другой пока не предвидится. Придавая голосу извиняющие интонации, сказала:

— Вы не думайте, Павел Петрович, что я об этом от кого-то что-

то слышала. Дело не в сплетнях, просто это выразительно светится в ваших глазах...

— Что светится? — рыкнул Павел Петрович. — Сплетни это!

— Ну, просто видно по вашим глазам, что вы равнодушны к Татьяне, к её нескладной женской судьбе. Просто у вас, наверное, такая добрая душа. А я такой человек прямой — если что на уме, то и на языке.

— Больше бы надо на уме держать, — с затухающим бухтеньем проговорил Павел Петрович. — А то можно до такого договориться. Я ко всем с добрым сердцем — что ж, значит, у меня со всеми интимные отношения? Даёшь ты...

В кабинет быстрой походкой вернулась Татьяна, будто она специально дожидалась за дверью минуты примирения.

— Ой, что вы сидите, — с радостью на лице сказала она. — В буфет сардельки завезли. Я очередь заняла, пойдёте быстрее. Хорошие сардельки.

— Ну вот, что я вам говорила, — хмыкнула Вероника Фёдоровна. — С нашей Таньки всё — как с гуся вода... Какие сардельки-то, говяжьи?

Под Новый год Татьяна заболела, что-то там внутри, по женской части. Её положили в больницу и она ежедневно звонила оттуда, хныкающим голосом упрекала сослуживцев, что «ко всем ходят», а к ней никто не ходит.

— Что, и Серёжа не ходит? — спрашивала Вероника Фёдоровна. — И Витька твой?.. Ну, дорогуша, а нам некогда. У нас дети, мужья, семья... Надо было думать в своё время. Сама виновата, вот она, твоя кошачья жизнь сказывается... Да, кошачья. Сама знаешь, почему... Ну, ладно, ладно, заглянем как-нибудь, всё ж не все добрые чувства по очередям растрепали. Что тебе принести?.. Какого пива, ду-ура! Тебе витамины нужны, сколько кровищи потеряла. Вон, голосок-то стал, как у полудохлой овечки... Эх, Танька, Танька, — Вероника Фёдоровна положила трубку и покачала головой. — Как живёт: совершенно без ума, на одних чувствах.

— Да-да, — высказался Павел Петрович. — В Татьяне ярко выражено женское начало. И дальше этого начала её психология не развивается. Её развитие замерло на примитивно-чувственном уровне.

— По-вашему получается, — фыркнула Света, — что Татьяна наша — просто симпатичная человекообразная обезьянка?

— В общем-то так, где-то на этом уровне... — Павел Петрович, когда начинал умно говорить, имел привычку надувать щёки и выпячивать грудь, будто выступая с трибуны торжественного собрания. — У простой обезьяны есть брачный период, а у Татьяны этот период круглогодичный и сплошь всю жизнь. И никаких обязательств, никакого супружеского долга, материнского инстинкта. Вся суч-щность

нашей Татьяны заключается в одном-единственном, — Павел Петрович поднял указательный палец, поросший короткой чёрной щетиной, — но чрезвычайно гипертрофированном качестве женской натуры.

— Да уж, — туманно поддакнула Вероника Фёдоровна, отчего-то сделав расстроенное выражение лица.

— А-а, глупости, — не согласилась Света. — Обыкновенная женщина, добрая, ласковая, чувственная и немножко глупенькая. И несчастна в своей судьбе, как многие другие.

— Да уж, — опять проговорила Вероника Фёдоровна, теперь с интонацией несогласия. — Танька себя несчастной не считает, куда там. Скорее, она тебя невезухой назовёт за то, что ты до двадцати шести лет принца дожидаясь. У Таньки к этим годам пры-ынцы шли, точно через заводскую проходную к началу смены.

Павел Петрович крикнул и заёрзал на стуле.

— Вот ведь морока с женским контингентом. Опять все сроки отчёта пропустим. Давайте, товарищи женщины, не отвлекаться на посторонние предметы.

За двадцать лет Татьяна так вписалась в интерьер и атмосферу производственного отдела, что без её коротко стриженной головы, простодушной болтовни по любому поводу, её айканья и ойканья ощущалась какая-то непривычная пустота. Во всех разговорах, будь то по служебной тематике или просто в общем смысле, не хватало её мнения — самого неквалифицированного и наивного, по сравнению с которым остальные чувствовали себя квалифицированнее, умнее и опытнее. Что там говорить, скучал коллектив без Татьяны и, когда она после своей болезни явилась на работу, ей все душевно обрадовались, стали спрашивать — что да как. Татьяна сказала, что «ужас», у неё теперь кошмарный шрам на животе и «мужикам, конечно, это не понравится».

— Какие мужики! — сразу возмутилась Вероника Фёдоровна. — Таньк, ты посмотри на себя, на кого ты стала похожа: худая, синяя, волосишки торчком... А все про мужиков.

— С ума сошла! — тоже ахнула Света, прижав ладони к щекам. — Тебе с полгода никого нельзя к себе подпускать. Ты что, такая операция. Не вздумай!

Павел Петрович закричал и закачал головой.

— Да-а, — сказала Татьяна грустно, — меня врачи уже предупредили. И всё равно. Витька-гад куда-то смылся, пока я в больнице валялась. Всё своё утащил, даже трусы, которые я ему покупала.

— Ну и... — Вероника Фёдоровна выразилась немного неприлично, но в своём кругу это позволялось, — с твоим Витькой. Найдёшь потом кого другого.

— Да-а, — опять протянула Татьяна, как недоверчивый ребёнок, и скривила губы. — Уже возраст не тот, чувствую. Раньше на меня никогда посторонние мужчины не кричали, а сегодня в автобусе один дурак наорал. Старею, что ли?

— Что ж ты хочешь, подружка, вечно молодой оставаться? Это ж за какие святые поступки тебе такое благоденствие? — вдруг вскипела Вероника Фёдоровна, словно Татьяна молодость приближала её собственную старость. — Теперь всё, — сказала она категорично, — начнёшь стареть прямо на глазах, свечкой таять. Каждое утро, глядя на себя в зеркало, рыдать будешь. Есть такой закон в женской природе: кому всё постепенно, а кому — всё сразу. Расплата за личную жизнь называется. И в один миг, блямс-с — ты чистая старуха: волосы седые, всё лицо в красных прожилках, руки трясутся...

— Ой, что вы такое говорите, — шёпотом сказала Татьяна и замала на Веронику Фёдоровну. — Совсем напугать меня хотите сегодня.

— В самом деле, — заступилась Света, у которой тоже от таких жутких предсказаний аж выступили мурашки. — Человек из больницы, ослабленный, а вы ему ещё больше состояние усугубляете. Вот уж — женская солидарность.

— Может быть, и нет, — повлажневшим голосом проговорила Татьяна. — Вот оклемаюсь после больницы, накоплю денег на новое платье, схожу в парикмахерскую — и вы ещё сами скажете: посмотрите, какая наша Танька хорошенькая.

— Ду-ура! — Вероника Фёдоровна аж подскочила на стуле. — Когда я такие слова говорила? Десять лет назад?

Короче говоря, коллектив отдела снова заработал в полном комплекте. В чём-то и как-то это сказалось, наверное, на общей производительности труда, потому что через месяц управление вдруг выполнило план, который всем всегда казался недостижимым, как линия горизонта. И, разумеется, сотрудникам управления выдали премию пропорционально должностному окладу.

Отойдя от зарешёченного окошка кассы, Татьяна в радостном порыве поцеловала тоненькую пачечку трояков, потом свернула их в рулончик и спрятала на груди, куда женщины обычно прячут самые дорогие и не очень крупногабаритные вещи.

— Ой, сколько я всего накупию, — уже вернувшись в отдел, Татьяна размахнула в мечтательном восторге руки и сладко прижмурила глаза. — Магнитофон мне надо — раз, новое платье — два, зимнее пальто — три...

— Сколько ж тебе премии выписали? — ехидно перебила её Вероника Фёдоровна. — Сорок два рубля... А то уж мне показалось, что две тыщи. Сколько всего накупить собралась.

— Ну, не всё сразу. Хотя что-нибудь одно, — не теряя ощущения счастья, объяснила Татьяна. — И то как хорошо.

— В первую очередь платье купи, — посоветовала Света.

— Ты думаешь? — Татьяна погладила рукава своего коричневого платья, потеряла материал, истёршийся на локтях до просвечивания, и вздохнула. — А я хотела магнитофон.

— Вот теперь и я готова на тебя заорать, — с усталым вздохом произнесла Света. — Какой магнитофон, Та-ань?

— Ну-у, а как же без магнитофона? Вам хорошо, у вас есть. А мне, знаете, как без музыки скучно. Так одиноко вечерами бывает. Даже плакать хочется, — шёпотом, как свою тайну, сказала Татьяна.

— Внуков вон нянчи, — хмуро пробурчала Вероника Фёдоровна. — Одиноко ей, походишь ты.

— Или займись общественной работой, — подал совет Павел Петрович. — Для женщины твоего возраста и семейного положения это — как лекарство.

Татьяна обиженно поджала губы, потом, что-то шепча себе под нос, занялась служебными бумагами.

Прямо на глазах, как по колдовскому наговору, как забытый без воды комнатный цветок, Татьяна и в самом деле начала блекнуть, дурнеть, спала с тела и сделалась беспричинно плаксивой. На висках у неё гусиными лапками собрались морщины, кожа на лице сильно блеснула, волосы, наоборот, потускнели и свалились, как вата. И хотя наступил март, расцветала весна, так любимое Татьяной время года, сама она напоминала видимый из её окна скверик, неудобный и жалкий под холодным ноябрьским дождём.

Мужчины управления уже не приставали к ней в коридоре с шуточками и не лезли оказывать знаки внимания; наоборот, грубили в ответ, когда Татьяна, занятая по совету общественной деятельностью, ходила по кабинетам и предлагала приобретать марки общества охраны памятников старины. И Павел Петрович, начальник строгий, но заботливый, как родной отец, вдруг перестал принимать близко к сердцу Татьянины панические междометия, раздражался от них и однажды даже, не поймёшь с какой причины, пригрозил поставить вопрос на аттестационной комиссии о профессиональной пригодности Татьяны занимаемой должности. Как будто занимаемая ею должность необходимо требовала смазливой мордашки. Конечно, в такой обстановке душа, привыкшая к любви и вниманию, сжималась в комок от моральных страданий, от резкой смены сезона жизни.

— Я всё думаю, думаю, почему я такая несчастная, — как-то начала жаловаться Татьяна Свете, единственному человеку, кто ещё внимал с сочувствием её стоан. — И решила, что во всём виноват комсомол...

— Почему?! — ахнула Света от такой логики и, видимо, в душе представив — не эта ли же причина её столь долгого девичества.

— Потому что, если бы я не пошла вступать в комсомол, я бы не встретилась с Сашкой, — Татьяна загнула один палец на руке. — А не встретиться я с Сашкой, может быть, меня никто другой не уговорил, — она загнула второй палец. — Сашка здорово умел уговаривать, такой болтун был, просто кошмар...

Все причины несчастной жизни уместились на двух руках. Однако фаталистически настроенная Света сказала, что судьбу не обманешь. И, не будь Сашки, был бы Яшка или какой-нибудь Леопольд.

— Да? — надломленным голосом произнесла Татьяна, всё ещё держа перед собой девять загнутых пальцев. — Помню, мама-покойница тоже что-то про судьбу говорила, когда у меня пузо расти начало. А я дурочка была, ничего не понимала. Думала, вот подожду немного и придёт ко мне моё большое счастье.

— Ждётся, ждётся... — с глубоким вздохом сказала Света, перебирая длинными пальцами листочки перекидного календаря. — Как будто стоишь в огромной очереди за счастьем и не знаешь твёрдо — останется ли на твою долю кусочек.

— Ах, что у нас без очередей достанешь. За всем очередь, — с бубнящей интонацией Вероники Фёдоровны сказала Татьяна. Она сложила лодочкой ладони, ткнулась в них лицом и беззвучно заплакала.

На улицах стоял снег, но деревья ещё не распускались, было жарко и пыльно. Мобилизовав все материальные резервы, Татьяна прибархла на весенний сезон и теперь ходила на работу в тёмно-зелёной шляпке с заливчатски торчащим пёрышком, в жёлтом пальто распашонкой и белых брезентовых кроссовках отечественного производства. Она старалась прямо держать спину, смотреть весело, но всё равно взгляд у неё получался не весёлый, а какой-то виновато-заискивающий.

На субботник все служащие управления явились, как и было объявлено накануне, одетыми по-рабочему и полные трудового задора. Шум и гомон в коридорах, сквозняки от распахнутых настежь окон, гимны энтузиастов из настенных репродукторов создавали праздничную атмосферу.

Руководящий «треугольник» в костюмах, при галстуках, как в крестном ходе, обходили отделы и секторы, поздравляли коллектив с праздником труда. Исключая управленческий «треугольник», только Татьяна на общем фоне выделялась нерабочей формой одежды и, даже, с пришпиленным к платью бантиком для особо торжественных случаев.

— У меня сегодня очень важный день, — объяснила Татьяна, поблескивая глазами, чего за ней давно не замечалось.

— Сегодня у всех важный день. Но все почему-то пришли без бантиков, — пробурчал Павел Петрович.

Взгляды Вероники Фёдоровны и Светы намагниченными стрелками остановились на Татьяне. Та хотела казаться таинственной и почти минуту ничего не объясняла, а потом выпалила, точно новость международного значения:

— Глотов вернулся. Вчера пришёл вечером и очень-очень просил остаться, чуть ли не на коленях стоял. — Объясняя, кто такой Глотов, Татьяна быстро протараторила: — Был у меня в юности один офицерик, бегал за мной ещё при маме. Так вот, он теперь приехал из-за границы... Ну, и очень умолял оставить его на ночь. А я сказала: нет — и всё...

— А потом всё-таки оставила, — сузив глаза, сказала Света.

— Ага, — смущаясь, кивнула Татьяна. — Что-то жалко стало.

Павел Петрович крикнул, Вероника Фёдоровна засмеялась каким-то напряжённым смехом, потом переспросила:

— Правда, что ли, из-за границы мужик?.. Ну, так хватай его живей за воротник да тащи в загс, пока у него на тебя охотка не пропала. Чего ушами хлопаешь?

— Я не хлопаю. Сегодня и пойдём. — Татьяна разгладила пальцами бантик на груди, а затем вытащила из своей сумки мужскую сорочку и бутылку водки. Показала всем как главное доказательство. — Вот подарок — по такому случаю.

— Загс сегодня не работает, — капризно сказала Света и швырнула мокрую тряпку, которую держала в руках, в ведро с грязной водой.

— Глотов сказал, работает. Сегодня у всех субботник.

Подвязавшись клеёнчатым фартуком, Татьяна плавными, вальсирующими движениями принялась намывать стенные панели. Погрузившись в свои мысли, сладостно жмурясь, точно котёнок у батареи, она водила направо-налево намыленной губкой и вдруг замурлыкала весёлый мотивчик. Остальной коллектив выглядел почему-то расстроенным.

— Ну, мне пора, — в двенадцать часов объявила Татьяна, решительно снимая фартук. — Сейчас Глотов пришлёт.

— Ох, ты, — сказал Павел Петрович, сметавший шваброй паутину с потолка, и с уважением посмотрел на Татьяну. — Ну, что ж, иди с богом. — Он в задумчивости почесал ухо о черенок швабры.

— Счастливо тебе, — по-матерински серьёзно напутствовала Вероника Фёдоровна. — Может, и сладится у вас. Мужик-то обеспеченный.

— На свадьбу пригласишь, что ли? — с неестественной весёлостью спросила Света.

— Конечно, конечно. Вы ж у меня самые родные, — прощebetала Татьяна. Она сполоснула в ведре руки, подхватила сумки с подарками и птичкой выпорхнула из отдела.

Её сослуживцы, развернувшись на сто восемьдесят градусов и ру-

ководствуясь единым желанием, выстроились у окна наблюдать Татьяну, спешащую навстречу своему счастью.

— Вон тот — в скверике, на скамейке. Видите, в серой шляпе? — шипящим голосом сказала Света. — Вот повезло шалавушке нашей! Такого ши-икарного мужчину оторвала... А тут не знаешь, для кого себя хранишь.

— Не-е, — замотал головой Павел Петрович. — У неё же офицер. Значит должен быть в форме.

— Ой, чёрт, умру от зависти, — скрипнув зубами, сказала Света.

— И не говори, — поддакнула Вероника Фёдоровна. — И с чего нашей дурёхе такое счастье? За какие святые поступки? Военный, из загранки... Завалит теперь Таньку фирменными тряпками...

— Вон, вон... побежала, — сообщил вперёдсмотрящий Павел Петрович. — Ишь, как скачет...

Женщины примолкли. Все чувствовали себя будто перед окошком кассы, когда вдруг в ведомости на премию оказалась лишь одна фамилия Татьяны.

— Ну и офицер, — протянул Павел Петрович, пошевелив черепной растительностью. — Сразу видно, из-за границы...

— Фу-у, — поморщилась Света, — какой мерзкий тип. Нам таких и задаром не нужно. — И она с надменным лицом отошла от окна.

Смущаясь, точно уже в зале регистрации браков, Татьяна чмокнула в щеку подошедшего мужчину в мятом клетчатом пиджаке, с причёской «полубокс», с рыжей щёткой усов на лошадиной физиономии кирпичного колера. Татьянин жених заглянул в её сумочку, ощерился малосимпатичной улыбкой, после чего подхватил Татьяну под руку и они быстро пошли в ногу по песчаной дорожке скверика.

— Да уж, — сказала своё слово Вероника Фёдоровна, тоже отходя от окна. — Как была дура, так душой и осталась.

— А мы губы раскатали: свадьба, свадьба. — Света без особого расстройствa развела руками. — А всё-таки мне её жалко, чисто по-женски жалко.

В скверике на ветках тощих чёрных деревьев лопались почки и на белый свет проклёвывались дождавшиеся новой весны наивнудивлённые листочки зелёного цвета надежды.

Лупырёв, его мамаша и его невеста

Он верил только себе. Считал себя хитрым и в чём-то даже мудрым. Зато других, сотрудников по работе и соседей, относил в большинстве к людям глуповатым, у которых, как у слепых котят, ещё не прорезались на жизнь глаза и они наивно довольны тем, что имеют.

В свои тридцать лет Стас Лупырёв выглядел на верные пятьдесят, ходил грузно, с ленивыми движениями, скучно смотрел серыми, будто всё время затуманенными глазами, и, если что-то ему не нравилось, брюзгливо отключивал нижнюю вялую губу и глубоко засовывал руки в карманы. Жил Лупырёв вдвоём с матерью в личном небольшом домике в районе старого города, который с каждым годом всё больше и больше теснился новостройками.

Иногда, сидя на скрипучем крылечке, Лупырёв поглядывал на громоздившиеся по горизонту бело-голубые многоэтажки и, враждебно оттопыривая губу, кричал возившейся на кухне матери:

— Того и гляди, мамаш, что на следующий год и нас всунут в эти скворечники! Будем мы на пару с тобой из окошек кукарекать! Да.

Его мать, тихая маленькая женщина, соглашалась со словами сына, вспоминала при этом о дровах, развалившейся печке, и было не совсем ясно, как же она относится к предстоящему переселению.

— Ну, и что хорошего... — размышлял Стас дальше. — Ну, будет у нас горячая вода, балкон и все удобства. А огород, куры? Придётся, значит, бросить?.. Не-е, мамаш, чем дальше живёшь, тем только хуже становится. Тут пять ступенек — и ты уже задыхаешься. А там, сломайся лифт, будешь на седьмой, восьмой, девятый этаж пёхом топтать. Так-то, — Стас взглядом проводил мать, которая, позвякивая ведром, вышла из калитки и неровной припадающей походкой, положив руку на поясицу, направилась за водой к колонке.

Стас поднялся с крылечка, потянулся до хруста в суставах, зевнул широко открытым ртом, как истомившийся в клетке лев. Прошёл-ся туда-сюда по двору, заглянул через забор на соседний участок.

Сегодня ему нужно было выходить в ночную смену. Ночную смену Лупырёв страшно не любил. Сколько ни отсыпался он перед работой, сколько ни хлыстал на смене крепкий чай, всё равно в середине ночи, стоило ему только прислонить к чему-нибудь голову, его мозг моментально отключался, как обесточенный механизм. Утром с работы Стас возвращался с таким видом, будто был горько обижен на всё человечество. Ногой открывал калитку, тяжело топал по крыльцу и кулаком нетерпеливо стучал по дверной филёнке.

— Спишь, мамаш, — укоризненно выговаривал он открывшей дверь матери. Та, кутаясь в платок, накиннутый на плечи поверх сорочки, с неприбранными по-ночному волосами, начинала суетиться на кухне, разогревала для Стаса завтрак; а пока тот ел, разбирала ему постель, пышно взбивала подушку и даже предупредительно отгибала уголок одеяла. — Ну, что это такое, ну, когда это кончится, — усталым голосом брзжал Стас над тарелкой. — У людей какая-то работа лёгкая, приспособились все как-то... Почему мне такая невезуха. Ох-хо-хо... — продолжая слабо постанывать, с уже закрытыми глазами, он добирался до кровати, плюхался на неё, иногда до конца и не раздевшись, и сразу засыпал, присвистывая носом. Мать снимала с него рубашку, стягивала брюки, укрывала до самого подбородка одеялом.

В субботу варили варенье из крыжовника. Стас лазил по кустам с трёхлитровой банкой, собирал спелую, налившуюся желтизной ягоду. Его мамаша начищала медный таз, потом взялась щепать топором лучинки. Огонь в стоящей во дворе печи, сложенной из булыжника ещё Стасовым отцом, никак не разгорался, видно, от впитавшейся после дождей влаги. Мамаша прыскала на щепки керосином и подбирала дровишки посуше, но пламя, пошумев две-три минуты, опять затухало.

— А не пристроиться ли мне на какую другую работёнку? — сплунув шкурку крыжовника, спросил из кустов Лупырёв.

Этот или типа этого вопрос он задавал частенько. И мать на него ответила, как всегда:

— А на какую, Стася?

— Вот в том-то и загвоздка — какую. Где её взять, такую работу, чтобы не жалеть. Надо было, мамаша, учиться меня заставлять. С образованием я, может быть, нашёл какую-нибудь такую работу... Не учла ты, не учла...

Мамаша сокрушённо развела руками.

— Да кто же, сынок, наперёд знать может? Я же не Господь Бог... Старшенького нашего, общими с отцом трудами, выучили, на ноги поставили. А видишь, как оно получилось — не принесло ему ученье счастья... — она прослезилась от своих слов, стянула с головы платочек, вытерла им уголки глаз, высморкалась.

Зная историю жизни Стасовой матери, не перестаёшь удивляться глубине того источника, откуда проистекают у человека его жизненные силы. Хотя, конечно, эта маленькая, с морщинистым лицом женщина, с прищуренными, точно от большого испуга, глазами, никогда уже не освободится от въевшегося в неё страха перед собственной судьбой. Однако она не утратила самоотверженности материнской любви, сноровки и сил для каждодневных хлопот по хозяйству, спокойного достоинства простого человека.

Как по наговору обозлившейся цыганки, начала складываться её бабья судьба. В мужья достался молодой, видный собой фронтовик, но с культей вместо левой руки и страдающий, после сильной контузии, припадками. В день их свадьбы померещился вдруг жениху, за музыкой из патефона, рёв пикирующего бомбардировщика: в конвульсиях опрокинулся он на пол, сбил ногой праздничный стол, напугал до смерти гостей и невестину родню. Тётки и бабки уходили со свадьбы, шушукаясь о дурном предзнаменовании. Но жизнь пошла своим чередом. Родился первенец Серёжа, потом ещё сын Стасик и дочка Нина. Сергей выучился на инженера-строителя, уехал в Сибирь на большую стройку. Но года не прошло, вызвали туда телеграммой отца с матерью, для последнего прощания с сыном, погибшим в аварии. Вскоре скончался муж от пережитого волнения, фронтовых ран и воспоминаний. Осталась она с десятилетним Стасом и шестилетней Ниночкой. Плакала, крепилась и жила дальше. А дальше подстерегала её смерть дочки, сгоревший дом... и много-много слёз от суеверного страха перед завтрашним днём.

— Жениться тебе, сынок, надо, — мать держала на коленях кастрюлю с ягодой, накалывала её иголкой и бросала в медный таз. — Уже года жениховские проходят, а ты всё холостуешь. А потом захочешь да не найдёшь, скажут, ущербный какой, то-то так долго и не женился... Ищи, ищи себе жену-то. Такую, чтобы скромная была, работающая... — начала перечислять она наиважнейшие достоинства будущей невестки, — а не как эти теперешние намазанные лежебоки...

— Не проблема, мамаш, — уверенно отозвался из кустов Лупырёв. — Только свистни, набегут невесты-то.

Это тоже была обычная тема разговора между Стасом и его мамашей, которая, по обыкновению, и начинала его. Лупырёва в вопросах брака значительней всего интересовала материальная сторона. Вера в богатую невесту жила в нём так же, как в другом человеке — надежда на счастливый выигрыш по лотерейному билету, находка клада или приобретение волшебной палочки. Поэтому с женитьбой Лупырёв не спешил.

Готовое варенье остывало в тазу. Лупырёв листом лопуха отгонял от него мух и ос. Из-за забора с соседнего участка донеслись звуки голосов. Стас заинтересованно прислушался, бросил лопух и пошагал к

забору. Подтянувшись на руках, увидел по ту сторону за врытым под яблоней столом соседа Стёпку и с ним двух незнакомых мужчин в костюмах, на столе банка с пивом и нарезанная селёдка.

— Здорово, сосед! — весёлым голосом окликнул его Степан и большим пальцем пригладил мокрые усы. — Чего сказать хочешь?

— Здорово, — ответил Стас с насупленным видом, потом добавил: — У меня лещи вяленые есть.

— Лещи? Та-щи! — по-удалому махнул рукой Степан. — Неси лещей, садись с нами пиво пить.

Через несколько минут голова Лупырёва опять показалась над забором. С пыhtением он перелез на другую сторону, выложил из пакета две выгнутые дугой рыбины. Степан налил из банки в свой стакан, пододвинул его Стасу. Стас не спеша пригубил. Пиво показалось ему чересчур горьковатым после сладкой пенки от варенья.

— Пиво уже выдохлось, — покритиковал он угощенье.

— Пиво что надо, — напористо возразил Степан. — А вот лещи твои староваты, староваты...

Тарабания одной из рыбин по крышке стола, он познакомил Лупырёва со своими гостями. Один, с виду простой, улыбчивый, другой — похожий на строгого бухгалтера, пожали Стасу руку. У Степановой жены отмечался день рождения и, пока не собрались все гости, мужчины коротали время в саду за банкой пива.

— А чья это у ваших ворот машина? — обратив внимание на стоящую за забором синюю иномарку, поинтересовался Лупырёв.

— Двоюродная сестра жены на своей прикатила. Похвастаться, — объяснил Степан. — Ух, баба дерзкая, сама рулит, гоняет, как оглашенная. Прямо жалко: машинёшка — новьё.

— Чего же она так? — неодобрительно покрутил Стас головой. — Машину жалеть нужно, такие деньги.

— А у ней мужа нет, вот и бесится...

— Совсем нет?

— Ну, как совсем, — пожал плечами Степан, разливая на всех остатки пива. — Где-то в природе есть. Свинтил он от неё года два назад. Машка теперь живёт, как невеста на выданье.

— А машину как же? Не забрал? — удивился Лупырёв, будто услышал невесть какую невероятность, и даже приоткрыл рот.

— Машину-то Машка всего с месяц назад купила...

— Сама?

— Сама-а! — гаркнул Стёпка раздражённым голосом. — Допивай пиво. Нам идти пора, вон, с окна машут.

Лупырёв, чувствуя внутренний зуд от неудовлетворённого любопытства, проводил глазами удаляющегося с гостями Степана. Поплёлся к себе, но уже не через забор, а обойдя по улице. Остановился около блестящей машины. Посмотрел на болтающегося в кабине

чёртика, обошёл вокруг, попытался рассмотреть через стекло цифирки на счётчике километража.

— Эй, ты! Чего там крутишься?! А ну, отойди от машины! — вздрогнул Стас от громкого голоса.

В окне Стёпкиного дома он увидел грозящую ему кулаком женщину лет тридцати пяти с лихо накрученной на голове причёской. Обозвав Стаса «ханыгой» и ещё кое-кем, она отошла от окна. Выпятив обиженно нижнюю губу, Лупырёв подтянул старые брючата, сунул руки в карманы и пошагал к своей калитке.

— Ты где был, сынок? — спросила мать. Она лежала на кровати, свернувшись клубочком под старой шалью. — Ужинать не хочешь?

— Нет, — ответил Стас, озабоченно обводя комнату глазами. — На именины к Степановой жене приглашают. Где мой новый костюм?

Погружённый в мысли, он переоделся, подошёл к зеркалу, стоявшему на комод. Осмотрел себя со всех сторон, вертя головой.

— Хорош, гусь, — сказал он то ли в утвердительном, то ли в вопросительном смысле.

В блестяще-парадном виде Лупырёв чинно вышел из дома, держа под мышкой газетный свёрток.

Гости Степана, закусив для начала, перекуривали на веранде. Лупырёв, войдя во двор, почувствовал на себе тяжесть множества устремлённых на него глаз и затопал по вымощенной бетонными плитками дорожке, как по ковровому покрытию во дворце культуры энергетиков, где ему когда-то вручали почётную грамоту.

— Во-о, Упырь вырядился! Чистый манекен! — удивился Степан, опознавший Лупырёва лишь когда тот поднялся на веранду. — А то ж думаю — кто такой? С финотдела, чи шо?.. Ты что пришлёпал-то?

— По соседскому долгу, так сказать, решил вот поздравить именинницу... — пышно выразился Стас и, комкая газету, вынул из свёртка деревянную резную шкатулку, в которой его мамаша с давних пор хранила облигации, документы и разные ветхие бумажки. — Старинная вещь, брал в комиссионном магазине. Говорят, ценная штука. — Похваливая свой подарок, он подошёл к Степановой родственнице, стоявшей тут же с дымящейся сигаретой в руке, и сунул ей шкатулку.

— Э-э, ты чего? — изумился Степан. — Ошибся адресом, — он забрал подарок у недоумевающей свояченицы. — Антикварными штуками разбрасываться. Ну-у, Упырь...

Стас незаметно толкнул его в бок, упрёкающе прошептал:

— Ты кончай меня Упырем здесь называть. Неудобно, знаешь... И вообще, будь другом, познакомь меня... с ней.

— С Машкой, что ли? — осклабился Степан. — Ну, ты — перехватчик, метко целишь. Мне-то что, не жалко. Станешь родичем — буду каждый выходной к тебе в гости ходить. Замётано?

Когда гости вернулись в комнату, Стёпка притащил из кухни обшарпанную табуретку и усадил на неё Стаса, втиснув его между своей ченицей и какой-то тётей.

Стас сидел с пресным видом, почти не угощался, всё посматривал сбоку на румяное лицо соседки слева. Та много разговаривала, громко смеялась и никакого внимания на Лупырёва не обращала. Только иногда, от тесноты, непроизвольно пхала его локтем в бок и, вертась, щекотала его щёку выпустившейся из причёски двухцветной прядью. Стас уже чувствовал, что начинает обижаться и его нижняя губа отвисает сама собой. За столом шёл мало понятный для него разговор о кинофильмах. Больше всех разглагольствовал похожий на бухгалтера родственник Степана. Стасу хотелось вставить в беседу какую-нибудь капитально мудрую мысль, чтобы втереть очки всем сразу, и этой горластой Машке в особенности. Но ничего подходящего в голову не приходило. Потом он вспомнил один недавно виденный по телевизору фильм и, придав лицу значительность, сказал:

— Красивой жизни мало показывают, оттого и смотреть неинтересно. Надо про красивую жизнь кино делать. Воспитывать надо зрителя — такое моё мнение.

Серьёзный родственник не согласился, начал было научными словами доказывать обратное, но тут, точно как в очередь за дефицитом, влезла со своим мнением и Маша.

— Чего вот лепишь, — окрысилась она на родственника, будто тот не пускал её к желанному прилавку. — Чего лепишь всякую чужь с умным видом? Жизни не понимаешь, поэтому так и говоришь. Вот я французский фильм в воскресенье смотрела, так до сих пор никак очухаться не могу. Во, красотища, во, кино!.. А ты — реализм, низкопробность... Крыса канцелярская, что б ты понимал в красивой-то жизни...

После этого хозяин включил магнитофон, начались танцы. Лупырёв молчаливым жестом пригласил Машу и та, подав ему полную руку, с томным видом поднялась со стула. Танцуя, она посмотрела, прищулив левый глаз, на своего партнёра и спросила:

— Холостой?

— Угу, — ответил Стас. — В полном абсолюте.

— Чего?

— Я говорю, что биография в этом смысле совершенно чиста.

— А-а... Ну, а работаешь кем?

— Дежурный слесарь оперативной смены на городской ТЭЦ.

— Ничего, — немного помолчав, сказала Маша, — работу можно и другую подыскать. Не в этом счастье.

— Угу, — согласился Стас. — У меня тоже такое мнение.

— На будущее учти, зовут меня не Машей, а Марией.

— Угу...

Они просидели на лавочке, пока не начали расходиться гости. Мария, плача и смеясь, рассказывала о своей жизни, то раскрашивая её в голубые и розовые тона, то — в серые и чёрные. Лупырёв, растерявшийся от её откровенности, сочувственно вздыхал и под каждый рассказанный эпизод подводил оправдательную резолюцию.

Проводив взглядом отъезжающую иномарку, Стас снял галстук, расправил плечи и, улыбаясь каким-то своим мыслям, направился домой.

— Пришёл, Стася? — слабым голосом спросила из темноты мамаша. — Долго ты что-то. Я уж и ждать не стала, прилегла вот: опять, кажись, захворала.

— Ну, и спала бы себе, чего меня ждать, — буркнул Стас. — Не всё же время мне около тебя ошиваться. Привыкла к спокойствию, а у меня и свои дела, наверное, есть.

Он засопел, укладываясь поудобнее в мягкой перине. Хотелось разобраться в нахлынувших вдруг планах, которые могли превратить его до сей поры беспочвенные мечтания в явную, конкретную жизнь. Под половицами шебуршились и попискивали мыши, а в углу за старым шкафом скрипуче цвиркал сверчок.

— Я и таблетки пила, и капли, что в прошлый раз прописали, и ничего мне не помогает. Слышь, Стася?

— Слышу, — раздражённо отозвался Лупырёв. — Так я ведь, мамаша, не врач, что же мне жаловаться. Иди завтра в поликлинику, пусть тебя осмотрят, ещё что-нибудь выпишут.

— Может, «скорую» вызовешь, а? — робко спросила мамаша.

Стас недовольно забубнил, но поднялся с постели, начал одеваться. Шагая к телефонной будке по тёмной, заросшей кустами улочке, он представлял, как на днях явится в гости к Марии, пригласившей его починить электропроводку, и что из этого получится, и к чему это приведёт.

После похорон мамыши Лупырёва в течение нескольких дней навещали старушки, её подруги. Они по очереди готовили Стасу кое-что из еды, сострадательно утешали его и, одновременно, самих себя, тренируя свою покорность перед близкой смертью. Стас, расстроенный внезапно изменившимся порядком вещей, ходил нахмуренный, с выпяченной губой, и ещё больше, чем прежде, страдал от ночных смен. Он торопил время, желая, чтобы быстрее забылись тягостно-грустные дни, и только когда навещался на квартиру к Марии, преобразался, улыбался твёрдой мужской улыбкой, демонстрируя свою незаурядность, критически высказывался по тому или иному поводу.

В выходной, прозрачным сентябрьским утром, он отправился по знакомому адресу с решительным намерением «подвести черту». В ожидаемом ответе Лупырёв нисколько не сомневался, вычерчивал в

голове красные стрелы стратегических планов и чувствовал себя человеком, без всякой корысти отдающим своё самое дорогое... но с надеждой, что взамен получит тоже «самое дорогое».

Мария, открывая на его звонок дверь, спешаще замахала рукой:

— Быстрей, быстрей. Мне некогда.

Стас, тем не менее, храня достоинство, шаркнул подошвами о постеленный у двери коврик и вошёл, как ему самому представлялось, с соответствующей моменту значительностью. Развернул две срезанные в своём саду веточки розы. Мария — в спортивном костюме, в жокейской кепочке, уже упорхнула на кухню, чем-то там гремела и шуршала.

— Я сегодня к тебе по очень важному делу, — улыбаясь, сказал Стас и протянул своей невесте цветы.

— Замуж, что ли, будешь предлагать, — хмыкнула Мария, набивая стоящую на столе большую сумку свёртками и посудой. — Сияешь, как юбилейный рубль.

— Да, в общем, в этом роде. На, — он попытался всунуть ей в руки свой букетик, но Мария, разыскивая что-то в морозилке холодильника, отмахнулась от цветов, а потом раздражённо крикнула:

— Да убери ты от меня эти колючки. Видишь, некогда. Не до тебя...

— Чо-о это? — Лупырёв косо, с явной обидой посмотрел на свою невесту.

— «Чо, чо», — передразнила она его. — Собрание у нас сегодня на турбазе проводится. Чтобы спокойно, не спеша решить все вопросы. Ну, за мной сейчас приехать должны.

— Как же, собрание... А я?

— А ты, если хочешь, подожди или приходи, даже лучше, завтра. Сегодня мне некогда.

Требовательный звонок в дверь прервал упрекающее бухтенье Стаса. Мария, чуть не сбив табуретку, побежала в прихожую. Вернулась на кухню вместе с мужчиной в тёмных очках, который без малейшего внимания к Лупырёву схватил смуглыми волосатыми руками приготовленную сумку и потащил её к выходу. Мария подтолкнула стоявшего истуканом Стаса, торопливо поправила перед зеркалом выбившиеся из-под фуражечки двухцветные локоны, зазвенела ключами, закрывая на два замка дверь.

— Короче, договорились: приходи завтра, — помахала она рукой, быстро спускаясь по ступенькам лестницы.

Стас вышел из подъезда. Синяя «тойота» Марии, за рулём которой сидел незнакомец в тёмных очках, рокоча мотором, описала круг по двору и скрылась в переулке.

«Приходи завтра. Как же, — тихо пробурчал, оттопырив губу, Лупырёв. Поддёрнув брюки, он сел на скамейку, среди дремлющих старушек и копошившихся карапузов с испачканными коленками. — Нет уж — я подожду».

Соло на барабанах

— Эй, Митрошкин. Здесь ты, что ли? — диспетчерша вгляделась в пыльный полумрак каптёрки, чертыхнулась и крикнула погромче: — Митрошкин!..

В глубине кто-то завозился. Послышался шорох брезента, сбрасываемых на пол кусков обивочного войлока. Луч света, проникающий через открытую дверь, наполнился крутящимися пылинками.

— Спишь всё? — спросила диспетчерша вышедшего на свет круглолицего парня с рыжеватыми растрёпанными волосами. — Завгар распорядился, чтоб ты ехал на Малач. Повезёшь школьный концерт.

— На чём ехать-то? На себе я их повезу? Ты его спросила, тётъ Лиз, когда он на мою машину диски сцепления достанет?..

— А мне начхать на твои диски и на твою машину. У меня делов — только о тебе беспокоиться. На терёхинском «пазике» поедешь, понял? Смотри не угрожь чужую-то машину.

И, вправив мозги Митрошкину, она тяжёлой походкой прошла в свою дежурку в конце гаража. Митрошкин по-кошачьи тонко чихнул. «В общем-то, — решил он, — эта поездка — дело неплохое. Может быть, начальник раза два доверит автобус Терёхина, а потом и совсем пересадит на его машину».

Митрошкин вот уже два месяца только ремонтом и занимался. Точнее, ремонтировать уже нечего: что можно было отладить, он сделал, а что нельзя — выбросил. Требуется диск сцепления, но его нет. «Белку» откатили в холодный гараж. Митрошкин ошивался без дела и спал в каптёрке на гряде старого брезента и войлока в антисанитарных условиях.

В разговор приисковых шофёров, ходивших по трассе до самого Магадана и штурмующих сопки на пути к дальним полигонам, он не вступал — ему нечего было сказать. И первый класс у Митрошкина ещё с армии, и дисциплина на уровне, и сам он сколько раз собирался зайти и потребовать. Но... шли другие, требовали и получали. Будто на вокзале: сидишь, ожидаешь своего поезда. Когда подойдёт этот самый поезд, тогда и начнётся настоящая жизнь. По крупному

счёту — чтобы каждый день был, как натянутая струна, чтобы работа была трудная и почётная, чтобы засыпать смертельно усталым и просыпаться счастливым...

Когда Сергей выехал из гаража, на улице было туманно от усилившегося к вечеру мороза. В окнах домов горел свет, из труб вертикально поднимались дымки. Проезжая мимо окон Людки Ремезовой, Митрошкин невольно убрал ногу с педали газа и попытался разглядеть движущиеся за занавесками тени. Если бы не эта неожиданная поездка, собирался бы он сейчас к Людке в гости на её день рождения. Наверное, Людка спросит, когда все усядутся за стол: «А где Сергей?» — и кто-нибудь из ребят ей ответит: «Серёжка в рейсе». Может быть, глаза у Людки от этого сделаются на минутку грустными.

Митрошкин остановил автобус у клуба и длинно просигналил. Прямо на него со щита смотрел красноносый и краснощёкий Дед Мороз с огромным мешком подарков, на котором было написано: «Дорогим горнякам». К левому валенку Деда Мороза приклеили объявление о новогоднем бале.

Никто не выходил. Митрошкин, оставив двигатель включённым, сам направился в клуб. В кинозале уже одетыми сидели школьники из бригады самодеятельности: шесть-семь старшекласников и человек десять малышни — класс третий или четвёртый.

— Ну, чего ждём? — спросил Митрошкин. — Машина подана.

Обернувшись, кто-то из младших сказал:

— Сопровождающего нет.

— Значит, не поедет? Отменяется концерт? — Ему никто не ответил, и Сергей, присев на ручку кресла, тоже стал смотреть на освещённую сцену, обвешанную гирляндами и фонариками.

На сцене показалась Мария Ивановна, завклубом, в красивом праздничном платье. Она подошла к краю сцены, увидела Митрошкина и обрадованно воскликнула:

— Ну вот и товарищ водитель уже здесь... Вы... как твоя фамилия?... — замахала она рукой Митрошкину.

— Митрошкин, — ответил Сергей, вставая.

— Подойди сюда, Митрошкин. Помоги мне сойти, — Мария Ивановна протянула вперёд руку, потом добавила: — Сопровождающего не будет. Поедете без него...

— Не-е, я не согласен, Марья Ивановна, — возразил Сергей и остановился, как будто передумал снимать её со сцены. — Не поеду... Отвечай потом...

— Во-первых, я тебе не «Марья», а Мария Ивановна. Во-вторых, мой милый, это приказ твоего начальника... Ну, помоги же мне...

Митрошкин, неуклюже поддерживая Марию Ивановну, помог ей прыгнуть.

— Завгар, что ли, так распорядился? — спросил он. — Можно ему позвонить?

— Звони, пожалуйста. Телефон вон там, — Мария Ивановна показала на сцену, — за кулисами.

— Где? — Митрошкин взобрался на сцену.

— О, господи... Помогите мне. Такая крутая лестница, такие высокие каблуки. — Она тяжело поднялась на сцену, прошла за кулисы и, не дав Митрошкину набрать номер, сама закрутила телефонный диск: — Он у меня в гостях. Так прямо неудобно получается: меня люди дожидаются — а я здесь нянчиться должна. Свалился этот концерт на мою голову...

Завгар подтвердил слова Марии Ивановны, добавив, что это его личная просьба, мол, так уж получилось, и пожелал счастливой дороги.

— Я же всё-таки не пионервожатый, — пробурчал Сергей, помогая заведующей клубом в очередной раз спуститься со сцены. — Они у меня все поразбегутся. Как я за ними усмотрю?

— Об этом не волнуйся, — успокоила его Мария Ивановна и позвала кого-то из ребят: — Юра!.. Юрочка, — сказала она подошедшему старшекласснику, черноволосому парню с тонкими чертами лица, — ты будешь старшим агитбригады, смотри, чтобы...

— Будет сделано, — поморщился, как от нотации, парень и сказал громко: — За малейшее неповиновение — смертная казнь. Вперёд, коршуны! Нас ждут сокровища Рима!

Мальчишки-старшеклассники, пересмеиваясь, потащили в автобус усилители, гитары, ударную установку. Их одноклассницы, запахнувшись в шубки, перебежали к автобусу, прикрывая носы рукавичками. Все расселись на заднем широком сиденье. После них стала запрыгивать малышня.

— Все? — спросил Митрошкин с водительского кресла. — Поехали?

— Поехали, шеф! — крикнул Юрка и обнял за плечи сидящую рядом девчонку с распущенными по воротнику белокурыми волосами. — Жми во все лошадиные! Командовать парадом буду я...

«Пазик» выехал из посёлка, повернул на трассу, разрезая туман лимонно-ядовитыми лучами. Митрошкин прикинул: около семи вечера они должны прибыть на Малах.

Старшеклассники смеялись без устали. После каждой Юркиной реплики смех усиливался, слышался то басовитый хохот парней, то девичье повизгивание.

«Не надоело им ржать? Откуда столько энергии берётся? Счастливые — ни забот, ни хлопот, салажата».

— Эй, вы, артисты, битлы доморощенные! — крикнул он в салон. — Хватит, наверное, глотки надирать... Автобус развалится...

— Ты рули, рули, — отозвался кто-то из парней. — Артисты люди эмоциональные, тебе, Митроха, не понять...

К словам этого парня что-то добавил Юрка и заднее сиденье снова затряслось от смеха. Митрошкин обернулся и посмотрел на них, насколько позволяла дорога, долгим взглядом.

— Э-эх, артисты. Мелочь пузатая — вот вы кто. Что вы в жизни-то видели?

— А ты сам-то что видел? — отозвался Юрка. — Кроме лопуха, никаких цветов не нюхал. Сидишь тут в глуши, пыль колымскую глотаешь, ящики да кастрюли перевозишь с места на место.

— Пыль колымская, между прочим, наполовину с золотом, — выкрикнул Сергей и порадовался, какая красивая фраза у него получилась. — Это тебя родители каждое лето на курорты вывозят... Ах-ах, как бы Юрочка без витаминчиков не остался. Вон какой вымахал... акселерат. — Митрошкин выговорил «акселерат» как ругательство. Он почувствовал, что начинает злиться.

— Красиво жить, если средства позволяют, не запретишь, — сказал Юрка, сверкая улыбкой. Он потянул девчонку, сидевшую впереди, и усадил к себе на колени. Девчонка без малейшей неловкости пристроилась поудобней на Юркиных коленях, поправила, видимо, материну, шапку из чернобурки и приоткрыла подкрашенные пухлые губы в готовности смеяться дальше.

Митрошкин сосредоточился на бегущей под лучами фар дороге, успокоился и больше не обращал внимания на заднее сиденье. Те вскоре, кажется, тоже устали от беспричинного хохота. Сидящая на коленях Юрки Татьяна Трубина затянула в чересчур жалостливом тоне романс о любви. Ребяшня из младших классов, разморённая теплом и дорогой, свесив головы с чубчиками и косичками, дремала. Митрошкин старался вести автобус поаккуратней. Когда глядел на них, что-то похожее на отцовское чувство шевельнулось в нём.

— Вы когда обратно? Сегодня? — спросил он, обернувшись.

— Сегодня, — ответил Юрка. — А что?

— Да ничего. Как вам удобнее, мне без разницы... Спели бы, девчонки, ещё что-нибудь. Хорошо у вас получается.

— Какую? — спросила Трубина.

Митрошкин открыл рот, но на ум ничего не приходило. Трубина предложила сама:

— Давай «Диск-жокея».

— Давай «Жокея», — согласился Сергей.

Трубина пересела с колен Юрки на своё место, закинула ногу на ногу, блистая экзотическим для зимы капроном.

— Нет, давайте «Чёрную ночь», — сказал Юрка, пододвигая к себе ударную установку. — Убьём народ талантом, а? — он щёлкнул ногтем по коже маленького барабана.

— Это цыганскую, что ли? — осведомился Митрошкин.

Старшеклассники дружно засмеялись, Юрка покрутил головой, удивляясь серости Митрошкина.

— Цыганскую, ага. Сейчас услышишь, темнота. Вы, товарищ Митрошкин, разницу между граммофоном и магнитофоном улавливаете? Начали. — Юрка поднял руку для команды. — Илья, Татьяна — в унисон, раз-два...

Пухлощёкий высокий парень в меховой куртке и Трубина одновременно взяли высокую ноту и повели протяжную мелодию. Слов песни Митрошкин не разобрал, потом догадался, что поют на иностранном. Юрий выбивал ритм, то пришлёпывая по барабанной коже ладонью, то пристукивая костяшками пальцев. На лице у него застыл экстаз. Один из парней попробовал на втором барабане тоже выстукивать ритм. Юрка шлёпнул его по руке, отшил недовольным взглядом.

— Ничего песняк, — сказал Митрошкин, когда «Чёрная ночь» кончилась.

— Ничего — это ничего, а поконкретней можешь ты... выразить свои чувства? — проговорил со злостью Юрка.

— Нормально, в общем...

— Нам интересно знать, что переживает публика, какие чувства возникают... Ты вот что чувствовал?

— Что-что... Чувства всякие... Что ты ко мне привязался в конце концов? — Сергей опять разозлился и расстроился. Выехав на хороший участок дороги, искал в зеркале заднего вида Юркино лицо и уже примирительно сказал: — Чувствую, что талантливо, это самое... звучит песня. Это сразу... чувствуется. Да... А ты, значит, после десятилетки хочешь связать свою жизнь с барабаном?

— Имеешь в виду — стану профессиональным музыкантом?

— Музыкантом... Барабанщики что — тоже музыкантами считаются?..

— Во даёт! — Юрка переглянулся со своими. — Ну и тундра неэлектрифицированная... Эта штука, — он хлопнул по барабану, — ничем не хуже какой-нибудь там писклявой скрипки, тем более, в современной музыке. Если хочешь знать, толковый музыкант на нём такое выступит — обалдеешь!

— Ума, что ли, на это много надо: бам-бам, бум-бум... И вся наука.

— Сам ты, Митроха, ни бум-бум... — Юрка завёлся не на шутку. Этот Митрошкин, вечно улыбающийся, неизвестно чем довольный парняга, которого могут заставить работать за копейки, который, видимо, никогда не уедет из этого далёкого от щедрот цивилизации поселка, — этот Митрошкин берётся ещё судить о таких вещах, как музыка. Издеваясь, зная, что Митрошкин все равно ни черта ни поймёт, Юрка принялся жонглировать музыкальными терминами и именами:

— В сольной партии на ударнике в стиле соул, фанк или просто

бит талантливый музыкант может создать такой мощный драйв, достигающий почти до альфа-ритма, что слушатели будут падать в шоковом состоянии!.. Барабан — очень сложный инструмент, играть на нём соло может только большой талант...

Митрошкин скептически молчал, но от непонятных слов непроизвольно почувствовал какое-то уважение к Юрке и его барабану.

Двигатель вдруг громко зачихал. «Пазик» резко сбросил скорость, задёргался, будто ему вставили в колеса палки. Сергей затормозил, подрулил к обочине. Натянул шапку и выпрыгнул наружу. Через открытую дверцу влезло облако холодного пара. Малыши проснулись, зашевелились.

— Картина Репина «Приплыли», — сказал один из старшеклассников.

Через пару минут Митрошкин забрался обратно в автобус, потёр покрасневшие руки об овчину полущубка, включил зажигание и, послушав гудение двигателя, оправдался:

— Сегодня такая мерзлятина, что система подачи топлива промерзает. Теперь всё путём. Можете спокойно петь ваши песни.

Он врубил скорость и сосредоточился на дороге. Вот-вот должен быть поворот с основной трассы на Малач, малюсенький посёлок, где базировался второй карьер прииска. Съезд с трассы ничем не обозначен, местность однообразная — никакого ориентира. Запросто можно проскочить заметённый снегом поворот. Если уже не проскочили...

Серёжка подсадовал на себя, что не засёк по спидометру километраж. Безотрывно следя за дорожной обочиной через квадрат двойного стекла на пластилиновых нашлёпках, он никак не мог решиться повернуть автобус обратно. Представил, каким лопухом будет выглядеть в глазах артистов: толковые люди на барабанах вон что выделывают, а тут...

— Чёрт бы побрал вашу «Чёрную ночь», — сказал угрюмо Митрошкин, — заслушался вот и мимо поворота проскочил.

Заднее сиденье затряслось от смеха, кто-то выкрикнул:

— Вот она — сила искусства!

Со своего места поднялся десятиклассник Мишка Павлевич, знакомый Митрошкину: прошлым летом на танцах Мишкины друзья задели Сергея. Когда вышли на улицу «разобраться», Павлевич, как злой волчонок, первым кинулся с кулаками и, если бы не подбежавшие дружинники, неизвестно, чем закончилось бы это знакомство.

Мишка посмотрел в окно водителя и успокоил:

— Не-е, ещё не доехали. Не скоро... Я недавно тут проезжал.

Митрошкин засмутился и, не зная для чего, произнёс:

— Кому скажи — не поверят. Это надо же.

От поворота с трассы до посёлка второго карьера езды около сорока минут. Митрошкин, свернув на Малач, включил пониженную

передачу и автобус пополз, завывая и немного накренясь, по глубокой колее. Дорога плавно поднималась. Сопка, затянутая морозным туманом и сумерками, сливалась с небом. Казалось, что, преодолев вершину, автобус легко помчится прямо по облакам.

— Ну и шеф нам достался, — сказал парень с электрогитарой. — То у него какая-то система замерзает, то плутает на единственной дороге. Чую я, не добратесь нам живыми до места.

— Ну, тебя, Лёшк, — махнула сердито рукой белокурая старшеклассница. — Накаркаешь ещё неприятности.

Юрка под смех парней по-вороньи несколько раз прокричал:

— Кар-кар-р, кар-р...

Только он сказал последнее «кар-р», автобус дёрнулся и остановился, заглухнув. Всем от этого стало ещё смешнее.

— Докаркались, — оглянулся назад Митрошкин и стал искать за сиденьем шапку.

...Митрошкин уже который раз забирался в автобус отогреться, садился, положив голову на баранку руля, и в молчании о чём-то размышлял. Опытные трассовики говорили: коли в дороге заглух движок и престоишь на крепком морозе больше пяти минут, оставляй все надежды, сливай воду — и топай куда поближе; а если некуда идти, поджигай колёса и молись богу, чёрту или кому сам пожелаешь. Проверено жизнью.

Митрошкин решил ещё попробовать. Набрал полную рукавицу инструментов и вывалился в холодную мглу.

Малыши застёгивали пальто и шубейки и, ничего ещё не поняв, не плакали — наблюдали пяточками глаз за дяденькой-шофёром, когда же он скажет: «Всё путём, поехали».

Старшие покрикивали на Митрошкина, торопили, советовали. Трубина и белокурая девушка жаловались друг другу, что теперь застудят горло. С растерянным видом Сергей забрался в автобус.

— Никак, — сказал он и посмотрел на ребят. Губы его обиженно оттопырились, выражение лица было такое, что он вот-вот заплачет. Швырнул под водительское сиденье инструменты. — Чужая машина... Ничем не поможешь. Сливай воду.

В автобусе стало тихо-тихо. Под кем-то скрипнуло сиденье, потом маленькая девчушка с выглядывающим из-под пальто кружевным нарядом «снежинки» вежливо спросила:

— Мы когда приедем, дядечка? А то холодно очень...

— При-и-плы-ли-и, — протянул пухлощёкий парень.

Юрка энергично поднялся с места, переступив через ударную установку, вышел на середину салона.

— Значит так, товарищи, — он помахал рукой, призывая к вниманию, — поскольку я старший бригады, принимаю следующее решение. Митрошкин топает на своих двоих в Малач за помощью. Мы

остаемся здесь, разжигаем костёр и ждём. Наша главная задача — спасти вот их, — он показал на ребятню.

— До Малача почти тридцать километров, — утрюмо, но не возражая, сказал Митрошкин.

— Это семь-восемь часов ходьбы, — крикнул Миша Павлевич. — По такому морозу не пройдёшь и двух часов. Я знаю...

— А что ты предлагаешь?! — закричал пухлощёкий парень по имени Илья. — Митрошкин должен дойти. Он во всём виноват. Тем более, он самый старший и теплее всех одет. Ни попуток, ни встречных машин мы здесь не дождёмся...

Трубина тоже высказалась за то, чтобы Митрошкин шёл. Мишка доказывал, что это — верная погибель. Митрошкин молчал, одинаково согласный с любым предложением: идти на погибель или оставаться у автобуса. Своих предложений у него не было.

— Должны же с прииска позвонить на карьер. Нас же ждут, значит, будут волноваться, — убеждал всех Павлевич. — Подождут, подождут — и начнут искать...

— Холодно, — заплакала вдруг девочка на переднем сиденье. За ней следом захлюпали ещё две «снежинки».

Юрий строго прикрикнул на них и с ненавистью посмотрел на Митрошкина, стоявшего, как столб.

— Будь у меня сейчас ружьё, я бы с радостью тебя пристрелил... За вот это всё... Дубина тупая...

Митрошкин что-то невнятно пробурчал под нос, снял свой полубок и накинул его на съезжившуюся девчушку.

— Я пойду колёса размонтирую, — сказал он, беря домкрат и торцовый ключ. — Подождём их...

Четыре положенных полукругом, облитых бензином покрышки горели ярко-красным пламенем, выстреливая чёрными хлопьями копоти. Чумазый Митрошкин таскал из автобуса спинки и сиденья кресел, складывая их рядом с тремя запасными покрышками у костра. Вид у Серёжки был виноватый и сосредоточенный, рубашка, надетая поверх свитера, выбилась из брюк, руки — без рукавиц, он отогревал их, засовывая под мышки по пути в автобус.

Школьники сгрудились вокруг костра из покрышек, не обращая внимания на вонючий дым и летящую в лицо гарь. Ребята тянули к огню руки.

Десятиклассница с белокурыми волосами по-старушечьи повязала голову платком. Она всё оглядывалась и смотрела на дорогу в сторону трассы. Татьяна Трубина, попискивая, пыталась укрыть от морозных ожогов голые — в капроне — колени. Приседала на корточки, укутывала их полами пальто, сидела так, пока ноги не затекали, потом снова мучительно поднималась, тёрла колени рукавичками, обводила всех жалобным вопросительным взглядом.

Покрышки догорали. Кордовые нити краснели на куче золы, будто раскалённые электроспирали. Митрошкин навалил на ослабевающий костер обломки кресел, осторожно полил бензином из помятого ведра. Огонь реактивно загудел. Ссутулясь, держа руки под мышками, Митрошкин посмотрел на огонь, развернулся и ушёл в темноту. Утопая в сыпучем снегу, подошёл к ближайшей невысокой лиственнице, ударил по стволу ногой, сбивая иней, и с каким-то диким остервенением обхватил ствол дерева, стал гнуть его к земле. Лиственница звонко, как стеклянная, хрустнула посередине.

Мишка Павлович принялся тоже ломать хрупкие стволы.

— Толку мало — сгорят, как спички.

Митрошкин, не отвечая, ломал и ломал со злостью деревца.

— И машина никакая нас не подберёт: субботний вечер, никто по этой дороге сейчас не поедет, — продолжал Мишка. — Может быть, где-то через час нас хватятся, поедут искать. А если нет, то к утру уж точно... найдут шестнадцать обледеленных трупиков...

Когда Митрошкин и Павлович с охапками дров подошли к костру, в огне вовсе поыхали резервные покрышки.

— Дурачьё! — закричал Мишка. — Вы что, Ташкент тут захотели? А дальше чем огонь держать будем, подумали? Автобус не горит — он железный, а это — так, спички, — он пхнул ногой кучку дров. — Скоро задом на золу сядете, чтобы чуть-чуть согреться, попомните мои слова.

— Т-ты на нас н-не кричи, — проговорил Юрка, переминаясь с ноги на ногу в остроносых тонких сапожках. — Т-ты на него кричи... Его заслуга.

Митрошкин присел на дрова, негнуцимися пальцами принялся расшнуровывать свои самодельные, из оленьего камуса ботинки. Взял их в руки и в носках пошёл к Юрке.

— К-какой размер? — спросил Юрка, быстро стягивая свои сапожки. Митрошкин, в свою очередь, попытался натянуть Юркину обувь, но она не налезала, он отдал Юрке и свои толстые шерстяные носки, с трудом натянул сапожки. — Ты только благодетеля из себя не изображай, — добавил Юрка, натягивая и носки. — Из-за тебя страдаем. От всех не откупишься, вон видишь, что с Танькой делается...

Трубина продолжала пицать, приседать и подниматься, поворачиваясь к костру то задом, то передом.

— А вы сами-то о чём думали, куда наряжались? — вступился Мишка. — В гастроли по Европе? — Мишка протянул Трубиной свои большие овчинные рукавицы, взял её вязаные.

Митрошкин подошёл к закутанной в платок старшекласснице, снял с головы свою шапку и жестом, как немой, показал на шаль и на ноги Трубиной. Девушка сначала не поняла, потом размотала платок и передала его подруге, а сама глубоко натянула Серёжкину шапку.

— А как же ты? — спросила она Митрошкина.

В это время один из мальчишек закричал, показывая на дорогу:

— Едут, едут!..

У всех радостно загорелись глаза. Вглядываясь в темноту, пытались что-либо разглядеть.

— Кажется, грузовик, — прислушиваясь, проговорил Лёшка. — У него в кабине от силы два человека уместятся...

— Чур я! Чур я! — затараторила Трубина и перестала закутывать ноги платком. — Я сильнее всех замёрзла. А, Юрик?

— Может быть, каркасная машина, — сказал Юрка, — тогда все уместимся. Но если... если только на двоих, тогда поедут Трубина и я. Я быстро подниму всех по тревоге и организую помощь... Быстрее меня это всё равно никто не сделает... Свою шубу оставляю вам...

Митрошкин сидел на корточках перед костром, ловил ладонями пламя и едва слышно шептал, точно стонал:

— Слава богу, слава богу...

Малышня прыгала, хлопала варежками и вопила:

— Щас поедет, щас поедет!..

— Тихо! — потребовал Павлевич. Он сдвинул шапку на затылок и прислушался: — Чёрта с два. Нет никакой машины. Зря обрадовались.

— Да ясно же слышно было, — чуть не плача, сказал Лёшка.

У всех вытянулись лица. Малышня притихла. Мишка Павлевич, и сам расстроенный, объяснил:

— Внизу, в распадке, ветер шумел. Показалось, выходит...

Митрошкин поднялся. Со сведённой холодом спиной, согнувшись, руки под мышками, направился в темноту. Послышался треск ломаемых стволов.

Прошло два часа, как застыл на склоне сопки ярко-оранжевый «пазик». Бесколёсный, осевший по оси в снег, он время от времени высвечивался пламенем костра и напоминал восходящее в темноте солнце. Школьники сомкнулись тесным кольцом вокруг слабеющего огня. Митрошкин и Павлевич не успевали подтаскивать тонюсенькие брёвнышки — они словно таяли.

— Барабан, что ли, бросим? — предложил Павлевич, кивнув на костер, и вопросительно посмотрел на Юрку.

— А, бросай... — с истерической интонацией ответил тот. — Может, нас в живых завтра не будет... Бросай... — Юрка вдруг закричал на подошедшего Митрошкина: — Ну чего ты корячишься? Мученика изображаешь! Спаситель, а-а? Из-за тебя ведь... доверили лопуху человеческие жизни... Гады все, забыли про нас! У-у-у, — Юрка сжал кулаки, закричал зубами, замотал головой.

Татьяна Трубина, сидевшая на снегу, плотно прижавшись к своей подруге, подняла голову, сонным взглядом посмотрела на Юрку и опять, не удержав, уронила её.

Мишка вынес из автобуса громоздкую ударную установку, через головы сидящих у костра положил её на тлеющие угли. Большой барабан шлёпнулся набок, звеня медными тарелками, в разные стороны разлетелись зола и искры. Умирающий огонь облизнул новую подачку и, оживляясь, накинута на сухое дерево. В клубах взвившегося пламени плавном затихал медный звон...

Митрошкин обходил по кругу школьников и тыкал заснувших коленкой в спину.

— Не спать. Нельзя. Не спать...

— Отстань, — вяло отмахнулся Лёшка, не открывая глаз.

— Не спать. Нельзя... — Митрошкин пересчитал всех — одного кого-то не хватало. Растерянно затоптался на месте, оглядываясь. Направился к автобусу, продолжая бубнить глухим, сдавленным голосом: — Не спать... Нельзя...

В салоне автобуса у давно остывшей печки, холодный, как сама северная ночь, скорчился мальчишка в красных варежках на резинке, протянутой поверх шубки. Митрошкин затряс его, подул в лицо. Глаза закрыты, на лице заледенела блаженная улыбка.

— Эй, солдат! — Митрошкин прижал его к себе. — Эй, слышишь... Сынок, сынок... — он целовал его в закрытые глаза. — Нельзя, сынок. Не спать. Слышишь?

Он вынес мальчугана из автобуса, стал тереть снегом лицо, продолжая уговаривать. Мальчик вдруг громко и обиженно заплакал.

— Ну, вот и хорошо. Скоро за нами приедут...

— Когда? — открыл глаза мальчик.

— Через полчаса, а может, и раньше. Скоро, — успокоил его Сергей, вытирая ему лицо рубашкой. — Скоро поедем домой...

— Врёшь! — услышал Митрошкин от костра Юркин голос. — Брехня это. Никто не приедет за нами. Гады все! И ты — гад, понял... Топай давай за подмогой! Понял?..

Юрка поднялся и двинулся к Митрошкину с угрожающим видом, продолжая выкрикивать обидные фразы. Рукой в кожаной перчатке Юрка сжимал металлический поручень от автобусного сиденья. У костра никто не пошевелился.

— Иди к ребятам, — подтолкнул Митрошкин мальчика в спину.

— Думаешь, ботинками откупился?

Удар железкой пришёлся Митрошкину по верхней губе наискосок.

— Я жить хочу. Понял?

От второго удара Сергей закрылся рукой. Поручень стукнулся о предплечье и отскочил, кувыркнувшись, за спину. По подбородку, по шее потекла тёплая кровь. Язык накололся на острые обломки зубов. Облизнув разбитые губы, Митрошкин посмотрел в сторону костра.

У костра творилось что-то непонятное: к школьникам бежали

люди с ватниками и тулупами в руках, накидывали их на ребят и куда-то тащили с собой...

Только тут-то, отступив от корпуса автобуса, заметил Митрошкин горящие автомобильные фары.

— Приехали... — улыбнулся он Юрке разбитым ртом и прошепелявил: — жа нами...

Полная женщина, которую Митрошкин хорошо знал, но никак не мог вспомнить, кто она и как её зовут, накинула ему на плечи ватник, нахлобучила на голову свою шапку. Она повела его, поддерживая под руку, что-то говорила. Митрошкин согласно кивал, не понимая...

Он оглянулся на свой остающийся в темноте «пазик» и вдруг, вырвавшись из рук женщины, побежал, спотыкаясь, к нему. Что есть силы, с разбегу саданул ногой по автобусному передку. Круто развернулся, хотел ударить ещё раз, поскользнулся на высоких каблук-ках Юркиных сапожек, грохнулся навзничь. Приподнялся. Пополз на коленях, схватился негнушимися пальцами за решетку радиатора. Дёрнулся, ткнулся лбом в липкий от мороза металл, заплакал, кусая отдающие болью губы...

Быль о седой медведице

Седая медведица, положив голову на передние лапы, грелась на припёке и одними глазами, не шевелясь, следила за игрой двух своих полугодовалых детёнышей.

Первый медвежонок, с большой круглой головой, был заметно крупнее второго, который родился слабым, с гноящимися глазами, не очистившимися и до сих пор. Меньший медвежонок бегал, заплетая лапами, немного боком, пасовал в игре перед сильным братом и всё время подбегал к матери, тёрся мордой о её шерсть и норовил залезть ей под брюхо. Мать-медведица раздражённо рывкала. Младший медвежонок неуклюже отпрыгивал и, задрав кургузый хвостик, неровным галопом возвращался к брату.

Может быть, от старости лет, от усталости, от всего пережитого в своей звериной жизни сделалась медведица раздражительной и нетерпимой к баловству — ненужному, суетливому, беззаботному. Может быть, она чувствовала, что эти два шалуна — последние у неё, и особо переживала за их жизни, за их приспособленность вырывать клыками каждый час своего существования.

Большой медвежонок сделал настороженную стойку, понюхал ноздрями ветер и приподнялся на задних лапах. Его братишка повторил за ним все эти движения, не устоял на задних лапах, шлёпнулся, вновь поднялся и вопросительно посмотрел: «Что дальше?». Большой медвежонок рывкнул, взбрасывая задние лапы, бросился вниз по склону сопки. Не справившись со своими конечностями, кувыркнулся через голову и покатился клубком. Младший медвежонок было тоже кинулся следом, но затем остановился и нерешительно затоптался на месте.

Медведица, как только один из медвежат исчез из поля её зрения, приподнявшись, зычно рывкнула. Скатившийся вниз круглоголовый медвежонок моментально утратил озорной задор и виновато потрусил наверх к матери.

Прапорщик Фёдор Шебайчик жил по принципу «моя хата с краю» в собственном дощатом домишке и как раз на окраине небольшого

посёлка в колымской горной тайге. Служил по контракту контролёром на зоне строгого режима. Времени от службы оставалось предостаточно, вот и возвёл он собственными руками свою «хатёнку», сарай к ней пристроил и теплицу для помидоров-огурцов, да ещё свинарник с автономным отоплением. Жалко кому, что ли, места вокруг столько, что хоть собственный космодром сооружай. Любил Шебайчик всё своё. И жену свою любил, и двух сыновей своих любил, но любил по-своему, по-особенному: бережливо, как вложенные силы и средства. Тот мир, что раскинулся за огородами его двора, воспринимался Шебайчиком не иначе как источник возможных агрессий на его собственность, либо как территория, на которой разбросано бесхозное имущество, пригодное для хозяйства.

«И вообще, — говорил Шебайчик, — простым работягам, труженикам не дают жить во всю волю, так, как тебе хочется... Хотя бы взять охоту: взносы, значит, плати — а стрелять никого нельзя. Деды наши, вон, могли запросто на оленя, на медведя ходить. Убивай себе кого хочешь и когда хочешь, никаких тебе сезонов и норм. А нам же что? Нам, значит, живётся хуже, чем нашим дедам-прадедам. Так оно и есть и никаким «Миром животных» вы меня не разубедите. Пропаганда для дураков...»

Седая медведица брела, бороздя носом траву. Тяжёлые лапы ступали уверенно, твёрдо и в то же время с осторожной опаской. Медвежата с детской неутихающей энергией описывали круги вокруг матери. Порою, попадая ей под лапы, сбивали с шагу.

Медведица потянула носом встречный ветерок и тревожно дёрнула ушами. Ветер с запада нёс запах пожара: где-то в той стороне полыхала тайга. Медведица замотала головой, словно отгоняя оводов воспоминаний, и повернула строго на восток. Спустились на водопой к ручью в большом распадке. Пока медвежата лакали воду, мать прочесала прибрежные кусты тальника — её беспокоил запах близкого человеческого жилья. Она остановилась в нерешительности, выбирая меньшую опасность для своих детёнышей. Она ждала, что ей подскажет инстинкт...

Шебайчик достал из застрехи сарая обмотанный промасленной старой шинелью свой потайной, «браконьерский» карабин и неполную обойму с четырьмя потускневшими от времени патронами. Вчера на службе кто-то проговорился, что видел неподалёку от посёлка несколько оленей, наверное, совхозных, отбившихся от стада. Шебайчик сделал вид, как будто его это не интересует, но сам внутренне забеспокоился, что оленей может пугнуть кто-нибудь другой.

Свесив лапы, мать-медведица лежала на гладком, нагретом солнцем валуне. Она смотрела на запад: гуляющий по распадку ветер продолжал доносить запах дыма, то ослабевающий, то с явным привкусом свежей гари. По самой низине этого же распадка, спотыкаясь о кочки, брёл злой от напрасных шатаний по тайге прапорщик Шебайчик.

Фёдор Шебайчик с завидной реакцией вскинул карабин, передёрнул затвор и навёл мушку на один из катившихся на него со склона сопки тёмно-коричневых клубков. Шебайчик сначала нажал курок, потом обрадовался, с охотничьим азартом наконец-то появившейся цели — а уж после этого догадался, что перед ним медвежонок.

Подброшенный пулей, первый медвежонок хрипло тявкнул, вытянулся и покатился дальше уже безжизненным телом. Шебайчик перевёл мушку левее и ниже. Плавно потянул спусковой крючок второй раз.

«Ох, балда!» — крикнул сам себе Шебайчик, не опуская ствола карабина и оглядываясь вокруг. Охотничий опыт подсказывал, что мать убитых медвежат должна быть где-то рядом.

Мать-медведица стояла на небольшом пригорке, выше по склону от Шебайчика, и встревоженным рыком звала своих детёнышей. Седая шерсть сливалась с плывущими по небу серыми облаками, контуры фигуры размывались, и медведица показалась Шебайчику неимоверно, до ужаса, огромной.

Медведица остановила свой взгляд на застывшей внизу фигуре человека. Медвежата не отзывались, и грузной походкой медведица не спеша начала спускаться по склону, словно хотела спросить охотника о своих детёнышах.

Стрелял Фёдор снайперски. Несмотря на парализующий испуг, ствол карабина в его руках не дрогнул. Одна из оставшихся пуль попала в приближающегося зверя. Медведица осела на задние лапы, несколько метров по инерции проскользнула вниз по мелкому галечнику, неуклюже закрутилась на месте, пытаясь встать на все четыре лапы... Ещё некоторое время Шебайчик щёлкал курками своего карабина с опустевшим магазином. Вводил затвор и снова щёлкал. В его ушах раздавался грохот выстрелов — и он всё никак не мог понять, почему же, в конце концов, не свалится замертво крутящаяся на одном месте седая медведица.

Менее сильная личность на месте Фёдора, наверное, уже, бросив оружие, пробежала бы, обезумев, километра три. Шебайчик же карабина своего не бросил и, отбежав с сотню метров, всё-таки вернулся к огневому рубежу, глубоко досадуя, что нет хотя бы ещё одного патрона. До него дошло, что медведица обездвижена ранением в какой-то двигательный нерв. Желание подобрать добычу пересилило чувство страха. Вынув нож, постоянно кося глазом в сторону мятущейся мед-

ведицы, Шебайчик подошёл к ближайшему медвежонку, пнул его носком сапога и принялся освежёвывать тушку. Он представил кроватки своих сыновей: перед каждой на полу расстелена светло-бурая шкурка. А вот будь у него хоть ещё один патрон — большущая седая шкура украсила бы всю стену его хатёнки. Шикарней всякого ковра...

Медведица рвала землю передними лапами. Далеко по сторонам разлетались громадные лохмотья мха. Трубный рёв гремел по распадку, расходился несмолкающим эхом, давил на уши Шебайчику. Но тот аккуратно бритвенно-острым лезвием подрезал шкуру уже на второй тушке. Чужа запах крови своих детёнышей, медведица свирепела от бессилия, захлёбывалась рычанием, вытягивала лапы, скребла ими, как ластами, пытаясь ползти. Шебайчик увязал рюкзак, посмотрел на судороги медведицы и хохотнул:

— Дёргайся, дёргайся... Я завтра с ружьём наведуясь. Если к завтраму не околеешь, одной пули в ухо достаточно будет.

Довольный собой, он засагал, согнувшись под тяжестью рюкзака, часто оглядываясь назад.

Через два дня Шебайчик с напарником, предварительно договорившись о дележе добычи, сходили на место охоты, но седой медведицы там не обнаружили. Шебайчик был до крайности удивлён и обескуражен. Хватал напарника за рукав, тащил показывать обглоданные горностаем останки медвежат и то место, где металась парализованная медведица. В конце концов решили, что их опередили другие.

Шебайчик проснулся среди ночи от истошного лая собак. На душе было нехорошо, как при высокой температуре. Он вышел в кухню. За входными дверями на крыльце кто-то тяжело топтался. Вплотьмах Шебайчик наощупь стал искать на стене выключатель. Входная дверь вдруг закрипела, прогнулась и, рассыпавшись обломками, слетела с петель. На пороге, вцепившись когтями в дверные косяки, во весь рост на задних лапах стояла седая медведица.

То, что осталось от Фёдора Шебайчика, не приведи судьба когда увидеть. Жена и двое ребятишек убитого долго ещё оставались в психическом столбняке от пережитого. Их медведица не тронула по неизвестной причине. Свидетелей тому не было и о том, что и как происходило, можно лишь догадываться. Говорили: у медведей инстинкт такой, что спящих и детишек не обижают.

Посёлок гудел слухами о седой медведице. С фатальной убеждённости ждали новых жертв, как жители индийской деревушки, в окрестностях которой объявился тигр-людоед. Бригада охотников-промысловиков кружила часами на вертолёте в поисках свирепого зверя.

По плоской, открытой вершине сопки металась вертолётная тень. Загнанная медведица бежала, подволакивая задние лапы, шарахаясь в сторону, как только к ней приближалась гудящая машина.

Погоня подходила к концу. Медведица дышала с хрипами, бока опали, морда облеплена розовой пеной. Уже не оставалось сил на манёвры и она бежала только по прямой. И вот медведица замедлила бег, прошла шагом несколько метров, остановилась и села. Подняв кверху голову, оскалив пасть, она с каким-то злым спокойствием смотрела на брюхо вертолёта. Вертолёт, пройдясь по кругу, опустился ниже. Поток воздуха пригнуло к земле траву, по седой шерсти забегали волны. Медведица прижала уши, немного втянула голову, но продолжала показывать вертолёту свои клыки.

За шумом двигателей не было слышно выстрелов. Медведица, как будто по собственной воле, расслабленно вытянулась, положила оскаленную морду на лапы и закрыла глаза...

Упрямый «француз»

— И не спорь со мной! Сам нюхал!

— Трезвый я был...

— Тебе говорят, не спорь! — Начальник цеха стукнул ладонью по лежащему на столе журналу распоряжений. — Совести у тебя, Королёв, ни грамма не осталось. Если бы не я, давно ты с работы вылетел и вообще бы уже... это самое... — Начальник, не найдя подходящего выражения, помахал в воздухе расслабленной кистью руки, что можно было понять по-разному: или же Королёв взлетел бы к небесам, как птичка, или понесло бы его, горемычного, неизвестно куда, как сорванный ветром осенний листок. — Сколько раз я тебя на смене пьяным лов... заставлял? А-а?

— Один раз, — пробурчал в ответ Королёв.

— Не один, а три раза, — устало поморщился начальник цеха и залистал журнал распоряжений. — Могу точно сказать, какого числа.

— Один раз, — твёрдо возразил Королёв, отвернувшись от начальника к стене кабинета.

— Ты не отворачивайся, ты слушай. Вот тут записано: раз, два, три... Три раза!.. А наказал я тебя сколько раз? Один раз...

— Три раза, — буркнул Королёв, не отворачивая лица от стены.

— Как это — три? — начальник цеха закурил и залистал журнал распоряжений в обратном порядке. — Вот. Отстранён от работы. Лишён премии на сто процентов. И это в одном приказе.

— А в карикатуру всунули? — с проявившейся в голосе обидой напомнил Королёв.

— Ну-у, карикатура — это не наказание. Это так, воспитательная мера...

— Ага, «воспитательная»! У меня сыну семь лет. Он уже всё понимает. А если ему кто расскажет, каким крокодилом с поллитрой в зубах меня изобразили?.. Воспитательная мера...

Королёв насупился и поправил на голове свой неизменный берет с хвостиком.

— Ага, о сыне вспомнил! Проняло, значит? — обрадовался началь-

ник цеха, припоминая, что действительно месяца два назад была в цеховой стенгазете такая картинка: зелёный крокодил с рыжими, как у Королёва, бровями, в беретике коричневого цвета, заглядывает одну за другой бутылки, а под картинкой пояснительная надпись: «Есть в нашем цехе крокодил — он море водки проглотил». — О сыне, Королёв, раньше надо было думать. Поручил семью-то... Солидного возраста человек, специальность у тебя умственная, работа ответственная... А ты? Э-эх! Жена твоя бывшая на тебя жалуется, забросала директора жалобами. Мешаешь ей жить, мол, с квартиры сгоняешь, скандалишь и тому всякое подобное... Теперь вот на работе хулиганство настоящее сотворил. Директор меня вызвал сегодня и говорит, что пьяниц и дебоширов он у себя не потерпит. И я ему сказал, что полностью с ним согласен. Хватит с тобой нянчиться! По-хорошему не понимаешь — найдём другие меры.

Королёв медленно поднялся со стула, выражая своей невысокой, согнутой вопросительным знаком фигурой и глубоко засунутыми в карманы руками полное безразличие к любым мерам. Посмотрев на потолок, спросил:

— Можно идти?

Начальник цеха немного задумался: что бы ещё сказать в напутствие, но ничего не придумал и коротко разрешил:

— Иди.

В котельном цехе электростанции Васю Королёва за его берет с задорно торчащим посередке хвостиком прозвали «Французом». Это прозвище, как и весёленький хвостик на берете, вовсе не вязалось с сердитым, утрюмым, сутулым обликом Королёва. Однако, вероятно, именно по этой причине оно показалось смешным и удачным, несколько лет не отлипает от Васи и тот, хоть и неохотно, но иногда откликается на него.

Свой берет Королёв носил потому, что голова у него была абсолютно безволосая, гладкая, как яйцо, аж блестящая. В цехе шутили: мол, не прикрывать на людях такую лысину так же неприлично, как прогуливаться по улице без штанов.

Королёва вообще часто и разнообразно подначивали, и он, на свою беду, переносил шутки чрезмерно болезненно. Сначала молчал, потом огрызался, затем начинал топтать ногами, сжимал кулаки. Потом замолкал, отворачивался от гыкающих физиономий и ещё больше сгибал свою сутулую спину. По причине полной Васиной беззлобности шутить над ним было очень удобно: сразу видна реакция на шутку и не надо опасаться, что Вася когда-нибудь припомнит обиду.

Работал Королёв машинистом котлоагрегата. Работа квалифицированная, сидячая, главное в ней — наблюдать за показаниями приборов и регулировать тумблерами на приборном щитке параметры

работы котлов. Особых каких-нибудь геройских качеств здесь не требовалось. Основное — усидчивость и внимание.

Обычно, придя на смену, Королёв усаживался за стол перед своим пультом, поглядывая насупленно из-под бровей на стрелки приборов, когда надо — вставал и переводил стрелки на нужное деление. За восемь часов смены он не уставал от одиночества, очень редко подходил к столам соседних машинистов, а если кто-нибудь из сменного персонала направлялся к нему, Вася краем глаза наблюдал за подходящим, пытаясь определить: идут ли к нему по делу или так, поохмить и покоротать рабочее время. Почувствовав, что идут от безделья, а значит, с каким-нибудь коварством, Вася тут же вставал, шёл к пульту, принимался сосредоточенно вглядываться в приборы, щёлкал тумблерами и кнопками, будто работа котла вошла в аварийный режим.

В коллективе к Королёву относились по-разному. Те, кто проработал с «Французом» год-два, — насмешливо и неуважительно. Кто работал с ним давно — покровительственно, со скрытой заботой, как к обиженному судьбой родственнику. Собираясь на отвальную по случаю отпуска или просто так, в складчину, всей сменой, Васю приглашали редко. Интересы в нём было мало: выпьет — и молчит. А потом уснёт прямо там, где сидел, и веди его домой, чтобы он не замёрз или в милицию не попал.

Те, кто знал Королёва давно, говорили, что раньше он таким не был. То есть лысым Вася был всегда, вернее, не всегда, а почти сразу после солдатской службы. А вот угрюмым его сделали исключительно семейные обстоятельства и Тонька — его бывшая жена.

По ночным спокойным сменам, тщательно разбираясь в хитросплетениях своих и чужих жизней, дежурный персонал цеха категорично решил, что довести человека до такого состояния, когда он, можно сказать, даже лицо своё потерял, семейные неприятности могут в том случае, если сам из себя этот человек никудышный. Бывают, конечно, в жизни моменты, от которых и за десять лет не оправившись, с ума сдвинешься от горя или сердце разорвётся. Но чтобы из-за обыкновенного развода спиваться?.. Была бы хоть баба путная... Плюнул бы и уехал.

Когда Королёв официально подарил Тоньке свою фамилию, ему было немногим за тридцать, а ей — двадцать лет. Через два месяца после этого события Тонька отблагодарила супруга сыном. С годами семейной жизни разница в их возрасте не уменьшилась, а, наоборот, увеличилась. Как говорится, связал бог верёвочку с бечёвочкой. Досталась Васе жена весёлая, бойкая, непоседливая, приятно посмотреть. Да и посмотреть было на что. Тонька об этом знала и старалась, чтобы на неё смотрели. Запирать себя в четырёх стенах она не соби-

ралась. Вася подневольно таскался за ней по вечеринкам, по гостям, по всевозможным пикникам на природе, нагрузившись сменными ползунками, бутылочками с кипячёной водой, толкая перед собой детскую коляску.

Тонька всей душой отдавалась веселью: голосила песни, хохотала до слёз, безбоязненно заигрывала с чужими мужиками, дурачилась, как котёнок на травке, щипая своего Королёва. Тот терпел, терпел, но потом ему это надоело. Он с сыном оставался дома, готовил, мыл, стирал, и ждал — когда шумливая круговерть надоест наконец-то и Тоньке. Тоньке, однако ж, нисколько не надоело.

Работала она стрелком ведомственной охраны. Дежурила то в день, то в ночь. Заскочив с дежурства домой, она тут же уносилась куда-то опять, быстренько перекусив, накрасив губы и ресницы, промокнув излишне намазанные места рубашонкой, вывешенной на кухне для просушки.

Королёв пробовал вставать на Тонькином пути, пробовал повернуть её лицом к семейной жизни и домашним заботам, иногда, для пущей убедительности, разбивал о пол тарелку. Тоньку это не останавливало. Орать и бить посуду она и сама умела.

Искренне плача, кусая губы, Тонька кричала, что лысый чёрт сгубил ей молодость, если бы не он, то быть ей стюардессой или манекенщицей. Вася, как мужчина, замолкал первым. Немногим погодя затихала и его супружница. Всхлипывая, Тонька шла в ванную, умывалась, по-новому наводила красоту и с поникшим видом, будто направляясь в монастырь, выходила из квартиры. Хлопала входная дверь и с лестницы доносилось быстрое цоканье Тонькиных каблучков.

Как-то Тонька дежурила ночью на своём посту в проходной электростанции и к ней ночью для перемирия заявился слегка выпивший один её знакомый. Близкий. Этот близкий знакомый незадолго до этого, будучи с Тонькой на именинах у подружки, как показалось Тоньке, излишне много уделял внимания имениннице. Личные интересы совпали со служебными, и на пост своего знакомого Тонька не пустила. Но изменник, видимо, хорошо знавший женские сердца, не поверил её словесным угрозам и полез через форточку в помещение проходной. Действуя в точности с караульным уставом, Тонька применила табельное оружие: саданула настырного хахалю рукояткой револьвера по лбу, а когда тот, опешив, сорвался с подоконника на землю, выстрелила через форточный проём в воздух.

Близкий знакомый, здорово перетрусив, побежал зигзагами прочь. Тонька выставила револьвер в форточку, прицелилась и выстрелила. Не выбирая сухого места, точно убитый наповал, тот шлёпнулся в лужу и замер в неподвижности. Тонька выронила оружие, завывая от плача, доложила начальнику караула об «убийстве нарушителя».

Не успел ещё вылинять синяк на лбу хахаля-нарушителя, как Тонька с четырьмя чемоданами вещей перебралась к нему в общежитие, оставив Королёву записку: «Ухожу по любви. Всё своё забрала. Никаких претензий не имею».

Две недели после этого о Тоньке не было ни слуху, ни духу, будто сквозь землю провалилась или изменила образ жизни. На третью неделю комендантша общежития принесла Королёву чемоданы и сообщила, что его жена выехала в неизвестном направлении: то ли с новым мужем, то ли в погоне за ним.

Комендантша, глядя на лысую голову Васи, склонённую над кастрюлькой с варившимся борщом, дала парочку советов, как вести себя с гулящими бабами, погладила, точно сиротку, пятилетнего Королёва, потом попросила написать расписку о возврате чемоданов и ушла, вздыхая.

Ещё через неделю заявила собственной персоной Тонька. На усталом от дороги лице не было ни капли раскаяния, ни грамма унижения. В квартиру её Вася не пустил. Придерживая ногой в тапочке приоткрытую дверь, он разговаривал с Тонькой через порог. Скитания всё-таки повлияли на Тонькин характер: поубавилось весёлости, прибавилось настырности. Она упорно лезла в покинутое семейное гнёздышко, пихалась, грозила милицией.

Вася держался твёрдо. Сохраняя достоинство, молча отпихивал Тоньку, на её ругательства не отвечал и на все требования угрюмо бурчал:

— Всё своё забрала? Претензий нет? Вот и катись отсюдава...

Тонька, тяжело дыша, продолжала прорываться в квартиру. Королёв, отпихнув наконец Тоньку подальше от порога, захлопнул дверь, защёлкнул замок. Тонька вдавила пальцем кнопку звонка, ругалась за дверью, грозила, что отберёт сына по суду.

— Пап, кто там? — спросил с кровати сонным голосом сын.

— Мать твоя возвратилась, — ответил Королёв, выдёргивая идущий к звонку электрошнур. — Спи, спи...

— А-а, — разочарованно протянул сынишка, пряча под подушку деревянный пистолет. — А я думал, что на нас разбойники напали.

По решению суда ребёнка оставили матери. Вася Королёв, не обладая способностями к обобщениям, пытался убедить суд многочисленными примерами, что сыну будет лучше с ним, чем с матерью. Однако суд особых аморальностей в поведении Тоньки не усмотрел. Характеристика с работы у неё была замечательная, ребёнок малолетний, следовательно, нуждается в материнской заботе — и присутствовали Тоньке сына вместе с четвертинкой заработка Королёва.

Королёвых развели, имущество и квартиру разделили. Но жить они продолжали под одной крышей, поскольку все варианты разме-

на жилплощади Тоньку не устраивали. Она считала, что из всей жилплощади их двухкомнатной квартиры её бывший муж имеет право на метраж не более кухни. Дураков же менять кухню на комнату не находилось, и Вася продолжал жить вместе с Тонькой, ожидая неизвестно чего.

По-прежнему он готовил и обстирывал сына, водил его в детсад и на воскресные сеансы в кино, покупал ему игрушки и одежду из своей ущемлённой исполнительным листом зарплаты. С последней зимы его заработок, правда, неожиданно вырос. За причинённое ему увечье головы с Тонькиной зарплаты стали удерживать в пользу Королёва по десять процентов. Виновата в действительности была не столько сама Тонька, сколько ходивший к ней в ту пору молодой хулиганистый парень. Парень этот в пьяном раздражении, беспричинно или по Тонькиной указке шибанул Васю о дверной косяк. Дальше Вася уже точно не помнил — била ли его ещё и Тонька: в голове от удара помутилось и помнился лишь голос зашедшегося криком сына.

Холодной порой Тонька частенько собирала у себя на квартире шумные гулянки и почти всегда один из гостей, одарённый особым радушием хозяйки, оставался с ночёвкой. Королёв не обладал достаточными физическими возможностями, чтобы нужным образом отвечать на пьяный юмор Тонькиных гостей, когда они то донимали его вопросами: «Что тут делает посторонний мужчина?», то под женское хихиканье щёлкали Васю прокуренным ногтем по гладкой макушке. Он утрюмо огрызался, втягивал в сутлубые плечи голову и отворачивался, чтобы не нервировать злым взглядом агрессивного гостя.

Посмотреть со стороны — жизнь у «Француза» была сплошной неопределённостью. Что думал и как относился к этому сам Королёв — неизвестно. Наверное, всё-таки мучился от такого тягостного существования, безрадостного, тусклого, как длинный коридор без окон и дверей.

Наверное, всё-таки мучился. Потому что нашёл «Француз» тот самый выход, который нередко находят в мучительно-безвыходных ситуациях. Выход, кончающийся чуть дальше глухим тупиком. Королёв начал выпивать, отгораживаясь от своей жизни тяжёлым дурманом «бормотухи». Всё близкое: злое, обидное — отдалялось, делалось несуществующим. Всё хорошее — но далёкое, туманно-сказочное, вдруг становилось рядом, успокаивало, грело, снимало злость и боль. Сквозь успокоительный дурман пробивался лишь удивлённый взгляд круглых глаз сынишки. Он мешал сосредоточиться на хорошем, делалось мерзко и совестно, будто глаза ребёнка спрашивали: «Ты куда, пап, а как же я?».

И Королёв стал пить на смене. Пить в одиночку, под размеренный гул двигателей и понимающее киванье приборных стрелок.

Бывшая жена Тонька по своему артистическому характеру терпеть

не могла неопределённости. Королёв, каким бы тихим и незаметным он ни был, мешал вальсу её жизни, как торчащий из половицы гвоздь, о который она то и дело спотыкалась, кружась в упоительном танце.

Надеяться на то, что Королёв уедет к своей матери во Владимирскую область, Тонька уже перестала. Выгнать Королёва из квартиры она не могла по закону, а выжить его никак не получалось. Оставалось ждать, когда «Француз» окончательно сопьётся, а там, уже с фантазией и решительностью, действовать по обстановке. Ожидая этого, Тонька, не теряя времени даром, подготавливала почву, периодически отправляя начальству Королёва жалобы на поведение «своего соседа» и заявления участковому с просьбой принять меры к «пьянице и дебоширу» и даже «вору», имея в виду ополовиненную без спроса четверть бражки.

Тонькины планы почти сбывались. Утром к директору электростанции пришла возмущённая завстоловой, расписала в ярких красках, как какой-то рабочий из котельного цеха, пьяный, оскорбил работавшую в ночную смену повариху, разбил сто сорок восемь тарелок, повариха в шоке от страха убежала домой.

Когда в цехе узнали, что этим хулиганом оказался Вася Королёв, каждый в меру своей фантазии представил затюканного, вечно смурного «Француза» в образе хулигана, громящего столовую. Получилось столько смеха, что хватило бы на три хороших кинокомедии. За глаза пока нарекли Королёва «лысым гангстером» и назойливо приставали: «Давай подробности». Ни в подробностях, ни в общем Вася своего хулиганства не описывал, только бубнил упрямо, что он был трезвым, а повариха, дескать, сама первой и начала.

Был он и вправду трезв в ту ночную смену. Как обычно, к пяти часам утра подменившись у котлоагрегата, пошёл в столовую. Заспанная, с помятым лицом повариха накладывала половником сметану в банку, потом отдала эту банку мужчине, стоявшему впереди Королёва. Других посетителей в столовой не было. Повариха недружелюбно и вопросительно взглянула на Королёва.

— Гуляш и стакан сметаны, — заказал Королёв.

— Нету сметаны, — раздражённо бросила повариха и принялась накладывать гуляш в тарелку.

— Как это — нет? А вон ему? — неуверенно попытался спросить Вася.

— Нет сметаны! — повариха резко швырнула на раздаточный прилавок тарелку с гуляшом, отчего несколько капель подливки струйкой брызнули на рубашку Королёва.

Он посмотрел на расплывающиеся по рубашке пятна и нехотя спросил обычным бурчливым голосом:

— Ты чего это швыряешься-то?.. Ты, что ли, мне стирать будешь?.. Могу ведь и жалобную книгу...

— Жа-алобную книгу!.. — взвизгнула повариха. — Жалобную!.. Залил глаза. Вон, красные бельма таращишь. Пьянь! Работать не даёшь... — Она, жестикулируя, развела руками и задела стопку тарелок на прилавке. Стопка разделилась надвое и верхняя половинка полетела на пол.

От звона разбившейся посуды повариха опешила, на секунду замолчала, потом опять взвизгнула, заверещала ругательски на Королёва — и сгребла на пол оставшуюся половинку стопки.

Королёв заморгал, втянул голову в плечи и, оставив свой поднос с гуляшом, пошёл к выходу. В столовую в это время зашли два дежурных электрика. Повариха, увидев вошедших, уже со слезами в голосе запрочитала:

— Да что же это такое?! Посуду побил, а мне плати! Что ж такое?! Кто таких пьяниц до работы допускает? Милицию нужно...

Поскольку «Француз» не считался принципиальным трезвенником, а наоборот, фиксировался начальством на рабочем месте в нетрезвом обличьи, в его трезвость на момент разбора происшествия не поверили. А раз человек был пьяным — значит он во всём и виноват.

Сначала в цехе говорили, что Васю собираются уволить по статье. Потом шушукались, что Королёва станут судить за хулиганство в общественном месте. Сам Королёв о своей участи ничего не знал и от расспросов равнодушно отмахивался: «Что будет, то будет», и шёл к пульту щёлкать тумблерами и кнопками. Ясность внёс вывешенный приказ директора: Королёва увольняли по собственному желанию, на основании личного заявления. Коллективный разум цеха единогласно решил, что «Француз» ещё легко отделался. Пожалели, предложили «по собственному». Гуманизм начальства достоин уважения.

— Теперь «Француз» потеряет все надбавки и горячий стаж...

— Уедет, наверное...

— А оно и к лучшему. Иначе совсем сопьётся тут от своей Тоньки.

— Я бы на его месте давно куда-нибудь рванул. Страна большая...

— Да никуда он не уедет, — твёрдо сказал пожилой начальник смены, хорошо знавший «Француза» ещё по молодости лет. — Вася от сына своего ни в жизнь не уедет. Вот увидите.

Королёв уехал. Но не прошло и месяца — вернулся обратно. Устроился истопником в маленькую кочегарку. Там и живёт, спит на дощатом топчане за кучей угля. Иногда вечером в очереди к винному магазину мелькнёт его красное, отёкшее лицо в неизменном берете с хвостиком. Спереди на берете появилась рыжая пропалина. Видимо, как-то, горькой минутой, отяжелев от выпитого и своих мыслей, уснул угрюмый «Француз» в опасной близости от раскалённой топки.

Вся совокупность обстоятельств

Бывают же такие невезучие дни, когда, как тучи по осеннему небу, чередой, одна за другой, выползают из-за горизонта дня тяжёлые неприятности. Невольно под их тяжестью втягиваешь голову в плечи — и всё кругом мрачно, и всё кругом — сплошная проруха, и весь мир против тебя, а ты один — против всего мира.

За стёклами машины визгливо посвистывал ветер, на поворотах машину заносило в сторону, казалось, что колёса уже совсем потеряли сцепление со скользкой дорогой и вот-вот серый «уазик» влипнет радиатором в забитую мокрым снегом обочину. Лицо у человека за рулём бледнело, делалось напряжённым, он начинал лихорадочно крутить баранку вправо-влево, перебрасывал ногу с педали газа на тормоз, выравнивал машину. Некоторое время, будто опомнившись, ехал тихо, но затем опять надавал газу.

Шоссе было пустынно, по обе стороны от него простиралась неровно укрытая снегом угрюмая степь. Игорь Синюхин второй час гнал по дороге свою машину, надеясь хоть скоростью развеять мутное настроение. С лица не сходило обиженное выражение, иногда мелко вздрагивали губы, словно Синюхин собирался плаксиво всхлипнуть, а иногда его губы шептали длинные, ни к кому конкретно не относящиеся, несвязные ругательства.

Уже смеркалось. Всего четыре часа дня, но пасмурная октябрьская погода приближала вечер. В полдень Синюхин выехал из города, куда его вызывали на общетрестовское подведение итогов. На городской окраине за превышение скорости его тормознули гаишники и, словно в продолжение трестовского совещания, ещё целых двадцать минут терзали ему и без того перенапряжённые нервы; в заключение отобрали права и ещё наорали, уверенные в своей правоте. После этого, не прошло и получаса, лопнуло переднее колесо. Как назло — не оказалось домкрата, и Синюхин, готовый кусать себя от бешенства, корячился в одиночку на дороге под промозглым ветром.

И все эти дневные впечатления: то, что его круто отчитали по очереди все главные специалисты треста за провал летнего сезона; то, что лишился прав и то, что лопнуло колесо и не оказалось домкрата — всё это перемешалось-смешалось, как разные напитки в одном стакане, и получился отвратительный, тошнотворный коктейль под внешне привлекательным названием «Фортуна». «Обложили меня, обложили...» — пришла на память строчка из песни. Обстоятельства, как красные флажки при охоте на волков, загоняют в угол.

«Ищи, Синюхин, угол», — подумал Игорь. Неприятности для него ещё не кончились и он трезво представлял, во что они выльются в скором времени. Цепная реакция, снежная лавина... и тому подобное. Раз не вытянул план, не будет сезонной премии. Не будет премии — его сезонники, романтики-бичи, опустят руки, потом, посовещавшись между собой, через день-два дождутся зарплаты и расползутся в разные стороны: энтузиазм — не их стихия. Без них, без черновой работы ничего не смогут сделать операторы, а у тех тоже: мечты, свои планы, семьи. Они тоже надеялись на солидную премию, они тоже верили в своего начальника геофизической партии. Организация и дисциплина посыпятся теперь ко всем чертям. Что в результате? В результате — его первый самостоятельный сезон станет точкой отсчёта конца его престижа специалиста... в сторону нулевой отметки.

«Ну да, он во всём виноват. Он не выбил новую технику — хотя и очень изворотливо искал подходы. Он не скорректировал на плановой комиссии объёмы геологических площадей, хотя и пробовал это сделать. Он ещё много чего не сделал, что требуется от толкового начальника партии. Что ж, значит, он того достоин. Где этот угол? Я согласен...»

Машину опять занесло на повороте. Засвистели тормоза, правые колёса закусил снежную бровку. Синюхин сбавил скорость, снял с головы шапку и кинул её на сиденье.

От областного центра до стоянки партии сто восемьдесят километров, из них полтора по шоссе, остальные по степи. У маленькой деревушки поворот направо, и пошла езда вверх-вниз, вниз-вверх от холма к холму, по коварному бездорожью из солончаковых линз и скрытых снегом колдобин. Выпавший неделю назад снег до неузнаваемости изменил приглядевшийся за лето ландшафт, привычные ориентиры. «Какую ещё готовит мне пакость сегодняшний день, — подумал Синюхин, то и дело щёлкая рукояткой скоростей и выискивая глазами свою утреннюю колею. — Не хватало только заблудиться. Ко всему прочему... Э-эх», — он устало, с надрывом, вздохнул, будто переводя дыхание между приступами боли.

Дорога пошла по пологому склону холма. Синюхин посмотрел вдаль, на размытую уже сумерками линию горизонта, и его взгляд задержался на желтеющем прямо по его курсу пятне каплевидной

формы, которое то вытягивалось в широкую линию, то опять принимало неправильно круглую форму.

«Сайгаки, — догадался Синюхин, хотя таких больших табунов ему не доводилось видеть в этих местах. — Собрались от холодов в кучу и бегут зимовать к Аральскому морю». «Сколько мяса задаром пропадает...» — пришли ему на ум слова одного из его «романтиков». Синюхин пошарил рукой под сиденьем, достал сложенное в сумке ружьё. Придерживая руль локтем, торопливо примкнул стволы к прикладу, стукнул об коленку цевьём, вставил патроны. «Пусть хоть свежатинки ребята поедят, — решил он. — Пусть видят, что ради них начальник даже на браконьерство согласен». Синюхин опустил стекло в дверце напротив, выставил стволы наружу и, держа руль одной левой рукой, так прибавил скорость, что из-под задних колёс полетели ошмётки снега.

Если бы каждому человеку при получении им паспорта вручали и инструкцию по эксплуатации собственного характера, чтобы он знал параметры своих способностей, сферу их применения, чтобы не лез туда, куда ему заказана дорога, чтобы не жаловался потом на непреодолимые трудности и не впадал в чёрную меланхолию от закономерного вытекающих неудач...

Завидев машину, сайгаки разделились на два косяка и растеклись в разные стороны. Синюхин погнался за ушедшим влево стадом, пока не особенно торопясь, дожидаясь, когда те выдохнутся и сбавят свою бешеную прыткость. Подвластные древнему инстинкту тактики, сайгаки бежали большими зигзагами, и на этом просторном поле они, через некоторое время, снова пересекут прямую перед машиной. Синюхин вдруг загадал себе, что, если ему удастся подстрелить хотя бы одного, значит кончилась его полоса невезения, он обретёт уверенность в себе и, может быть, пересилит все враждебные обстоятельства.

Пригнув низко морды с широкими дыхалами, едва не вонзаясь в землю прямыми рогами, сайгаки пронеслись в нескольких метрах от передка машины. Синюхин резко прибавил газу, стал настигать задних — ослабевших самок и молодняк, но тут косяк снова растёкся надвое и обе группы, раскидывая на крутых виражах копытами снег и землю, разошлись в противоположные стороны. В растерянности Синюхин крутанул руль туда-сюда, потерял на этом несколько мгновений и отстал на недостижимое для ружья расстояние. В погоне машину вынесло на кочковатый участок, еле удерживая одной рукой руль, Синюхин положил двустволку на сиденье. В кабине всё тряслось, громыхало и брэнчало, из вещевого ящичка посыпались бумаги и всякие мелкие предметы. Сайгаки, вытянувшись в линию, уходили на вершину холма. Игорь, погнав машину наперерез, в азартной спешке так резко повернул руль, что чуть не вышиб локтем форточку окна.

В стаде, заметившем пересекающую их путь машину, произошло замешательство. Оно рассыпалось и закрутилось на месте. Один из матёрых рогачей рванул вниз, другой — вдоль по склону; за ними, опять разделившись, и все остальные. Синюхин выбрал ту группу, что побежала вдоль по склону. Пригнувшись к рулю, как всадник к лошадиной гриве, он выжал из машины всё возможное, потянулся рукой к двустолке, но «уазик» так трясло, что пришлось снова схватиться за руль. Древние антилопы, обезумев от страха, не имея уже сил на манёвры, мчались теперь только по прямой, обдираясь о жёсткий чилижный кустарник, перепрыгивая через гранитные валуны. Машина уже вплотную настигала задних, можно было стрелять, но Синюхин, вцепившись в руль, точно сорвавшийся альпинист в страховочную верёвку, боялся протянуть руку к ружью и всё-таки продолжал давить и давить на акселератор.

Сайгаки неожиданно круто свернули влево. Тут же, при повороте руля, Игорь почувствовал, как что-то ударило по переднему колесу, «уазик» подбросило, заскрежетало по днищу. Он только успел растерянно выдохнуть «а-ах». Резким ударом сбросило ноги с педалей, подкинуло его на сиденье, и, накренившись сильно на правую сторону, машина заглохла и встала.

Бледный, ощущая спиной мокрую от пота рубашку, Синюхин открыл дверцу, осторожно выбрался из колеблющейся, дребезжащей кабины. На вялых, будто онемевших ногах, обошёл вокруг машины. Машина, точно жук на булавке, сидела задним мостом на массивном, вросшем в землю валуне. Правое переднее колесо, зависшее над крутым берегом глубокой промоины, продолжало медленно вращаться, жалобно-тихо поскрипывая в неожиданно наступившей тишине. Игорь заглянул на глинистое дно промоины, покачал головой. Отошёл прочь и вытер лицо рукавом штормовки, словно отгоняя от себя представившуюся картину: на дне промоины — искорёженный, вверх колёсами «уазик», а под ним бездыханное тело, и свистит холодный ветер, и заносит яму снегом... «Это называется — не повезёт, так во всём, а повезёт — так по-крупному», — подумал Синюхин, щупая карманы в поисках сигарет. Сигареты не нашёл и заглянул в кабину, отыскал их рассыпанными по полу. Увидел завалившееся меж сиденьями ружьё, осторожно вытащил его, осмотрел курки. Хотел было вынуть из стволов патроны, но, устало улыбнувшись каким-то своим мыслям, поднял ружьё повыше и саданул дуплетом в свинцовую тучу над головой.

Квадратность мира, или Пожарная лестница

1

С психикой творилось что-то ненормальное. И раньше у Радькина бывало плохое настроение, депрессия, меланхолия и всё такое в подобном духе, как у многих других людей. Радькин глотал седуксены и нозепамы, пил отвар пустырника и просто пил... для эмоционального расслабления. Расслабление приходило, но не до конца, порой делалось ещё хуже — муторно, мерзко, пошло и лживо. «Прямо не душа, а унитаз в общественном туалете», — говаривал сам себе Радькин. Никому больше, только себе, потому что был уверен: объяснить своё состояние кому-либо ему не хватит красноречия, а простыми обиходными словами не объяснишь то, что там, внутри, периодически спекается. Никак не объяснишь. Или отвернутся, не дослушав, или дадут из вежливости какой-нибудь идиотский совет типа: займись бегом трусцой — все как рукой снимет. Вот если стать посреди коридора в своём управлении да заорать благим матом: «Ой, мама, как мне плохо!» — тогда, может, поймут. Вернее, не поймут, а предположат, что у него там... внутри... не в порядке. И вызовут психиатрическую бригаду «скорой помощи».

Раньше он сдерживался, но сегодня почувствовал, что уже не сможет. Он уже не думал, как будет выглядеть в глазах окружающих: все вокруг стало ему глубоко-глубоко безразлично. Будто ослабили одновременно все внутренние крепления характера, разъединились узлы общей конструкции, свалились, смешались в бесформенную кучу. Осталась только пустая оболочка, подвластная любому случайному ветерку, словно воздушный шарик.

Радькин с утра заметил за собой: что-то не то с его организмом,

трясёт мелкой дрожью и очертания предметов приобрели странный резко-контрастный абрис, точно зрение вдруг подскочило на все сто десять процентов. Он сначала не придал этому особого значения, просто мельком подумал, что сегодня у него опять будет паршивое настроение. Жена, собираясь на работу, бурчала в прихожей перед зеркалом насчёт своего старенького пальто, у которого обмахрились рукава и облысел норковый воротник. Что, в общем, такого? Она часто, если не всегда, одеваясь, вздыхала по этому поводу. Но тут, в этот пасмурный утренний час, Радькина больно, по самому сердцу, задело упрёком и он, швырнув на пол чашку, из которой отхлёбывал чай, заорал до хрипоты в голосовых связках:

— Что!.. Что, я воровать должен, чтобы купить тебе новое пальто?! Воровать, да?! — Чашки ему показалось мало и он смёл на пол чайник с заваркой. Чайник силой удара рассыпало на мелкие черепки, чёрные брызги залепили стены и даже потолок. — Что! — орал Радькин. — Как!.. Где!..

Хлопнула входная дверь. Закашлявшись, Радькин опустился на табуретку, обхватил голову руками. Ему стало жалко себя и жалко жену, которая идёт сейчас неуверенным шагом по скользкому тротуару, беззвучно плачет и размытые тени по лицу текут чёрными струйками, как чайная заварка по кухонной стенке.

«Я — виноват?.. Разве я виноват?..» — угнетённо размышлял Радькин. Голова у него кружилась, давило в висках, в ушах звучала, будто наяву, тревожная музыка, предвещающая пиликаньем скрипичной струны какие-то близкие ужасные события. «Что ж это за жизнь такая? Всё однообразно, уныло, плоско и, что главное обидно, так будет долго, если не всегда. Капитальная уверенность в завтрашнем дне: завтра будет так же, как сегодня... Завтра будет так же, как вчера. Коридор какой-то... Выход-то есть? Выход какой-нибудь...»

— Мы передавали фантазию Мусоргского «Ночь на Лысой горе», — сообщил кухонный радиорепродуктор.

2

Радькин опоздал на работу на целых сорок минут. Рубашка на его спине и под мышками промокла от пота, несмотря на холодную с промозглым ветром погоду. Сердце колотилось, будто только что пойманная в клетку дикая птица. Бледное лицо с прикушенной нижней губой выражало боль и отрешённость, как у лётчика-камикадзе перед вылетом. В сумеречном коридоре, без окон и со слеповато мигающими люминесцентными лампами, Радькин столкнулся с начальником отдела.

— Арсений Петрович... — начальник показал мимикой, что он очень удивлён, и остановился, сложив на большом животе руки.

— Что «Арсений Петрович»?! Что?! — с истеричной враждебно-

стью вскинулся Радькин и на какое-то мгновение почувствовал себя собакой, укусившей своего хозяина.

— Как «что»? — начальник глянул на часы. — Сорок две минуты опоздания. А как же трудовая дисциплина? — он опять сложил на животе руки и ждал ответа.

— Ну и плевать, — процедил сквозь зубы Радькин, крутанулся на каблуках и пошёл дальше по коридору.

Начальник отдела долго смотрел ему в спину, удивлённо выпятив губы и рассерженно сдвинув к переносице брови.

Радькин вошёл в свой отдел, большой, как гараж для канцелярских столов; кабинет, в котором мог бы поместиться средних размеров воздушный лайнер. «Арсик, привет», — со скучной весёлостью поздоровалась Светочка, соседка слева. Сосед справа, Толя Салов, читал газету, сложенную вчетверо, чтобы в случае тревоги её можно было быстро спрятать в ворохе чертежей.

Знакомый до икоты запах клея и бумажной пыли. «Господи, как я терплю всё это уже восемь лет», — подумал Радькин, с отвращением глядя на свой стул, который ему предстояло оседлать до конца рабочего дня. И, возможно, до конца трудовой биографии. Взгляд его скользнул по квадратной крышке стола, обитой коричневым дерматином с тиснёным рисунком маленьких квадратиков. Будто переутомив зрение на этом квадратном однообразии, он отвёл глаза в сторону, посмотрел вокруг. И всё вокруг, оказалось, состоит тоже из одних квадратов: квадратные окна, квадратные стены, двери, плафоны ламп на потолке и даже лица сотрудников казались одинаково уныло-квадратными.

— Нет, я так не могу больше, — сказал Радькин вслух. — Я пойду покурю.

Доставая на ходу из кармана папиросу, он отметил про себя, что и папиросная пачка всё той же квадратной формы. Приткнувшись в курительном углу, ломая спички трясущимися пальцами, он пытался уловить закономерность, которая ему померещилась между квадратностью окружающего и его индивидуальным существованием. Какая-то закономерность, какая-то определённая логическая связь имелаась, чувствовалась душевным наитием, но пока не поддавалась формулировке. Можно, например, обозначить так, что примитивное содержание и вырабатывает для себя примитивную форму выражения. Или: для усреднённых, обструганных под шаблон, будто спички, индивидуальностей самой соответствующей формой являются дома-квадратики, квартиры — спичечные коробки и всё остальное в том же духе, по принципу усреднённости, типичности и дешевизны...

Радькину стало интересно, он похмыкал, постучал подошвой по линолеуму, переменял позу и закурил вторую папиросу. Квадрат-

ность жизни можно рассмотреть ещё в одном плане... Но ему не дали додумать — Толя Салов хлопнул по плечу и потряс перед его носом конспиративно сложенной газетой.

— Ты читал?.. Что пишут, что пишут! — Салов замотал из стороны в сторону головой с зарождающейся лысиной. — С ума сойти. Представляешь, самое большое, сколько нам осталось жить — это четверть века, а то и меньше... И потом всё — крах природы и угасание цивилизации...

Радькин непонимающе глядел на быстро шевелящиеся губы со-служивца и никак не мог вынырнуть из своих мыслей.

— ...Куда смотрело мировое правительство? Кому мы доверили свои жизни, — возмущался Салов. — Что получается: через пятнадцать лет нас всех ждёт могила экологической катастрофы... А как, я спрашиваю, пенсия? Только доработаешь до пенсии, а тут — всеобщая гибель... Так зачем же я тогда трудовой стаж зарабатываю и всё-прочее?.. А вот ты читал? — Салов вытащил из кармана свёрнутый в трубку журнал. — В голове не укладывается, что такое творилось. Ну, это ладно. А вот вчера по телевизору не смотрел, а?..

Салов, вдруг замолчав, заглянул сбоку в лицо Радькину и спросил уже тихим голосом:

— Ты что, больной сегодня? Вон глаза какие замороженные, пот на лбу. И вообще — смурной до странности.

— Я думаю, — спокойно ответил Радькин.

— О чём? — недоверчиво улыбнулся Салов.

— Ты слышал что-нибудь о квадратности мира?

— О чём? — переспросил Салов, сморщив лицо.

— Как ни странно, у нас преобладающей формой линейного многообразия является квадрат. Фигура, имеющая четыре равнозначных стороны. Это символ нашей с тобой жизни, это четыре культивируемые в нас функции жизни, это программа, введённая в наши мозги. Мы интересуем внешнюю силу, довлеющую над нами, только как носители этих четырёх функций. Всё остальное богатство нашей души никому не нужно... Понимаешь, нас программируют. Как роботов, но через посредство внешней символики... Только четыре функции...

— Постой-постой, — перебил заинтригованный Салов. — Кто же это нас программирует, инопланетяне, что ли? Я где-то читал про это. Точно.

— Я это сам вывел, — твёрдо сказал Радькин и спрятал в карманы дрожащие руки.

— А-а, сам, — Салов отмахнулся, потускнев сразу лицом. — Я думал, читал где-то. — Он поплевал на окурочек, кинул его в урну и поплёлся на своё рабочее место.

В дальнем углу отдела, отгороженном чертёжными досками на треногах, переругивались Анна Фроловна с Анной Петровной. Шум скандала распространялся по всему большому кабинету и вносил какое-то разнообразие в обыденность рабочей атмосферы.

Тонкий, натренированный голос Фроловны был слышен сильнее:

— Я вам давала два талона на сахар!.. А вы отдаёте один на колбасу. Больно мне нужна ваша колбаса!

— А я пока на склероз не жалуюсь, как некоторые, — басовито отвечала Петровна. — Во-первых, вы давали один талон. А во-вторых, талон на колбасу ценится как два талона на сахар...

— Нет, один талон... А два талона...

Вопрос об эквивалентности талонов был сложным вопросом, и даже не участвующие в конфликте заинтересованно прислушивались: как же всё-таки решится спор. Лишь один Радькин в полной задумчивости сидел на своём месте, подперев щеку кулаком. Чем больше размышлял он о квадратности мира, тем убедительнее казалась ему эта теория. Квадрат — это циферблат жизни, это инструкция поведения, это инкубатор для человека... Теперь, для проверки теоретических умозаключений, он рассматривал свою прошедшую жизнь через призму открытых закономерностей...

В кабинет, крадучись, вошёл начальник отдела. Он, видимо, уже за дверями почувствовал сейсмические волны конфликта. При появлении начальства говорливый гул стал стихать, и только из дальнего угла ещё вылетали ругательские реплики Фроловны в адрес Петровны. Потом затихли и они. Начальник отдела прошёлся по проходу между столами, мягко ступая с пятки на носок ботинками сорок шестого размера.

— Так-так, — сказал он. — А я ломаю голову, как по справедливости разделить премию за новый проект. Сегодня уважаемая дирекция выделила нам за наш напряжённый труд значительную сумму для поощрения... — Тишина усилилась, стало слышно, как бежит вода по батареям отопления. Начальнику понравилось такое внимание и он ещё с минуты три порассуждал газетными словами о справедливом распределении благ, о нарушителях трудовой дисциплины, в общем смысле, и немного затронул международное положение. — ...И, таким образом, от нарушителей дисциплины прямой вред нашей с вами безопасности и нашего с вами материального благополучия, — мягким баритончиком произнёс начальник. — Что же мы будем разбрасываться стимулами повышения производительности труда, если вот такие люди, как Радькин, опаздывают на работу на целый час. Весь коллектив испепеляет, так сказать, в творческих муках свой интеллектуальный потенциал, а Радькин в это время гуляет по улицам, любит городским пейзажем... И теперь

вот, можете убедиться, сидит за пустым столом юношей бледным, со взором горящим...

Радькин очнулся при упоминании своей фамилии, прислушался к концовке начальнического тоста — и понял, что его кандидатура исключается из дележа премии. Сплочённый коллектив отдела единодушно одобрит мнение начальника, потому что при таком раскладе каждый получит на червонец больше. Радькин вспомнил о жене в потёртом пальто с лысым воротником — вопрос о новом пальто снимается с повестки, а также вопрос о новых сапожках и новой форме для дочери-третьеклассницы, рост которой неудержимо опережает рост семейного бюджета. «Всё верно, — хладнокровно подумал Радькин, — закон равнозначности сторон квадрата. Если уменьшается одна сторона квадрата, логично сокращаются и остальные стороны...»

Он поднялся из-за стола, кашлянул, точно собрался прочитать политинформацию, и произнёс тихим, но срывающимся голосом:

— Универсальный системный символ квадратности угнетает нашу жизнь. Какая-то глобальная человеконенавистническая организация внедрила его в наше общество, чтобы повернуть процесс развития разума в обратное направление. Мы должны осознать...

Упал треножник в углу Фроловны и Петровны, кто-то нервно засмеялся, Светочка испуганно ахнула. Начальник отдела, откинув назад голову и сложив на животе руки, посмотрел на Радькина с улыбкой и сказал:

— Радькин, ах, Радькин. Вы избрали не лучший способ оправдания. Вы бьёте на оригинальность. Но я вас раскусил, Радькин. Не морочьте голову мне и коллективу.

4

Зазвенел звонок, по звуку которого у сотрудников управления рефлексивно выделялась слюна, бросались дела и длинные коридоры гудели под строевым шагом колонн, направляющихся в управленческую столовую. Радькин, обособленный случившимся от коллектива, вышел последним из кабинета и тоже побрёл в столовую, хотя и не испытывал чувства голода, просто следовал инстинкту многолетней привычки.

На обед давали сосиски, поэтому уровень шума в этот день был на несколько децибелл выше обычного. «Не больше двух в одну тарелку, а то всем не хватит!» — кричали задние. «А если человек не ел вчерашнего вечера по уважительной причине?!» — громко возражали передистоящие. «Чтоб ты подавился!..» — «...Ну и заткнись, если ты с прошлого года закормленный!..»

Радькин болезненно простонал. Пульсирующее колебание ажиотажно настроенной очереди давило его, плющило, засасывало в себя, будто медузоподобный организм, переваривающий добычу. «Люди,

люди, — хотелось закричать Радькину, — мы одинаково убоги и зависимы, мы все — пленники квадратной жизни, даже те, у кого большой оклад и персональная машина. Выслушайте меня и я объясню вам главную причину, мы вместе найдём выход. Не в сосисках цель нашей жизни...»

Поручень турникета у раздаточной стойки вдавился Радькину под ребро, его замутило от смешанного запаха нафталиновых костюмов, дамских духов, табачного перегара, сырой штукатурки и подгорелого молока.

— Мне не надо сосисок, — замотав головой, сказал он распаренной поварихе, с носиком — маленькой картофелинкой. — Дайте что-нибудь, котлету, что ли...

— На-а, бери, — рыкнула та и швырнула на прилавок одну из трёх зажатых в пятерне тарелок с порцией сосисок и вермишели. — Буду я тут ради тебя одного бегать. Всем, значит, давай сосиски — а он один, псих, нашёлся... Двигай дальше.

У Радькина сдавило в висках и весь белый свет, как в уменьшаемой диафрагме, сошёл на потном лице поварихи с носиком-картофелиной. Он не осознавал, что он хочет сделать, ему просто до смерти захотелось, чтобы светло-коричневые глазки этой женщины сменили своё нагло-уверенное, презрительно-смелое выражение. Пусть эти глазки испугаются, заплачут, удивятся... Что угодно, лишь бы изменились. Держа в фокусе лицо поварихи, он медленно отвёл назад руку, собираясь как можно сильнее трахнуть кулаком по раздаточному прилавку, по расставленным на нём тарелкам с кислой капустой, селёдочными кусками и яичными половинками.

В очереди зашумели: «Давай-давай проходи», на Радькина надали и пропихнули его дальше по проходу.

— Что у вас? — спросила девушка на кассе.

Радькин посмотрел на неё, не понимая, куда делся носик картофелинкой, потом сказал сдавленным голосом: «Три компота», и, не глядя, взял с подноса в пригоршню три стакана.

В отделе было пусто и пахло солёными огурцами. В своём скромном углу сидела Анна Петровна и с аппетитом уминала картошку в мундире со всяческими домашними соленьями.

— Что, Арсюш, уже пообедал? — спросила она с набитым ртом.

Радькин ничего не ответил. С лицом безвыразительным, как оплывшая свечка, стоял у окна и смотрел на улицу.

— Ты чего такое говорил о вражеской организации? Это про кого, про баптистов каких, что ли? Пошутил или в самом деле такие страсти творятся?

— Ням-ням-ням, — повернув голову к Анне Петровне, с серьёзным видом проговорил Радькин.

Замерев с поднесённой ко рту половинкой огурца, Анна Петровна обиженно захлопала глазами.

— Арсю-юша, ба-а... Уж от тебя я не ожидала такого хамства... Из-за премии расстроился, да? Я понимаю и сочувствую тебе. Но кто же виноват...

— Кто виноват, кто виноват, — с гримасой на бледном лице повторил Радькин. Он отвернулся от окна, сжал кулаки и, как преследуемый и загнанный в угол, забегал глазами по сторонам, словно отыскивая выход. — Давитесь тут сосисками... Все вы тут, как свиньи у корыта с хлебом. Голову поднять не хотите от своего корыта... Вам помогай, объясняй, глаза раскрывай, чтобы вы поняли, что вокруг вас... Нет! — вдруг визгливо крикнул Радькин и затопал ногами, точно избалованный карапуз. — Нет! Вам... без вас... сам... Я один убегу из квадратного мира, а вы задыхайтесь дальше в квадратной душегубке. Вы ничего не хотите знать, вы не хотите света, чтобы увидеть, как пошла и убога ваша жизнь. Вам лучше темнота, потому что не заметно грязи и вот этих всех... пыльных декораций, и кажется, что всё нормально, всё так, как и должно быть, иной жизни нет и быть не может. Чёрт с вами...

У Анны Петровны выпал из рук огурец, отвисла челюсть. Она хотела что-то сказать, но поперхнулась недожёванным куском, закашлялась до слёз.

Радькин подбежал к двери, дёрнул её на себя — дверь не поддавалась. Радькин, по-дикому ощерив зубы, отскочил назад, с разбегу ударил ногой в дверную половинку; та распахнулась, и Радькин, взмахнув, как крыльями, фалдами пиджака, выскочил наружу.

Непонятно откуда взявшейся энергией, как-то по-аварийному взбурлившейся в груди, точно вырвавшейся из пробойины, Радькина занесло аж на шестой, последний этаж управления. На площадке у пожарной лестницы он остановился, запаренно дыша, и задумался, куда ж это он так торопится. Может быть, не возникни у него перед глазами красная, сваренная из арматурных прутьев, уходящая на крышу здания лестница, он, немного передохнув, повернул бы обратно. Но извилистым путём, порождающим действие из туманных ассоциаций, пожарная лестница превратилась вдруг для Радькина в таинственную дверь в стене, в дорогу, в манящее неизвестное, в пожарный выход, когда все остальные ходы заблокированы. Он положил руку на ступеньку лестницы, с секунду постоял в нерешительности. Затем, цепко перехватывая пальцами круглые прутья, полез вверх.

Последний пролёт лестницы пошёл по внешней стороне здания. Облизанные зимним ветром ступеньки выскальзывали из-под подошв и жгли ладони морозным железом. По спине Радькина ледяными муравьишками пробежал щекочущий страх, однако, несмотря

на всё это, ему больше хотелось дальше наверх, чем обратно вниз, словно там — наверху, на самой крыше, сидит какой-нибудь буддистский монах и тем, кто до него добрался, даёт мудрый ответ на любой вопрос.

Супрямым пыхтением Радькин переполз на животе через парапет ограждения и обессиленно свалился на жёсткий, пропитанный сажей снег. Утирая рукавом струящийся по лицу пот, он почувствовал себя счастливым, как бывает счастлив человек, вложивший все силы в достижение своей цели и достигший этой цели. До чего же прост, оказывается, рецепт счастья: делай то, что тебе нравится, и добивайся того, что тебе хочется. Втыкая коленки в жёсткий наст, Радькин добрался до конька крыши и уселся на него верхом.

Внизу, в сизых сумерках февральского вечера, меж выставленных в линию домов-коробков бегали, с тоненьким перезвоном, оранжевые трамваи-гусеницы, суелливыми кучками шныряли туда-сюда машины и, медленно шевелясь, ползла по тротуарам слипшаяся масса людей. Радькин сидел, скрестив на груди руки, и смотрел куда-то на линию горизонта. Пахнувший заводскими дымами ветер шевелил его волосы и он тихо выговаривал обрывки своих мыслей:

— Квадратность губит непокорство... Одинаковость — разнообразие. Взаимно уничтожающие силы. В этом корень... Надо ломать одинаковые стороны... Вот именно, ломать противоположностью...

Сумерки быстро густели, зажигались созвездия городских огней. Радькин мыслил. Его волосы уже встопорщились ледяными колючками, губы приобрели синюшный цвет и тряслись, как кусочки желе на блюде. Радькин чувствовал близость открытия, близость границы квадратного мира, из которого он вот-вот вырвется. Быть может, осталось сидеть до этого всего один шаг.

5

— Вы слышали: Радькин наш с ума сошёл? — обращалась ко всем проходящим в отдел Светочка. — Ну, вот так. Премию ему не дали — у него мозги и набекрень... Сошёл с ума и куда-то убежал. Вот уж полдня нету.

Дальнейшие подробности объясняла Анна Петровна, повторяя, наверное, в двадцатый раз произошедшую на её глазах картину умопомрачения Радькина:

— ...А он как зарычит. Зубы оскалил, вдарил в дверь головой — и убежал...

— А я это у него первым заметил, — добавлял Салов. — Ещё утром он мне что-то такое объяснял — ни одного слова не понял. Ну, думаю, замкнуло схему у кореша. Я сразу догадался.

За столом пропавшего Радькина сидел начальник отдела и растерянно листал листочки настольного календаря. Он не пресекал

общего возбуждения; иногда, когда удавалось вставить слово, высказывал, почему-то робким голосом, свои предположения:

— Ну, если коллектив так решил — значит нужно признать свои ошибки, покаяться, пообещать что-нибудь... Зачем же так? Странная, однако, форма протеста. Можно же было найти компромисс, в конце концов... Эх, Радькин, Радькин.

— А он как закричит: «Дай сосиску!». Ну, думаю, сейчас он мне в горло вцепится. А где же я ему сосиску возьму? — жаловалась Анна Петровна Анне Фроловне.

Та в ответ ахала и сочувственно вздыхала:

— И ведь ничего ему не будет: дураков не судят.

— Ещё когда он мне стал говорить, что земной шар квадратной формы, я сразу всё понял. Просто молчал, что я буду лезть в чужую душу...

Прозвенел звонок, извещающий о конце рабочего дня. Взбудораженные эмоции отдельных подчинились многолетнему рефлексу. С чувством душевного неуютства они потянулись к вешалке, быстро расхватили пальто и шубы, лишь чёрного драпа демисезонное пальто Радькина осталось одиноко висеть на обмахрившейся пуговичной петельке. Людская река вытекла из огромных стеклянных дверей управления. Никто даже не посмотрел вверх, на крышу. Не было у них такой привычки — задирать голову в небо. Погасли окна, ночной вахтёр закрыл на засов стеклянные двери.

По пути

По заранее намеченному плану, для пущего куража, требовалось подкатить на машине к самой калитке, давануть сигнал, потом медленно вылезти из машины, снять шляпу и усталым, но радостным взглядом окинуть родимый дом. А уж после этого вздохнуть глубоко, всей грудью. Саша Мутовкин видел подобное в каком-то кино, где главный герой, ставший каким-то важным человеком — разведчиком, министром или артистом — после долгой отлучки приезжает в свою деревню навестить сородичей.

Однако водитель «Волги», подрядившийся за сотню от аэропорта до Сосновки, жадюга брюхатый, довёз до съезда с шоссе на просёлочную дорогу и дальше заупрямился: собьёт, мол, на просёлке амортизаторы, плати потом за них базарную цену. Заглушил двигатель у столба с указателем «с. Сосновка», прикрыл глаза кепочкой и ждёт, что ему предложат.

— Есть вопросы — нет вопросов. — Мутовкин полез во внутренний карман, выложил на панель ещё одну красненькую купюру. Скомандовал: — Лево руля, полный вперёд!

Машина нырнула с насыпи шоссе на пыльный ухабистый просёлок, окаймлённый по обочинам ярко-синими васильками. «Небось, считает, раз с Севера, значит, денег — хоть селёдку в них заворачивай. Хмырь... Будто на Севере деньги с неба падают, — подумал о водителе Мутовкин и оглянулся на жену, сидящую на заднем сиденье с двумя сыновьями. — Опять разворочится, скажет, брехать меньше надо с каждым встречным-поперечным... Так-то так. Но не тащиться же пешкодралом полтора километра в пыли, с детишками, с чемоданами и в галстук...»

— А ну-ка, нажми клаксон, — попросил Мутовкин, когда, в точности с замыслом, легковушка затормозила у калитки рубленого дома с зелёными наличниками.

Понимая момент, частник три раза бесплатно просигналил. Из дома никто не показывался. Старший сын в нетерпении приоткрыл дверку, собираясь выбраться наружу. Мутовкин-старший расстроено посмотрел по сторонам: соседние дворы, как назло, тоже были безлюдны. И он, со шляпой в руках, вылез из кабины.

— Чемоданы бери! Чего стоишь, вздыхаешь, как та рыба! — крикнула жена.

Машина, так и оставшись незамеченной, отъехала. Мутовкин подёргал знакомую с детства калитку, откинул щеколду и внёс в палисадник чемоданы. Из глубины двора, вытирая о передник руки, вышла пожилая женщина с загорелым до кирпичной красноты лицом. Шуря глаза, стала всматриваться в гостей.

— Есть дома кто?.. — хотел строго спросить Мутовкин, но сбился с тона, широко разулыбался. Оставил чемодан и пошёл навстречу.

— Ой, глянь, ты! Шурик! — женщина всплеснула руками и, обхватив подошедшего Мутовкина за шею, принялась его расцеловывать. Отпустила главу семьи, переключилась на его сыновей, особенно младшего, четырёхлетнего Максимку. — Ой, ты! Внучонки-то, внучонки-то — мужичонки... Господи, хоть руками вас пощупать. А то всё фотографии... Бабка-то вас живём первый раз и видит-то, миленькие... Отец ваш беспутный...

Последней она обняла и дважды расцеловала жену Мутовкина, приговаривая: «Совсем не изменилась, такая же красавица».

— Тётъ Шур, где Сашка с Шуркой? — спросил глава семьи продолжавшую причитать и всхлипывать женщину.

— Я те вот дам «тётъ Шур». Матерью зови, гулящий корень... Или что — не заслужила?.. А Шурка с нами не живёт уже. Замуж вышла за одного приезжего паренька. Они в новых домах живут, своей квартирой. Дитё себе уже замесили... А Сашка на механике на своей. Где ж ему быть...

По материнской линии шёл Мутовкин от фамилии Бондаревых, по-уличному прозванных Сашкиными. Какой-то далёкий предок так повелел, или ещё по какой причине, но в каждом поколении Бондаревых, а также и в женских ответвлениях этой фамилии, существовала постоянная традиция крестить детей независимо от их пола Александрами. Мать Александра Мутовкина и её младшая сестра, теперешняя тётя Шура, этой вековой привычке не изменили. Чтобы не было путаниц в повседневном обращении, на каждого Александра заводилась своя интерпретация официального имени: Санька, Шура, Шурик, Алик и тому подобное.

С десяти лет, после смерти матери, рос Шурик Мутовкин в семье тётки с её детьми Шуркой и Сашкой. Отец его в то время ездил по зиме на лесозаготовки в далёкие места. Раз съездил, два съездил, а на третий — в Сосновку не вернулся. От сына не отказывался: деньги слал, костюмчики, ботинки ко дню рождения. Но по достижении сыном шестнадцати лет пропал неизвестно куда. Может быть, и живёт где по сей день в полном здравии, однако вестей о нём никаких не было, и как-то так привыкли считать, что отец Шурика умер в дальней стороне.

Таким образом получилось, что в шестнадцать лет Шурик, по семейному положению, являлся круглым сиротой. По доброте своей и по обещанию покойной сестре тётя Шура считала за тяжкий грех не то чтобы делом — в мыслях отделить своих детей от сиротки-племянника, ущемить, обделить его лаской или подарком. Тот кусок, который на троё не делился, шёл целиком Шурику; если глаза у Шурика на мокром месте, тётка ночь не спит и племяннику покоя не даёт, допытываясь до причины обиды. Кровные её Сашка и Шурка были на два-три года младше племянника, но послабления за малолетство не имели; сами они никаких привилегий себе не требовали, да даже и представить не могли, что может быть иначе.

В сознательном возрасте авторитет старшего брата сделался для них непререкаемым, иногда приводившим к результатам, именуемым плачевными. И всё благодаря непоседливому характеру Шурика или, как объясняла тётя Шура, — «мутовкинской породе». С одной стороны отношение к Шурику как к старшему брату, с другой — предавшееся с детства чувство жалости определили его место в семье тёти Шуры: одновременно место первенца и последыша. А кроме того, поскольку Шурик с семнадцати лет в родном доме почти не живёт, мыкается куда попало по свету, ему принадлежала, вдобавок, и та доля любви, что предназначается непутёвым детям.

«...Вторая курица за меня с жизнью рассталась... Ого, третья, — слушая доносившееся со двора куриное паническое кудахтанье, думал Мутовкин. — Компания, значит, солидная собирается». Встав с горячей перины, он вышел из спальни в большую комнату. Увидел висевшие на спинке стула брюки, поискал носки. Не нашёл и вернулся обратно в спальню. Уставшие от дороги жена и детишки не думали просыпаться, разметавшись по постели, сладко посапывали. Носков не было и в спальне. Мутовкин заметил, что нет и одежонки сыновей, догадался: «Тётя Шура уже постирала. Будто им больше и надеть нечего». Он прошлёпал босиком в кухню.

Хлопнула входная дверь в сенях. Кто-то, крадучись, тихими шагами подошёл к порогу кухни и притаился за полотняными занавесками. Мутовкин только собрался заглянуть, кто там, как на него с радостными воплями выскочил пахнущий соляжкой, чумазый, с выгоревшим светлым чубом, костлявый парень в лоснящемся комбинезоне.

— Ого! Братан, — парень обхватил Мутовкина, уцепился за его брючный ремень и попытался приподнять.

— Сашка! — тоже обрадованно закричал Мутовкин, потом захохот от крепких объятий и стал освобождаться. — Легче, легче... ох ты, жлоб... Пусти, да пусти ты, в конце концов, ремень порвёшь... Пусти по-хорошему, видишь, испачкал вон всего, — Мутовкин показал ослабившему свои объятья брату грязные мазки на животе и руках.

— А, сдал? — неудержимо растягивая в улыбке губы, спросил Сашка и попытался ладонью стереть с живота Мутовкина масляно-грязное пятно. — Когда-то ты меня осиливал. А теперь вот попробуй...

— Я тебе так попробую... Чего выскочил, как угорелый... Иди, отмойся сначала, потом я тебя...

— Куда ты ворвался! Что ты людям с дороги отдохнуть не дал! — закричала со двора тётя Шура. — Бестолочь чумазая, а ну, выдь отсюда!..

Братья вышли во двор и у стоявшего под яблоней умывальника Мутовкин принялся отмываться. Сашка, намылив губку, оттирал ею испачканные места на животе брата. Зачерпывая ведром из бочки дождевую воду, облил склонившегося к корням яблони Шурика. Тётя Шура принесла новое полотенце, сама обтёрла племянника, а Сашку прогнала переодеваться и бежать с приглашениями по деревне.

От крутившихся на проигрывателе пластинок, празднично раздвинутого и накрытого белой скатертью стола, от всеобщего внимания собирающихся гостей Мутовкин чувствовал себя, будто на собственной свадьбе.

Мужская часть гостей, поздоровавшись с семейством Шурика, наделив его сыновей шоколадками и пряниками, выходила на веранду «покурить пока». В густевших сумерках свиристели цикады, мигали огоньки светлячков, за садом на пруду недружным коллективом вопили лягушки. С каждым вновь подходившим гостем разговор начинался по-новому: с вопроса «Ну, как?».

— Да, вот, — отвечал Мутовкин, — решил навестить родину. Взял на шесть месяцев отпуск... Первым делом, конечно, в родные места, потом к морю махнём. А после — куда захочешь.

— Вот это отпуск! — восхищался кто-нибудь из подошедших. — Полгода. Это же работать отвыкнешь — полгода ничего не делать.

— Да, — кивал Мутовкин, — красота. Как какой-нибудь лорд...

— Эй, лорд! — позвала Шурика жена. — А ну, иди сюда. — Он, загасив сигарету, прошёл в кухню, где женщины нарезали, солили, крошили, посыпали укропом всякую снедь на закуску. — На, оденься по-человечески, — жена кинула Мутовкину свёрнутые клубком носки. — Галстук нацепил, а босиком... Лорд.

— На Севере у нас самогон не пьют, — снимая галстук после второй рюмки, сказал Мутовкин. — Там или спирт, или коньяк... Тут мы вот сидим, по рюмочке цедим. А там стаканягу спирта — хлоп, снегом закусил — и в норму.

— Поди хмелеешь быстро с такой-то дозы? — удивительно спросил крёстный Шурика, дядя Степан.

— Кто, я?!

— Не-е, все ваши там, — пояснил крёстный. — Без закуски-то оно, наверное, по мозгам шибко бьёт?

— Десять минут на морозе — и ни в одном глазу...

— Во, братан! — Сашка восхищённо показал головой и подтолкнул локтем мужа сестры, сидевшего рядом за столом. — Это тебе не на гармошке в клубе с девками песни разучивать. Герой у меня братишка...

— Ты ешь хоть тут, Шурик, — посоветовала тётя Шура на пути с кухни. — Пьёшь наравне со всеми — все за закуску, а ты за болтовню.

— Мать, для моряков это пыль, — хорохорился на общем внимании Шурик.

Женщины по группкам в разных концах стола затянули песни. Поначалу каждая группа сама по себе, затем набрали на общелюбимую песню и соединились в хор. Голосили с залихватской удалью, до испарины на висках, любуясь собственной причастностью к раскрывающейся в песне красоте. Мужчины, ещё не дошедшие до соловьиной стадии, помалкивали. Пока лишь один сестрин муж, цыганистый парень лет двадцати пяти, присоединился к женщинам высоким, хорошо поставленным голосом.

Мутовкин на почётном месте, в дальнем конце стола, с сияющим благодушием на лице размахивал в такт мелодии вилкой. В необходимых, по его мнению, местах, где требовалось взять голоса выше или ниже, дирижёрскими жестами левой руки пытался направить хор в нужном направлении.

— Вот, дядя Степан, — наклонился он к сидящему справа крёстному, — слух есть, а с голосом никак жизнь не удалась. Страдаю я за это очень.

Шурка, самая трезвая из гостей по причине нахождения в положении, подошла сзади к брату, облокотилась ему на плечо. Протянула руку, достала из миски на столе обжаренную петушиную ногу и подсунула её брату под нос.

— Съешь, Шурик. Ну, съешь, я тебя прошу. За меня... — ласково попросила она, другой рукой поправляя воротник на его рубашке.

Мутовкин положил вилку и взял петушиную ногу. Посмотрел в свою рюмку и предложил:

— Предлагаю, товарищи, выпить за мою любимую сестру Шуру!

Его услышали лишь сидевшие рядом и с готовностью потянулись чокаться. Остальные гости не расслышали в шумной многоголосице виновника торжества, продолжали кто петь, кто закусывать, кто — спорить о международном положении.

Шурик задумчиво пожевал петушатику и скомандовал крёстному:

— Наливай, — потом, с рюмкой в руках, поднялся и, откашлявшись, с суровой торжественностью громко сказал: — Товарищи! Предлагаю выпить за героев Севера!..

— Весь вечер за них и пьём. Проснулся... — засмеялась его жена. — Садись уж, клоун.

Гости, было затихшие, опять отвлеклись. Вставший вместе с братом Сашка и крёстный, со своего стула, потянулись к рюмке Мutowкина чокаться.

— Погодь, погодь... — Мutowкин повыше поднял свою рюмку. — Я вам тут говорил... Оно всё, конечно так, да не так всё просто и легко, как я вам рассказывал. Я так рассказывал... потому что... потому что так надо в этих целях... Ну, для притока рабочей силы в необжитые края нашей страны. На самом деле, ребята, деньги нигде зря не платят. На самом деле мужественные покорители Крайнего Севера каждый день, каждый час ведут героическую борьбу с суровыми природными условиями... Во имя всеобщего процветания и счастья всех людей!..

— Ура! — закричал крёстный, доведённый красивыми фразами до восторженного состояния, и, дотянувшись наконец-то до рюмки Шурика, чокнулся.

Кто-то из гостей тоже крикнул «Ура!». Выпили — и жизнь за столом пошла своим ходом. Мutowкин понял, что внимания коллектива ему больше не удержать, стоя опрокинул рюмку и сел.

— Я, Шурик, догадывался, что не всё там у вас прекрасно, как ты расписывал, — шёпотом посочувствовал Сашка. — Понятно. Приезжал бы ты домой, братан, жили бы вместе. А не хочешь вместе, дом бы тебе отгрохали свой, кирпичный, а? С садиком бы?..

— В том-то и дело, Санёк, что я, если б не эти трудности, возможно, и уехал бы с Севера. Но если там трудности, то я просто так не уеду... Ещё годика два-три, а потом вернусь, может.

— Четыре года, братишка, ты нас не видел... Раньше с города хоть заезжал временами, или мы к тебе иногда заскакивали. Четыре года — и опять уезжаешь на три года. Так ведь, считай, вся жизнь врозь и пройдёт... Понимаешь, Шурик, скучаем мы по тебе. Возвращайся, а?

Растроганный словами брата, Мutowкин почувствовал нарастающий в горле плаксивый комок. Поскрёб ногтем пятно на скатерти и сказал:

— А хошь, Санёк, я тебе машину куплю?

— Зачем? — спросил все так же шепотом Сашка.

— Ну, как, зачем, кататься будешь...

— Покататься я в любой момент смогу. Главный механик по ремонту машинно-тракторного парка, всё-таки. Хочешь — на самосвале, хочешь — на комбайне иль тракторе катайся... Приезжай домой, братишка, — Сашка заглянул просительно снизу вверх в глаза брата и положил свою ладонь на его запястье.

К Мutowкину, таща за собой табуретку, пробрался Пётр Александрович Бондарев, тоже из рода Сашкиных, работающий учителем истории в Сосновской школе.

— Расскажи-ка, Шурик, поподробнее, — попросил он, присаживаясь на принесённую табуретку.

— Про что, дядь Петь? — меланхолично спросил Мутовкин.

— Ну, про это, о чём говорил... Как там у вас на краю земли люди обитают.

— Обыкновенно обитают. Как здесь, так и там: работают, в кино ходят, в бане моются, детей рожают...

— Не-е, — поморщился Бондарев, — о трудностях. Какая там борьба с ними идёт. Вообще, что там у вас не как у нас?

— А-а, — оживился Мутовкин, — у нас там всё по-другому. На крыльчке просто так не посидишь — комары до костей зажрать могут. Комарья тьма. Накидываешь, обычно, накомарник из тонкой сетки и идёшь гулять по посёлку. Все в этих накомарниках, так что и не разглядишь, с кем уже здоровался, а с кем — нет. Зимой наоборот: мороз ка-а-ак даванёт, «активированные дни» называются — из дома носа не высунешь, на работу даже не пускают... Железо — и то не выдерживает. Полста градусов для нас ещё терпимо, но металл уже не выдерживает... Раз на своём бульдозере что-то делал, хрясь — и нож пополам, будто кто молотом саданул. Звук такой: дзи-инь... Из-за большого напряжения металла. Вот так. А люди — любое напряжение выдерживают. Мы вот на прииске золото добываем... везде там в земле золото: по золоту ходишь, по золоту едешь... Без брехни. Мы к этому привыкли — и хоть бы что. Иногда на полигоне зимой костерок разожжёшь, камешками его обложишь... глядишь: одна из них вроде обтаивать начала, жёлтым заблестела. И с камешки кап-кап... золото...

— Иди ты, — не поверил Пётр Александрович. — Болтаешь, как бывало мальчишкой.

— Что мне болтать. Такое, конечно, редкость, но случается, — спокойно оправдался Мутовкин.

— И куда вы это золото деваете? — спросил кто-то.

— Если кусок стоящий, сдаём его в золотоприёмную кассу. Тебе денежную премию выдают как за найденный клад. Я с дружкой раз булыжник в полкило весом нашёл. Отдали его. Нам сто тысяч рублей заплатили... Ничего особенного.

— Я в газете читал, что у вас там мамонты встречаются, — спросил цыганистый муж Шурики.

— Чего нет — того нет. Врать не буду. Вымерзли там все мамонты миллион лет назад.

— Да я не о живых, — пояснил шурик, — в земле, слышал, их остатки находят.

— А-а, — согласился Мутовкин. — Дохлых-то мамонтов там полно. Это точно... Пошли-ка, мужики, на веранду, покурим, — предложил он, заметив направляющуюся к ним свою супругу.

— Вот медведей живых у нас действительно много, — продолжал Шурик, когда его слушатели расселись по ступенькам крыльца. — Летом как-то работал я на дальнем участке и заметил, что в кустарнике неподалёку медвежья лёжка. Совсем свежая. Такой медведь, видно, чудной, что шума двигателей не боялся. На другую смену захватил я с собой ружьё. Подъехал, остановил двигатель на малых оборотах — и осторожненько, с оглядкой, пошёл к тому месту. Лёжка, значит, пустая, следов вокруг полно, а самого его не видать. Минут десять с ружьём побродил — тут слышу, вроде бы мой бульдозер загудел как-то с натугой. Удивился, понять не могу: кому он понадобился... Возвращаюсь назад, гляжу: а бульдозер мой на одном фрикционе крутится кругами, точно фигуристка какая... Подошёл поближе — в кабине мишка сидит... Ну, не сидит, туда-сюда ворочается, ищет, в какую сторону сигануть...

— Белый? — спросил дядя Степан.

— Чего?

— Белый-то медведь?

— С чего ему белым быть? Обыкновенный бурый мишка.

— Ага, — успокоился крёстный.

Мутовкин продолжал:

— Бабахнул я из ружья в воздух. Медведь от этого, видать, наконец решился. Выпрыгнул из кабины и в тайгу. Аж лапы по-заячьи подкидывал. Покататься, вишь ты, захотел, момент караулил. Тоже мне — сменщик нашёлся.

— У меня в войну тоже бурый медведь лошадь с санями угнал, — между прочим сообщил крёстный.

Из комнаты позвали всех к столу. Шурик придержал брата, предложил ещё посидеть на воздухе.

— После коньяка никак в меня самогон не лезет, — пожаловался он.

— Ну, так я завтра тебе коньяка куплю. У нас в магазинчике имеется.

— Ты что, сдурел? Ты мне будешь покупать... Я сам тебе что угодно куплю. Я тыщ сорок в месяц чистыми имею. Ты, Санек, прямо обижаешь, обижаешь...

— Что, вправду сорок тысяч? — удивился Сашка и беззвучно зашевелил губами. — Это в четыре с половиной раза больше, чем я?

— А ты что — министр?

— Министр не министр... а главный механик ремонтной службы. По счёту — шестое лицо в колхозе. А ты — просто машинист бульдозера.

— Не просто, — обидчиво возразил Мутовкин, — а в северном исполнении... Мне начхать на должность. Сколько хочу, столько и заработаю. Мне сколько раз предлагали бригадиром стать...

— Кому это тут предлагали бригадиром? — спросила вышедшая на веранду жена Шурика. — Пошлите к столу.

Сашка засмеялся:

— Супруг твой, Лен, обижается, что мало получает. Видишь ли, по сорок тысяч в месяц ему мало. А я... — Сашка заткнулся от толчка в бок и вопросительно посмотрел на брата.

— Ему-то мало? Он эти деньги в глаза когда видел-то, сорок тысяч в месяц, — покачав головой, жена Мутовкина ушла.

Шурик укоризненно, тихим голосом сказал:

— Эх, Сашок, чуть под трибунал меня не подвёл. Надо же так проболтаться! Эх, ты!

Сашка захлопал глазами, виновато пригладил чубчик и спросил с открытой простотой:

— А чо?

— Чо-чо... Я ей этих денег никогда и не приносил. Она о моём заработке и не знает. Я ей половину отдаю, а на остальные — у меня в другом посёлке баба живёт.

— Какая? — опять не понял Сашка.

— Красивая. Я ей деньги отвожу и раза два-три в месяц в гости навещаюсь. На эти деньги имею все сто восемь удовольствий...

Сашка присел на ступеньку повыше, рядом с братом. Из окна дома вырывалась мощно исполняемая дружным хором грустная песня о бродяге.

— Знаешь, Шурик, всё-таки надо тебе в Сосновку возвращаться. На кой леший тебе эта баба... Будем на рыбалку на Монастырские озёра ездить...

Утром Мутовкин, ещё не проснувшись полностью, ещё не открывавая глаз, почувствовал, какая тяжёлая у него голова. Такая тяжёлая, что, наверное, и встать невозможно с постели: шея просто не удержит этой чугунной болванки.

В доме — тишина. От вчерашнего застолья не осталось и следа. Всё было чисто, расставлено по своим местам. Во дворе тётя Шура замешивала поросётам приторно пахнущее варево. Вокруг неё шмыгали куры, нагло запрыгивая в бадейку с поросёчьим обедом.

— Ма, дай чего-нибудь кисленького, — не подходя близко к бадейке, попросил Мутовкин безжизненным голосом.

Тётя Шура отогнала курей, отряхнула руки, вытерла их о передник и повела племянника в летнюю пристройку. В летнике, как и раньше, в детские годы, пахло укропом, сухими травами, подгнившими яблоками.

— Где все орёлики? — спросил Шурик, утолив жажду, но не выпусткая из рук ковшика с квасом.

— Лена с ребятишками на пруд пошла. Сашка на работе. Я, вишь, тут кручусь... Вот и все орёлики. Может, опохмелиться хочешь? — со-страдательно поглядела на племянника тётя Шура.

— А чего?

— Нашего, домашнего...

— Не-е, — категорически отказался Мutowкин. Вспомнил самогонный запах, сморщил нос и опять приложился к ковшику.

— Нагородил ты вчера... Нагородил-то. Семь вёрст до небес и всё лесом, — тётя Шура закачала головой.

— Да наврал я всё, — не спрашивая, что именно он нагородил, угрюмо ответил Шурик.

— Я уж так и поняла. А то и — дом он себе в центре Сосновки каменный, двухэтажный поставит... Приезжал бы да жил. Вон тебе дом, и хозяйство есть, и всё другое имущество... Чего ещё? На вас с Сашкой дом остался, места хватит, чай, обоим. С Сашкой вы дружите... мало дома — ещё пристройку подведёте. Чем не жизнь? Чего и тебе маяться, людям пыль в глаза пущать?

Мutowкин вернулся в дом, нашёл в чемоданах свою любимую сорочку розового цвета. Умылся, побрился и вышел на крыльцо.

— Ма, а Сашка в какой стороне работает?

Тётя Шура объяснила, где находится «Сашкина механика», и Шурик вышел за калитку, постанывая от отдававшихся в больной голове шагов. В деревне, изменившейся за те четыре года, которые он безвыездно провёл на своём приiske, теперь располагалась центральная усадьба. На улицах прибавилось много новых домов: казённых и личных. Пыль густо покрывала растущую под заборами траву. В пыли копошились ленивые куры, находя подходящее местечко, растопырив крылья, укладывались в тёплую ямку, блаженно затыгивая глаза похожими на бельмо веками. По теневой стороне проулка, направляясь к пруду, прошёл строй гусей. Со дворов бляла, чавкала, лаяла, кудахтала разнородная живность. Слышались детские голоса.

Прохожие попадались редко, да и то всё незнакомые. На брёвнах у ворот крайнего дома, возле переулка, Мutowкин заметил одиноко сидящего старичка. Поравнявшись с ним, узнал школьного сторожа, работавшего когда-то в Сосновской семилетке. Дед был инвалидом, без одной ноги. По ночам сторожил, днём был за воспитателя: давал звонки на уроки, следил за дисциплиной, пугая костылём озорующую публику. Под костыль частенько попадал и сам Мutowкин.

— Здорово, дедушка!

Старик поднял на Шурика глаза, осмотрел его и добро прошамкал:

— Шдорово, шдорово... Штой-то не пришнаю — штей будешь-то?..

Мutowкин назвалсЯ полностью: по фамилии, имени, отчеству — но деду они ничего не напомнили.

— Племянник я тёти Шуры Бондаревой, — уточнил тогда он.

— А-а, Шурик... Шурика помню... Шрашу бы так и шказал... — Дед прислушался к чему-то внутри себя. Раскрыл широко рот, потрогал двумя пальцами жёлтый зуб, одиноко торчащий из белых бескровных дёсен, пошатал его. — В гошти, шначит? Или шовшем?

— По пути, дедушка. В Сочи вот еду, на курорт. Ну и решил поднаведаться в родные места. Всё равно по пути ведь...

— А раш так — то нехорошо.

— Почему ж это не хорошо-то? — не понял Мutowкин. — Сейчас все на курорты ездят. Чего тут плохого-то?

— Домой... по пути, эх-хе. Нехорошо так. Плохо.

«То ли я, с похмелья, никак не врублюсь, то ли дед от старости из ума выжил», — усмехнулся Мutowкин, отходя от старика.

Брата он нашёл в бывшем коровнике, переоборудованном под ремонтный цех. На старых бревенчатых стенах, с невыветрившимся запахом навоза, крепилась ажурная металлическая крыша. На залитом соляркой и маслом полу стояли два размонтированных гусеничных трактора и один, ещё нетронутый, К-700, колёса которого были облеплены влажной землёй и соломой.

Сашка, в грязном комбинезоне на голом теле, увидев Мutowкина, указал на него своим двум напарникам.

— Вон и сам, лёгок на помине.

Мutowкин с солидностью поздоровался за руку со слесарями, представил себя по имени-отчеству. Один из ремонтников, парень — по возрасту — недавний солдат, подавая руку, засмущался своих испачканных ладоней.

— Ничего-ничего, — сказал Шурик, — я — свой.

Второй ремонтник, ровесник Мutowкина, поздоровавшись, продолжал копаться в двигателе трактора. Мutowкин осторожно, чтобы не испачкаться, взобрался на гусеницу, посмотрел, что он там крутит, и посоветовал:

— Полегче надо. Не так туго. Чтобы ходила, как по-живому: туда-сюда, туда-сюда... — слесарь послушно сделал несколько обратных движений ключом, ослабляя зажимную гайку.

— Вот, теперь нормально, — удовлетворился Мutowкин.

Он спрыгнул с гусеницы, достал из своей сумки две бутылки коньяка и обратился к брату:

— Угостить товарищей надо бы, товарищ начальник. Как думаешь? Да и нам подлечиться не мешало бы. Стаканы в этом учреждении имеются?

Сашка нерешительно пригладил торчащий шалашиком чубчик и, видимо, переборов что-то внутри себя, махнул рукой.

— А, ладно! Пошли в мой кабинет.

Через час с небольшим хвостиком оба брата шли от ремонтного цеха по направлению к своему дому. Сашка, умытый и переодетый, излагал Шурику свой план увеселительного мероприятия — ночной рыбалки на далёком лесном озере. Поправивший своё здоровье старший брат одобрительно поддакивал, внося кое-какие дополнения.

По дороге со стороны поля, на гребне пылевой волны, нёсся об-

шарпанный «москвиченок», который, из-за высоко поднятых мостов, походил на голенастого задиристого лосёнка.

— Черти его несут, — помрачнев, сказал Сашка и пояснил. — Преда нашего оглашенного.

Машина председателя, поравнявшись с ними, резко тормознула, присела на передние колеса и окуталась обогнавшим его облаком пыли. Братья зажмурили глаза, крепко сжали губы. Мutowкин чихнул.

— Куда? — донеслось из пылевой завесы. — Куда, спрашиваю, ты направился, Бондарев?!

— Да на полчаса я... Брат вот приехал... с Севера... — отозвался Сашка, не открывая глаз.

Пыль улеглась. Молодой председатель в солнцезащитных очках, зеленой штормовке, приоткрыв дверцу, подозрительно смотрел на Сашку.

— Почему в чистом? — спросил он требовательно.

— Да надоело в грязном ходить, — подумав, с независимым видом ответил Сашка.

— Силосник отремонтировали?!

— Так его ж только пригнали...

— Если к завтрашнему дню силосник не будет в работе...

— Братан же приехал, — перебил Сашка председателя, — что ж, мне и нельзя чуть отлучиться?

— ...Я тебе говорю, если трактор завтра не будет в работе — будешь у меня всю жизнь в грязном ходить!.. Родственники приедут и уедут, а время займы не возьмёшь! Понял?!

Сашка замолчал. Мutowкин решил вступить за брата.

— Я, между прочим, местный, и четыре года дома не был...

— А какой тебе чёрт виноват! — председатель хлопнул дверцей, резко рванул машину.

Пылевая волна опять поднялась на дороге и погналась за голенастым «москвичонком».

— Есть вопросы — нет вопросов. Ишь ты — какой... Молодой ещё, а уже такой строгий. Может, Сашок, на него в район пожаловаться? — предложил Мutowкин. — Что он так с людьми не по-человечески обращается.

Сашка шёл молча. Пройдя несколько метров, виновато спросил:

— Может, я, и вправду, назад вернусь? Срочный ремонт, всё-таки...

— Да что ты! Я же тебе говорил: обижусь, — пригрозил Шурик.

Чтобы отвлечь Сашку от одолевших его сомнений, он обнял брата за плечи и вслух стал вспоминать, как они с ним много лет назад подсматривали за купающимися на пруду девчатами с птицефермы. Шурик тогда, выждав момент, выбежал из кустов на противоположном берегу, держа в руках извивающегося метрового ужа и крича:

«Змея! Гадюка!». Девчата с визгом выскочили голые из пруда — а тут из кустов, с их стороны, появляется Сашка с напаянной на себя бочкой, на днище которой была приделана вычищенная тыква с вырезанными в виде глаз и рта отверстиями, и внутри тыквы светился карманный фонарик. Девчонки от страха были на грани обморока. От их крика даже листья с деревьев начали сыпаться. Но Сашка в это время споткнулся, растянулся на траве, бочка с него слетела, тыква раскололась. Девчонки схватили Сашку, нарвали старой, самой стрекучей крапивы — и захлестали бы его до полусмерти, если бы Шурик не ухитрился переплыть пруд, с ужом в руках. Хлеща ужом, как кнутом, по спинам разгневанных голых птичниц, спас перепуганного братишку от расправы.

— Это я тогда эту комедию придумал, — с удовольствием вспомнил Мутовкин.

— Да, — улыбнулся Сашка. — А у меня с тех пор, как в кино баб в натуральном виде увижу, по всему телу чесотка начинается. Наверное, от радикулитов всяких на всю жизнь гарантирован.

Не доходя нескольких метров до калитки своего дома, Сашка вдруг остановился и серьёзно сказал:

— Знаешь, Шурик, ты иди, готовь снасти. Мать покажет, что где лежит, а я быстренько сейчас на работу сбегаю. Вечером вернусь — и мы сразу отправимся...

— Ну, ты даёшь! — воспротивился Мутовкин. — Ну, ты даёшь... За столько лет с тобой свиделись. А тут ты — со своей работой. Ты, что, этого хмыря в очках испугался? Тебе кто дороже?

— Ты только не обижайся, Шурик...

— Обижусь.

Сашка шутейно ткнул брата кулаком в живот и быстро зашагал в ту сторону, откуда только что пришёл.

В вечерних сумерках Мутовкина разбудили зудящие над головой комары. Заспанный, с прилипшей к щеке травинкой, он свернул расстеленное под яблоней одеяло и пошёл из сада в дом. Заметив, что светятся окна летника и оттуда доносятся голоса сыновей, повернул к летнику.

В дощатой пристройке было жарко, сладко пахло малиной. Тётя Шура и Елена разливали по банкам свежесваренное варенье, шестилетний Санька и четырёхлетний Максимка, сидя за столом, макали хлеб в блюдо с пенками. Мутовкин чертыхнулся, задев лицом о подвешенную к лампочке липкую мухоловку. Бросил на лавку одеяло, отодрал липучку и вялым голосом спросил:

— Мать, а Сашки ещё не было? — Услышав, что не было, вздохнул. — Пропала, значит, рыбалка...

— А Бог с ней, с рыбалкой. Побудь хоть маленько дома... За столь

лет навестили, да и то, всего-ничего. Два дня гостевали, — сказала с упрёком тётя Шура. — Ужель правда — завтра уезжаете?

— Кто сказал? — спросил Мutowкин. Тётя Шура кивнула на Елену. — Разве завтра? — Он перевёл взгляд на жену. — Я думал, мы здесь ещё три дня пробудем.

— Он думал... Ох, господи, билеты глянь... Не знаю, о чём ты думал. Сам билеты отмечал же...

— Не, значит завтра... А-а, не грусти, мам, скоро насовсем приедем... Ещё года два-три...

— На обратном пути не заедете, что ли?

— На обратном? — Шурик почесал искусанную комарами щёку. — На обратном, понимаешь, мамань, наверное, не получится... После Сочи мы в санаторий этот самый... грязевый. По бесплатной путёвке. Потом к Ленкиным родным, потом в столицу заскочим, а оттуда уже напрямик к себе... Такой вот маршрут...

Утром, после завтрака, тётя Шура с Еленой ушли укладывать чемоданы, одевать в дорогу Саньку и Максимку. Мutowкин, оставшись один на кухне, неторопливо выскребал со сковородки остатки яичницы с салом и прихлёбывал из большой кружки чай. Из большой комнаты донеслись голоса сопровождающих лиц — крёстного и Шуркиного мужа. Крёстный напевал приблизительную мелодию той или иной своей любимой песни, а шурик подбирал эту песню на баяне.

— Эй, встречай, с победой поздравляй, чарочку хмельного полнее наливай, — чуть-чуть не в лад затянул дядя Степан.

Ожидали Сашку и попутную машину до аэропорта.

Через окно кухни Шурик увидел входящего во двор брата. Сашкино лицо от усталости и бессонной ночи было таким, точно он вот-вот заплачет. «Ишь, деятель, — подумал Мutowкин, — обещал к вечеру и только утром появился».

— Ну, как там? Нормалёк? — с чувством ответственности спросил он вошедшего на кухню Сашку. — Что там хоть с этой телегой было?

Сашка, часто моргая, в свою очередь спросил:

— Это ты, значит, специально уезжаешь? Из-за меня? Обиделся?

— Ничего я не обиделся. Билеты просто у нас на самолёт на сегодняшнее число... Я и сам не знал даже.

Пригладив чубчик, Сашка посмотрел на часы и подошёл к кухонному шкафику. Достал графин из толстого стекла, какие обычно ставят на собраниях на стол президиума.

— Автобус через двадцать минут подъедет. Еле успел, — сказал он, разливая из графина самогонку. Налил Мutowкину в его кружку с остатками чая и себе — половину стакана. — Обиделся, значит?

— Вот заладил, да не обиделся...

— На обратном пути заедете?

Мutowкин промолчал. Посмотрел на свою кружку, вздохнул.

— Знаешь, Сашок, что-то у меня такое... какое-то шершавое почувствовалось... как в детстве, когда подумаешь, что должен обязательно когда-то помереть и никуда от этого не денешься, ничем не поможешь — и думаешь, для чего же тогда жить... Вот и теперь так же сделалось гру-у-стно...

Мутовкин легонько коснулся своей кружкой стакана брата, выпил, забыв испугаться самогонной вони.

У ворот длинно просигналил автобус. В комнате зашумели, задвигали стульями. Сашка заткнул графин пробкой, обернул газетой и поставил на согнутую в локте руку, другой придерживая за горлышко, как карабин по команде «на караул».

За время в пути в графине осталось на самом доньшке. Мутовкину и сопровождающим его лицам из-за этого здорово доставалось от Елены, особенно она раскричалась, когда выгрузились из автобуса на площади у аэровокзала. С усталости захмелевший больше других, Сашка жалко улыбался, моргал воспалёнными от ночной сварки глазами и, держась за руку старшего брата, икал через равные промежутки времени. Елена в сердцах плюнула, схватила за руки ребятишек и быстрой походкой пошла в вокзал. За ней пошагал нагруженный чемоданами шурин. Следом — Мутовкин, страхующий Сашкино равновесие. Последним весело хромал крёстный: «Эй, встречай, с победой поздравляй...».

Крёстный добыл из буфета стакан и настойчиво предлагал «добить» графин. Елена специально расположилась с детьми вдалеке от весёленьких мужчин. Некоторое время молча наблюдала, потом подошла и толкнула мужа в бок.

— Деревня, смотрят на вас все... Шли б тогда уж на улицу со своим графином.

Мутовкин понимающе закивал и обратился к крёстному и шурину:

— Мужики, вся деревня на вас смотрит, — с невольной гордостью сообщил он им. Те оглянулись, посмотрели вокруг. — Давай графин на улицу вынесем...

Устроились на скамейке в скверике неподалёку. Сашке, по общему решению, больше не наливали. Купили стакан газировки и он смирно сидел на краю скамейки, борясь с икотой, отхлёбывая газировку маленькими глотками. Иногда, не к месту в разговоре, обращался к Мутовкину: «Не обижаешься, Шурик?».

— Я на минутку, — предупредил Мутовкин сородичей и рысцой побежал к вокзалу, вспоминая, где он видел дверь с табличкой, изображающей мужской ботинок.

На ступеньках у входа в вокзал его перехватила раскрасневшаяся от волнения жена.

— Идиотина, — прошипела она. — Где тебя носит?.. Уже регистрация кончается...

Сашка поставил стакан с газировкой на асфальт, поднял голову, прислушался.

— Слышите... — Сашка поднял палец. Дядя Степан и шурин прислушались к звучащему из динамиков объявлению: «На Сочи... заканчивается посадка...» — Где Шурик?

Они кинулись к зданию аэровокзала. Дядя Степан, со своей негнувшейся ногой, сразу отстал. В толпе народа куда-то потерялся шурин. Сашке объяснили, что пассажиры сочинского рейса уже в самолёте. Он заметался в поисках выхода на лётное поле, наткнулся на открытые ворота багажного отделения. Перелез через разгружаемую тележку с чемоданами, увернулся от тётки с красной повязкой на рукаве и припустился бегом по бетонке к ближайшему воздушному лайнеру, от которого уже откатывали трап.

Рабочие, катившие трап, увидев бегущего сломя голову гражданина, переглянулись и вернули трап к борту самолёта. Соскальзывая на металлических ступеньках, Сашка вскарабкался наверх, пригнув голову, нырнул через овальный проём в нутро самолёта.

— Шурик!! — закричал Сашка, не переводя дух и вертя головой направо и налево. В задней половине самолёта, стало ясно ему, брата не было: пассажиры там сидели лицом к нему, некоторые привстали с мест, а одна пассажирка, в синей пилотке и синей юбке, с испуганным видом пошла ему навстречу быстрым шагом.

— Шурик! — закричал Сашка в переднюю половину, где лиц пассажиров не было видно за высокими спинками кресел. — Шурик! Прости!..

— Гражданин, как вы сюда попали?! Где ваш билет?! У вас есть билет? — дёрнула его за рукав девушка в синей пилотке.

— Понимаете, брат на Север уезжает...

— Какой Север? Самолёт на Сочи...

— Понимаете, сколько лет не виделись — а он обиделся. Даже не попрощался... Обиделся на меня...

— Пить меньше надо, — решительно изрекла та великую мудрость всех времен и народов. — Володя! Володя! — призывно закричала она.

— Шурик! — крикнул и Сашка.

— Сиди, идиотина... — шипела жена, схватив порывающегося встать Мutowкина за галстук. — Сиди. Стыда с тобой не оберёшься...

— Шурик! Шурик!

— Володя!

Из кабины пилотов показался, видимо, призываемый Володя. Сложенный, как борец тяжелой категории, он был способен продвигаться по проходу между креслами только боком. Пoblёскивая шевронами на униформе, Володя приближался к кричавшему Сашке, чётко понимая цель своего вызова.

— Шурик, прости! — надрывно прокричал упирающийся Сашка.

Смяв пятернёй воротник Сашкиного пиджака, Володя в униформе выпихнул Сашку на площадку трапа и жестом показал рабочим внизу, что можно отъезжать. Те исполнительно покатили от самолёта своё сооружение на железных колёсиках.

Сашка уцепился за поручни раскачивающегося трапа, посмотрел на закрывающуюся дверь, на белый и гладкий, как лягушачье брюхо, борт самолёта — и совсем негромко, с робостью в голосе позвал:

— Шурик...

Несмазанные колёсики трапа весело посвистывали на ходу.

Всё хорошо!

Существует такое выражение: завидовать белой завистью. Так вот, Толику Алехновичу можно было завидовать этой самой белой завистью, вернее, не ему самому, а его прямо-таки необычайно-невероятному оптимизму.

— Всё будет хорошо, — говорил Алехнович своей жене, ушедшей на днях в декретный отпуск. — Ты, главное, не волнуйся, Наташ, тебе нельзя сейчас волноваться. Поезжай, отдохни у матери, подыши чистым воздухом, отрешись от всей этой суеты, сосредоточься на самом важном в твоей жизни. А я уж сам тут управлюсь. Можешь быть уверена — всё будет на уровне лучших образцов дизайнера. Ты же видела мои эскизы. За неделю я такого натворю — глазам своим не поверишь.

Провожая жену до автовокзала на пригородный автобус, на котором она должна была отбыть в маленький тихий городок к матери, Толик уже кипел желанием побыстрее приступить к осуществлению своих замыслов: отремонтировать и раскрасить своё однокомнатное гнёздышко, приготовить его к ожидаемому в скором времени появлению первенца.

— Толик, чтобы только никаких друзей, — предупредила Наташа. — Деньги на бригаду из бюро услуг в сумочке в шкафу.

— Никаких друзей целую неделю. Специально отключу телефон и никому не буду открывать двери. Семь дней вдохновенной работы — и по возвращении ты не поверишь своим глазам, — пообещал Толик, подсаживая жену в автобус.

Вернувшись домой, Толик Алехнович, в нетерпении поскорее приступить к работе, переоделся в старые брюки и рубашку, обошёл комнату, кухню, ванную, выбирая, с чего начать. Конечный результат виделся ему отчётливо, а вот начало работы что-то никак не представлялось. Он стал пока убирать посуду, книги, одежду: всё то, что лежало на поверхности, и рассовывать их в тумбочки, шкаф, стол. Постепенно квартира приобрела нежилой вид. Алехнович включил телевизор, чтобы рассеять нахлынувшее на него от неуютности ощущение одиночества. Под звуки телевизионной передачи, предназначенной для садоводов-любителей, на душе полегчало: вроде бы, как

в дружном коллективе, товарищи в телевизоре стригут секаторами какие-то кустики, объясняя, что они делают, тем, кому это непонятно, и он, будто бы под их руководством, делает своё дело.

Алехнович, наконец, точно представил себе свою ближайшую цель — подготовить фронт работ для бригады из бюро по ремонту. Сегодня — суббота, а в понедельник надо будет подтвердить заказ; ребята придут: кое-что побелят, где-то наклеят обои, а потом за дело возьмётся он сам и сделает из рядовой квартиры произведение искусства. Способностями его, слава богу, не обделила природа. Одну стену в комнате оставить без обоев, промыть её хорошенько, проолифить и изобразить на ней жёлто-зелёные бамбуковые заросли, с соблюдением всех законов перспективы. Получится эффект расширения пространства, комната будет казаться больше своей кубатуры. Все только руками разведут.

Представляя, как все будут руками разводить, Алехнович энергично принялся сдирать старые обои, плеская на стены, где обои не отставали, горячую воду. Сначала он ободрал стены в коридоре, потом перешёл в комнату. Здесь темп замедлился, потому что мешала мебель и развешанная по стенам разная чепуха. Кое-что из вещей Алехнович перенес на кухню, свалил, что уместилось, на стол, а что не уместилось — на пол. В комнате всю мебель сдвинул к центру и прикрыл газетами.

Зацепившись на бегу за шнур телефона, он вспомнил о своём обещании жене и без всяких сомнений выдернул шнур из розетки. Работать — так работать, не размениваясь на чепуху, прекрасное должно быть величаво.

То, что уже поздний час, Алехнович заметил по моргающему пустым бельмом экрану телевизора. Ещё раз обойдя квартиру, осмотрев её спокойным взглядом, он остался доволен сделанной работой. Расстелив на полу газеты, положил на них матрац и лёг, укрывшись старым полушубком.

Утром, умываясь, Алехнович наступил ногой в вытекающую из-под раковины лужу и решил сразу же заняться вредным, вечно сифонящим вентилем.

Пока жарилась яичница и разогревался чайник, он, с ящичком инструментов, забрался под раковину в ванной и внимательнейшим образом изучил это нехитрое сантехническое приспособление. Головка штока у вентиля была со стёртыми гранями. Алехнович попробовал пассатижами покрутить шток, чтобы определить, в каком положении перестаёт сочиться из вентиля струйка тёплой воды. Шток крутился туго и струйка не уменьшалась. Любому, даже неспециалисту, ясно — раз не крутится то, что должно крутиться, значит это неполадка и её надо устранить. Может быть, поэтому и вентиль протекает. Алехнович разводным ключом уцепился за гайку на вентиле и попробовал её ослабить. Гайка совершенно не поддавалась. Орудую ключом в раз-

ных направлениях, он, в конце концов, почувствовал какое-то движение гайки, нажал ещё немного, и вдруг... из вентиля брызнула вверх струя горячей воды. От неожиданности Алехнович резко разогнулся и ударился затылком о раковину. Попробовал закрутить гайку на место, но горячая вода брызгала в лицо, обжигала руки, ключ соскальзывал и гайка никак не попадала на резьбу.

В тревожном предчувствии Толик вылез из-под раковины и искал по ходу трубы ещё один запорный вентиль. Предчувствие оправдывалось: другого вентиля в квартире не было. Пахло подгоревшей яичницей.

Ошпаренные дымящейся водой руки саднили, одежда намокла, телефон почему-то не работал. Алехнович пробовал замотать тряпкой деформированный вентиль: это помогло, но ненадолго. Через несколько секунд тряпка намокла, вздувалась пузырем, и вода продолжала прибывать. Он достал из-под ванны тазик с приготовленными для ремонта красками, разноцветной гуашью, лаком, мастикой, высыпал всё это на полу в кухне и поставил таз под запеленатый тряпкой вентиль. Через пару минут таз наполнился и он вылил воду в ванну. «Сутки-то я так продержусь, — оптимистично подумал Толик, — ну, а что дальше?»

Пристроив вместо таза недавно купленную детскую ванночку, Алехнович, не тратя времени на переодевание, выбежал из квартиры, держа курс на домоуправление. «Ещё хорошо, что домоуправление в соседнем квартале, не так далеко бежать», — подбадривал он себя, замечая обращённые на него удивлённые глаза прохожих.

Возвращаясь из домоуправления быстрым спортивным шагом, Толик благодарил судьбу, что дежурный сантехник оказался на месте и что, в конце концов, ничего страшного не произошло.

— Ничего страшного, — сказал он успокаивающе соседке с нижнего этажа, стоявшей в пижаме у дверей его квартиры, — сантехника я уже вызвал.

Но тут Алехновичу стало немного страшно, и вовсе не от громких фраз женщины в пижаме: просунув с трудом руки в мокрые карманы брюк, он вспомнил, что ключи остались за закрытыми дверями.

— А ключи-то в других брюках, — произнёс он вслух пронзившую его мысль и кротко посмотрел в неподведённые глаза соседки.

— Ломайте дверь! — велела та.

Алехнович согласно кивнул, позвонил соседу по лестничной площадке, извинился перед заспанным мужчиной и попросил топор, робко показав то ли на свою дверь, то ли на женщину в пижаме.

Сосед вынес топор и выжидающе остался стоять на лестничной площадке, чтобы всё-таки понять, в каких целях будет использоваться его инструмент. Увидев, что Толик саданул топором по дверному косяку, зевнул и удалился в свою квартиру.

— Вы представляете, что вы натворили! Вы представляете, какой у меня ущерб?! Вы собираетесь возмещать мне ущерб... — ругалась соседка под руку Алехновичу и от этого он несколько раз ударил в совершенно ненужное место.

Дверь открылась, как шлюз канала, выпуская дымящиеся волны воды на лестничную площадку. Женщина в пижаме, недовольная почему-то и этим, возмущённо взвизгнула: «Что вы делаете?!», и запрыгнула на ступеньку повыше.

Алехнович прошлёпал по тёплой, как в летних лужах, воде к ванной. Баночки краски, гуаши, рассыпанные на полу кухни, расплылись по всей квартире. Некоторые баночки выпустили часть своего содержимого и краски, смешавшись, образовали на поверхности воды удивительные цветовые гаммы. «Надо запомнить некоторые сочетания, фантазия случайности», — машинально отметил про себя Алехнович.

— Всё нормально, — закричал он из ванной, — воды больше нет!

— Да как это нет! — откликнулась женщина в пижаме. — Вон её сколько... Вы ущерб добровольно мне возместите или мне через суд действовать?

— Я имею в виду — в трубе... Наверное, уже перекрыли, — разгребая ногами воду, Алехнович подошёл к двери и похлопал по карманам мокрых брюк. — Сколько с меня причитается... за ущерб?

— А вы пойдите ко мне, посмотрите. Сами увидите...

— Я вам и так верю. Сколько?

— Нет, вы пойдите и посмотрите. Весь коридор водой залит.

Подошёл дежурный сантехник. У порога квартиры разулся, снял носки, закатал до колен штанины и шагнул в воду. Проходя мимо Алехновича, коротко спросил:

— Где?

— В ванной, — Толик хотел было направиться за слесарем, но соседка напомнила о себе.

— Или мне в суд обращаться? Там не меньше чем на сто рублей. Можете сами посмотреть.

Алехнович вернулся из комнаты и протянул женщине в пижаме пачку денег.

— Это всё, у меня больше нет.

Соседка пересчитала деньги и, уходя, заметила:

— Ладно уж, сойдёмся на этом... Только вы такого потопа больше не устраивайте.

— Эй, хозяин! — окликнул из ванной слесарь. — Это ты как же его так?

— Разводным ключом пробовал подкрутить — и вот, — объяснил Алехнович.

— Тебя бы вот так за голову разводным ключом взять и «подкрутить». Все на месте. Пошёл я.

Алехнович почесал в затылке, смущённо глядя на нос слесаря.

— С меня сколько причитается? — спросил он, ясно представляя, что денег больше нет, и не представляя, чем он собирается расплачиваться за визит.

Сантехник осмотрел ободранные стены квартиры, разноцветную гладь воды на полу, плавающие у исковерканных дверей щепки и цыкнул сквозь зубы:

— Я на людском несчастье не наживаюсь.

«Слава Богу, хороший человек попался», — облегчённо подумал Толик и предложил слесарю банное полотенце вытереть ноги. Тот отказался. Вытер ноги о штанины брюк, обулся и ушёл.

Убирая с пола воду, Толик задумался о ближайшем будущем. Вариант с бригадой из бюро услуг отпадал ввиду отсутствия денег. Можно, конечно, самостоятельно сделать то же самое, и нисколько не хуже, разве только немного больше времени уйдёт на это, но опять же вся заминка в денежном вопросе: покупать клей, побелку, обои. А через шесть дней уже возвращается жена.

Алехнович энергичнее заработал тряпкой и вскоре покончил с последствиями затопления. «Теперь хоть из вентиля сифонить не будет», — отыскал он в своей голове одну отрадную мысль и почти успокоился.

Пол в квартире сделался изумительно чистым. Но в некоторых местах линолеум стал вздуваться пузырями. Саднящие руки с тыльной стороны тоже покрылись пузырями размерами поменьше, чем на линолеуме. Разыскивая в аптечке какое-нибудь подходящее снадобье, Алехнович про себя отметил, что с холодной водой он справился бы и сам, без посторонней помощи. В одном из флаконов в аптечке он нашёл мазь с названием «бальзамическая» и этой мазью намазал себе обе кисти, потом кое-как обмотал их бинтом.

От бальзамической мази шёл неприятный, тяжёлый запах и Алехнович, морщась, убеждал себя, что чем вонючее лекарство, тем оно целебнее. Однако запах мази подействовал на аппетит и он, ещё не доев сильно подгоревшую яичницу, вспомнил, что телефон исправен и отключен им самим. От этого настроение поднялось у него ещё на несколько баллов.

Обзвонив всех своих телефонизированных знакомых, Алехнович опять немного расстроился: некоторых не было дома, а у некоторых не было дома денег. Сосредоточившись на несколько минут, он надумал ехать прямо на дачу к самому Ивану Семёновичу, руководителю их проектной группы. Тем более, тот решительно требовал навещать его во время отпуска, чтобы быть в курсе всех новых предложений по проекту. Иван Семёнович — мужик свойский, да и свободные деньги у профессора, по всей вероятности, должны быть.

Алехнович ухватился за эту мысль, быстро переоделся, умылся и, разыскав в письменном столе несколько бумажек с «новыми пред-

ложениями», направился к выходу. Тут возникла ещё одна проблема, и опять из-за этих проклятых денег. Он остановился, поискал по карманам, потом вернулся в комнату, порылся в висевших в шкафу плащах и пиджаках. Из всех карманов набралось только десять копеек медяками. Чтобы добраться до профессора, этих денег не хватало. «Это чепуха, — подумал Толик, — безвыходных положений не бывает. В крайнем случае доеду зайцем».

С момента появления на земле разумного человека оптимизм ещё ни разу не подводил его. В бодром настроении в голову приходит гораздо больше хороших мыслей, чем в плохом. Это закон, пока что до конца не объяснённый наукой. Хотя и не объяснённый, но этот закон существует и каждый может проверить подобную закономерность опытным путём.

Такой человек, как Толик Алехнович, убеждался в этом неоднократно, и теперь, перекладывая из коробки из-под радиоприёмника пустые бутылки, убедился в очередной раз: «Бутылки всё равно сдавать нужно. Сколько раз собирался — а тут они вот и пригодились. Одним махом два дела сделано. Очень даже складно получается». Алехнович радовался, будто он всё сам заранее рассчитал.

Закрыв изрубленную топором и разбухшую от воды дверь на запасной замок, он взвалил на плечи позвякивающий рюкзак и стал «опускаться по ступенькам лестницы», как писали много лет назад в рыцарских романах. «Опускался», не подозревая об уготованной ему судьбой участи и ещё не зная, что ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра не вернётся он в свою родную — хотя и с ободранными стенами и вздувшимся линолеумом — квартиру.

Бутылки в рюкзаке позвякивали при каждом шаге. Толику было от этого немного не по себе: наверное, проходящие мимо люди из-за звяканья бутылок принимают его за алкаша, который даже в выходной день, даже с перебинтованными руками летит к пункту приёма стеклотары, чтобы побыстрее обменять множество пустых бутылок на одну — полную.

Но не будешь же объяснять каждому встречному, что больше половины рюкзака — посуда из-под безалкогольных напитков. «Оказывается, что не только шила в мешке не утаишь», — Алехнович улыбнулся этой мысли, подумав, что если в старой поговорке «шило» заменить на «пустые бутылки», то от этого поговорка будет звучать современнее и злободневнее.

Его кто-то окликнул:

— Здорово, Алёха!

Перед Алехновичем, руки в карманах, в зубах изжёванная спичка, стоял его бывший однокурсник Витька Макаров, шутник и баламут факультетского масштаба. В студенческие годы Алехнович с ним особо не корешался, но уважал как личность.

— Куда это прёшь, рогом в землю?

— Посуду несудавать.

— Прижало, что ли? — посочувствовал Макаров. — Не больно-то, видать, наука своих слуг кормит.

— Прижало, — подтвердил Алехнович. — Займи рублей пятьдесят, а?

— Эх, ты! Хватил. Проси уж сразу миллион — всё равно эффект тот же будет. Вот, видишь, — Макаров показал вынутый из кармана рубль, — теща на мороженое дала. Более крупными суммами не располагаю.

Макаров, предлагая свою помощь, взялся за одну из лямок рюкзака.

— Ты как? — спросил он на ходу.

— Нормально. Вот, взял неделю за свой счёт, квартиру ремонтирую. Готовлюсь к появлению наследника. А ты как?

— А у меня уже двое, — Макаров похлопал себя по шее. — А ты всё, значит, долбишь гранит науки?

— Долблю.

— А я долблю бетонные фундаменты, — невесело ухмыльнулся Макаров, — которые вы там напроектировали...

— Почему это «мы»? — обиделся Алехнович.

— Пора бы уже повсеместно на сваи переходить. Знаешь, как для прораба эти бетонные работы... Они у меня вот здесь сидят, — Макаров опять похлопал по своей шее, — эти бетоны.

Пункт приёма стеклотары, функционирующий как важное бытовое учреждение и по воскресным дням, быстро и вежливо обслужил Алехновича, выдав ему на руки четыре рубля с копейками.

— Итого, пять тридцать, — сунув свой рубль в ладонь Толика, подытожил Макаров. — Что будем брать?

— Я не могу, — решительно отказался Толик. — У меня ремонт, потом ещё это стихийное бедствие...

Он коротко поведал Макарову свои проблемы и планы. Макаров поморщился, изображая крайнее презрение.

— И всё? Я тебя, Алёха, не узнаю. Где твоя бывалая стойкость? Короче, всё это мелочь. Ты знаешь, кто я?

— Кто?

— Кто-кто... Обыкновенный рядовой прораб. Но... но твои проблемы мне по плечу. За два вечера... Сколько комнат?

— Одна.

— За один вечер я лично, вот этими руками, так отделаю твою квартиру, что любым добрым услугам не под силу. Не спеши, — остановил Макаров хотевшего что-то сказать Алехновича. — И все материалы достану. У меня объект на сдаче, отделочные работы идут, так что всё необходимое, и даже больше, я достану. Когда приступим?

— Сегодня.

— Нет, сегодня не получится. Давай завтра. Какой адрес?

Всё складывалось таким удачным образом, что Алехнович от неожиданной радости сам предложил Макарову зайти в расположенный неподалёку пивбар.

Когда уселись за столик с кружками пива, Макаров повёл носом, к чему-то принюхиваясь. Понюхал пиво, потом селёдочные бутерброды, недоумевающе спросил у Алехновича:

— Ты ничего не чувствуешь: что-то чем-то пахнет?

— Это мазь такая от ожогов, — показал Толик свои забинтованные кисти, — бальзамическая.

Макаров успокоился. Отхлебнув из кружки, без вступления принялся рассказывать о своей жизни, ругая начальство, подчиненных, жену, тещу, секретаршу директора стройтреста и времена года. Алехновичу нравилось слушать, как рассказывает Витька Макаров. Рассказывать Витька умел и любил, особенно когда ему не мешали и не перебивали. Последнее время ему, видимо, это редко удавалось. Говорил он быстро, но чётко, не мямлил, не повторялся в выражениях, изображал действующих лиц с мимикой, на разные голоса; со злой иронией, смешно и интересно, точно профессионал разговорного жанра. Алехнович уже четыре раза бегал к стойке за кружками пива, а Макаров всё никак не мог выговориться. Темпераментное повествование Витькиных неудач захлестнуло Алехновича, он тоже разгорячился, под стать самому Витьке: ёрзал на стуле, переставляя с места на место тарелку с селёдкой, негодуя или с сочувствием восклицал «Ну!».

— Ты, вот, как думаешь: я — дурнее других? — вопрошал Макаров.

— Ну.

— Что «ну»... Ты как думаешь?

— Я так не думаю — и даже не считаю.

— Я — такой человек, что для меня самое главное — справедливость.

— Я тоже такой, — поддакнул Алехнович.

Макаров с чего-то вдруг внимательно посмотрел на своего собеседника, пожевал спичку и уверенно спросил:

— По-моему, у нас ещё на две кружки осталось?

Алехнович пересчитал оставшуюся мелочь: действительно, вышло как раз по две кружки пива. Выйдя в фойе, где кассирша бара выбивала чеки на пиво, Алехнович увидел коренастого краснощёкого парня, держащего за руку вырывающуюся от него девушку. Девушка что-то возмущённо кричала краснолицему парню, шлёпала сумочкой в свободной руке по его круглой голове в чёрных кудряшках, но тот не отпускал её и, как от щекотки, тонко хихикал. Рядом стояли ещё два парня с безучастным видом.

— Отпусти девушку, ты, хрюндель! — с интонацией странствующего рыцаря сказал Алехнович, крепко сжимая в перебинтованном кулаке мелочь.

— Чо, что? Кого... как ты сказал? — краснолицый отпустил девушку и направился к нему.

Толик поспешно стал засовывать в карман деньги. Не успел он вынуть из кармана руку — упал от толчка в грудь и подставленной сзади подножки. Лёжа на полу, лягнул кого-то два раза ногой, попробовал приподняться, но его стукнули по шее и он снова упал. Со следующей попытки всё-таки встал. Толкнул стоявшего рядом мужчину, увидел за его спиной красное лицо коренастого парня и с криком: «А, пятеро на одного!» сильно размахнулся, целя тому парню точно в подбородок. Но тут его кто-то схватил за руку и крутанул на болевой приём. Алехнович взвыл, резко оглянулся назад — и увидел милиционера.

— Наши пришли. Ура! — постанывая, пошутил Толик.

Через толпу непонятно откуда взявшихся людей пробрался Макаров.

— Вот этот не виноват — я его знаю. Этот не виноват, товарищ милиционер...

— Вы видели драку? — спросил милиционер Макарова.

— Не видел, но я его знаю...

— Отойдите в сторону, — милиционер грозно и подозрительно посмотрел на Витьку и отодвинул его плечом подальше от Алехновича.

Толпа поредела. Толик увидел и своего противника, которого держал за плечо второй милиционер. Рядом валялся перевёрнутый раскладной столик. Старичок в полотняной фуражке собирал рассыпанные вокруг столика газеты и почтовые открытки.

— Дедушку-то зачем обидели? Хулиганье, — негодуя спросил Алехнович у краснолицего.

— Это вы, молодой человек, сами. Да. Сами вы виноваты... ногой... сами, да, — ни к кому конкретно не обращаясь, сказал старичок и пожаловался милиционеру, державшему Алехновича. — Мне теперь инвентаризацию делать. Может быть, в этой кутерьме кто-нибудь газету украл.

— Пойдёмте в отдел, граждане, — предложил милиционер.

— Не пойду! За что? Не пойду! — громко отказался Алехнович.

— Он не виноват! — возмущённо крикнул Макаров.

— Я не виноват, он первый начал...

— А чего ты оскорбляешься, это... нецензурно! — запротестовал и краснолицый.

— Я за девушку вступился, — объяснил Алехнович своему милиционеру. — Этот тип к ней приставал.

— За какую девушку?

Алехнович осмотрелся и указал на стоявшую у кассы даму:

— Вот за эту... кажется.

— Вы что, с ума сошли? — обиделась дама. — Я — администратор зала.

— Я точно не помню, — попытался всё-таки оправдаться Алехнович, подталкиваемый к выходу конвоем, — та тоже была в коричневом платье... Может быть, я её поищу?

— Алёха! Я тебя не забуду! — прощально крикнул Макаров. — Твоя квартира на моей совести!

В отделе милиции их поместили в загончик, отгороженный с трёх сторон толстыми перилами. За перилами уже сидели два не очень трезвых типа с удручённым видом хоккеистов, удалённых с поля на две минуты в то время, когда их команда продолжает вести ожесточённую борьбу в численном меньшинстве.

Сидевший за столом по другую сторону барьера капитан заполнял какие-то бланки.

— Эй, новенькие! — окликнул он. — Фамилии.

— Дубинин, — ответил краснолицый парень.

Алехнович тоже назвал свою фамилию и, пока капитан записывал, злорадным тоном спросил у краснолицего:

— Ну что, довыступался?

— Ничего. Посидишь — узнаешь, — точно таким же тоном ответил тот.

— Место работы, должность? — задал следующий вопрос капитан.

— Порт, биндюга, — коротко ответил Дубинин.

— Строительный институт... — ответил Алехнович.

— Студент, — презрительно хмыкнул Дубинин.

— ...Младший научный сотрудник.

— Сотрудник... научный, — опять хмыкая, покрутил головой Дубинин.

— Семейное положение? — продолжал капитан.

— Холост.

— Женат.

— А жена где? — спросил у Толика капитан.

— Уехала.

— Ушла, что ли?

— Нет, уехала... на автобусе...

— Не бросила ещё тебя? — уточнил капитан и решительно добавил. — Ну, так скоро бросит.

Один из «хоккеистов» подтверждающе кивнул головой.

Алехнович поёрзал на скамье и безразличным голосом спросил у Дубинина:

— И что — точно могут посадить?

— Запросто.

— А... почему?

- По указу.
- Какому указу?

Дубинин, не глядя, указал пальцем на стену, на которой был прикреплён текст в рамочке и, уже дружелюбно, посоветовал:

- Читай, пригодится. Я его назубок знаю.

Алехнович хотел встать и прочитывать написанное в рамочке, но почувствовал вдруг в ногах такую слабость, словно он остался один на один с десятью прорвавшимися вентилями горячей воды. С болью в голосе опять спросил у Дубинина:

- А когда... сажать будут?

— Подожди. Вот наберут побольше, в суд повезут. Там судья решит — кому сколько.

- А сколько могут?

- Могут и пятнадцать.

- Лет... — ошалел Толик.

- Суток, — покровительственно улыбнулся Дубинин, — глупый.

Алехнович немного помолчал, потом с надеждой в голосе шёпотом спросил:

— Сегодня же воскресенье. Может быть, в суд не повезут, домой до завтра отпустят?

— Они без выходных пашут, — неодобрительно-мрачно пояснил Дубинин.

Алехнович порывисто вскочил со скамьи и, подавшись к барьеру, крикнул:

- Товарищ капитан, я не виноват!

— Слабак, — переглянулся Дубинин с одним из «хоккеистов». — Антиллигенция гнилая...

- Кто не виноват? — капитан поднял голову от бумаг.

- Я, товарищ капитан.

- Разберемся. Значит так: пьяным был?

- Выпимши немножко, — звонким голосом ответил Толик.

- Дрался?

- Немножко.

- В общественном месте?

- Да.

- Общественный порядок нарушал?

- Нет! — радостно сказал Толик.

— Ну, как же нет? — капитан покачал головой и стал объяснять, как ученику, забывшему недавно пройденный материал: — Пьяный... дрался... в общественном месте... То есть нарушал общественный порядок. Понял? Ну, молодец. Садись и не нагнетай обстановку.

Алехнович сел с растерянным видом.

— Слышь, сотрудник, — с ухмылкой спросил Дубинин, — ты что пил? Никак не разберу, чем от тебя разит?

— Это мазь такая, бальзамическая.

— Во, живут сотрудники, — Дубинин опять солидарно переглянулся с удручёнными соседями, — мазь пьют.

«Нужно успокоиться, найти в этой роковой логике слабое звено, попытаться доказать всё так, как это и было на самом деле. Нужно разобраться», — твёрдо решил Толик, но, сколько ни тужился, логика капитана оставалась непоколебимой.

В суде почему-то тоже не разобрались. Спешащая домой женщина-судья, которую Алехнович поначалу принял за секретаршу, выслушала всё, что он рассказал, и выписала, как и всем остальным, десять суток.

«Хорошо ещё, что не пятнадцать», — по пути из суда, немного успокоившись, решил Толик.

Когда Алехнович вылез из машины, то у дверей милиции увидел знакомое лицо — Андрей Трофимович, пожилой лейтенант, участковый, с которым они провели не одно совместное дежурство от институтской дружины. Толик засмутился и, проходя мимо, опустил глаза.

— Ба! Толик, Анатолий Сергеевич! — удивился Андрей Трофимович.

— О, товарищ участковый! — как будто обрадовался Алехнович. — А вы как тут оказались?

— Вот, перевели меня теперь в этот район... А вы, Анатолий Сергеевич, какими судьбами?

— А, — махнул рукой Толик, — говорят, нахулиганил немножко... Выслушав, Андрей Трофимович нахмурился.

— Нехорошо получилось, нехорошо, нехорошо. Если бы я хоть часом раньше пришёл... А сейчас уже суд сказал своё слово, ничего не получится.

Переступая с ноги на ногу, Алехнович спросил:

— В институт сообщат?

— С этим-то я смогу уладить — а вот как с десятью сутками быть? Тут навряд ли поможешь.

— Андрей Трофимович, помоги, а. Если в институт сообщат — что будет?.. Десять суток отсиджу, ничего со мной не случится. Только бы не сообщили.

Через полчаса Андрей Трофимович подошёл к Алехновичу, сидевшему в коридоре вместе с другими «мелкими хулиганами».

— Анатолий, ты же рисуешь хорошо?

— Да, — подтвердил Толик.

— Ну и займёшься на время своей отсидки оформлением Красного уголка. Всё лучше, чем на уличных работах по городу светиться. А насчёт сообщения можешь не беспокоиться — это уладим.

Нарушители порядка с уважением посмотрели на Алехновича, а Дубинин осуждающе сказал:

— Уж и тут всё по благу. Слышь, земляк, — пододвинулся он к Толику, — шепни своему лейтенанту: пусть и меня к какой-нибудь секретарше в помощники определит. Всё ж мы с тобой кореша, по одному делу идём?

На шестой день своего заключения Алехнович в испачканном красками халате вошёл в кабинет своего знакомого и попросил на полдня «отгул», чтобы встретить жену: «потому что он в таком положении — и жена у него в положении».

Перед тем, как идти на автовокзал, Толик зашёл домой переодеться. Искалеченная дверь скрипнула, открываясь. Из комнаты пахнуло невыветрившейся сыростью. Взглядом долго отсутствующего человека он оглядел своё жилище и не смог сдержать вздоха. «Самое трудное — это начать, а начало у меня уже есть», — подумал он.

— Всё хорошо! — чересчур уверенно и торжественно ответил Толик на вопрос жены, помогая ей спуститься со ступенек автобуса.

— Прекрасная маркиза? — добавила жена, поглядев на его руки. — Так, что ли? Ты, случайно, здесь пожар не устроил?

— Нет, — заулыбался Толик, — это я руки горячей водой обжёг, но зато вентиль в ванной исправил, больше не течёт. А руки моментально зажили, на второй день. Отыскал у тебя в аптечке какую-то бальзамическую мазь: вонь страшная, но помогло изумительно.

— А как с ремонтом? Закончил? Как твои бамбуковые джунгли? Смотрятся?

— С ремонтом всё очень удачно получилось. Встретил Витьку Макарова, он же прораб, обещал всё сам достать и всё сделать...

— Подожди ты со своим прорабом, — перебила Наташа. — А почему из бюро услуг не пришли? Ты ремонтом занимался... или чем ты тут занимался?

— А как мама твоя? — перевёл Толик разговор на другую тему, думая тем временем о том, как бы объяснить, куда ушли деньги, предназначенные для ремонта. Решил пока не объяснять, чтобы не расстраивать. — Мама как там, здорова?

— Мама здорова. А как с ремонтом?

— Понимаешь, не успел договориться с ними...

— Почему?!

— Понимаешь, в милицию забрали... Ты только не волнуйся, тебе нельзя сейчас волноваться. И вообще, все нормально обошлось — в институт не сообщат.

— За что в милицию?... Что ты натворил?!

— Ничего особенного... Совершил один благородный поступок. Но не беспокойся — в институт не сообщат...

— Почему ты считаешь, что это нормально? — немного успокоилась Наташа. — Если благородный поступок, то чего ж этого стесняться?

— Могут не так понять.

— А как могут понять?

— Могут понять как мелкое хулиганство... Все нормально, не расстраивайся, — заволновался сам Толик, заметив изменившееся лицо жены. — Всё получилось очень удачно.

— Я устала задавать вопросы. В конце концов, что случилось? Ты что-то недоговариваешь, Толик.

— Нет, рассказываю всё, как есть. Очень даже удачно получилось: у меня там оказался хороший знакомый...

— Где — там?! — перебила нервно Наташа.

— Ну, в милиции. Он обо всём договорился. Я сейчас у них Красный уголок оформляю. Очень красиво получается, даже их начальник зашёл посмотреть, сказал: «Фирма».

— Какой уголок? Ты со своей квартирой занимался. Зачем ты согласился?

— Понимаешь, моего согласия, вообще-то, не спрашивали...

— Ну, ты бы повернулся и ушёл.

Толик замылся, сверхбыстро размышляя, как бы так, по-обычному, представить произошедшие с ним события.

— Ты что-то похудела, — сказал он жене, ожидая, что та от этого замечания перейдёт к благодушному настроению.

— Не мели глупости! — разозлилась Наташа.

Поднялись на свой этаж. Наташа долгим взглядом посмотрела на дверь квартиры и перевела глаза на мужа.

— Это я ключ забыл, — тоном экскурсовода пояснил Толик, открывая замок.

— Мамочка родная! — Наташа прижала к щекам ладони и закачала головой. — Что ты сделал с квартирой?!

— Всё нормально — нулевой цикл...

— Ты был прав: я не верю своим глазам, настоящие джунгли. Хуже: не джунгли, а тундра, безжизненная пустыня.

— Это на первый взгляд, Наташ. Не волнуйся. На самом деле не всё так плохо, как тебе кажется, — Толик придавил ногой пузырь на линолеуме, пузырь сдулся и... надулся в другом месте. Толик опять наступил на него.

Наташа села на покрытый газетами диван и сложила на животе руки. Толик с жалостью посмотрел на её руки и грустно, таинственно и безысходно, как Золушка принцу, объявил:

— Мне надо уходить. Пора.

— Куда?

— Мне осталось ещё трое суток.

— ?

— Сидеть... за мелкое хулиганство.

— Мамочка моя! — Наташа опять прижала к щекам ладони и закачала головой.

— Не расстраивайся, всё хорошо, — снова стал уговаривать её Толик.

— Уж чего хорошего... И ты там сидишь в этой... камере? Не представляю!

— Ну и что? Нормальная, вполне приличная камера.

— Может быть, и приличная... по сравнению с нашей квартирой, — Наташа обвела глазами комнату, — но всё равно — это ужас... Какие там люди!

— И люди, Наташ, представляешь себе, вполне нормальные, симпатичные люди. Почему ты всегда обращаешь внимание только на плохое? Ты обращай внимание только на хорошее... В самом же деле, что такого плохого случилось, — ничего плохого, всё хорошо... моя прекрасная маркиза.

Толик направился к выходу. Взявшись за ручку двери, он что-то вспомнил, обернулся и с радостью сказал:

— А я ещё все пустые бутылки сдал.

Анализ крови

Дверь, скрипнув, приоткрылась. На пороге возникло что-то бесформенное, в белом балахоне, похожее на привидение, и шёпотом спросило:

— Закурить есть?

Петька Лесников привстал с кровати, кинул привидению пачку сигарет и сказал унылым голосом:

— Опять простыни дырявишь. Выселит тебя комендантша, вот увидишь, Витьк.

Привидение махнуло рукавом, село напротив Лесникова на табуретку, закинув ногу на ногу, и из-под белого одеяния высунулась штанина джинсов.

— Скуотища же какая, Петь. Я хоть немного народ попугаю — всё какое-то веселье. И мне, и людям.

— Тебя уж никто и не боится.

— Не-е, бояться некоторые, девчонки визжат даже... А может, просто дурочку валяют, хм, — неуверенно сказал Витька, шевеля сигаретой в треугольной дырке балахона.

Сизый дым в вечерних сумерках комнаты свивался спиралями и медленно выползал в открытую форточку. После третьей затяжки Витька спросил:

— Ты что на танцы не идёшь?

— Неохота, — ответил Лесников, снова укладываясь в постель.

— Переживаешь?

— Насчёт чего это мне переживать? — Лесников поднял голову с подушки.

— Ну, из-за неё... Из-за Ленки.

— Брось, — отмахнулся Петька. — Не из тех она, из-за которых переживают.

— Говорят, ребёнок-то твой...

— Кто говорит? — тихо, но с раздражением, спросил Петька.

— Да все говорят, — развёл руками Витька.

— Знаешь что? — Лесников повернулся лицом к стенке. — Дуй отсюда, нечистая сила. Я спать хочу.

Вот уже который день Петьку Лесникова мучило плохое настроение. По натуре человек жизнерадостный, Петька испугался охватившей его печали, решил про себя, что, видимо, в глубине его организма зарождается какая-то серьёзная болезнь... Не в нахальной же Ленке с химического факультета, в самом деле, причина его хандры. Что тут такого душенадрывного, если прошедшей осенью они, как говорится, слегка полюбили друг друга. Без любви, ясно, на такие дела и под ружьём не пойдёшь. Ну, полюбили — потом разлюбили, тихо, без всяких упреков и драм расстались. Жизнь продолжалась, на место Петьки быстро нашёлся чернявый симпатяга Налиджан, и Ленкино место возле Петьки тоже не пустовало.

Сейчас начало лета, у Ленки родился сын. Событие, конечно, рядовое — в масштабах страны. Родился так родился, пусть считается пока... Но в общегитии все заговорили, что мальчик — копия Лесников. А Налиджан при встрече коварно щурил восточные раскосые глаза.

«Нашли дурака, да? — мысленно огрызался Петька, представляя, как Ленка направляет против него общественное мнение. — Не на того напали. Не выйдет фокус». И Лесников приготовился к длительной моральной осаде. Однако несчастная мать-одиночка не лила слёз у его ног, не бегала по деканатам-ректорам, а, напротив, ходила гордая, будто совершила бог весть какой подвиг.

На первом зачёте в эту летнюю сессию Петька здорово плавал. Преподаватель чмокал губами и закатывал глаза под брови, что означало, что Петькины ответы никак не попадут в точку, потом вернул обратно зачётную книжку. Тут из аудитории кто-то ляпнул, что у Лесникова родился сын, потому он и никак не может сосредоточиться. Преподаватель счёл сию причину уважительной, взял у Лесникова зачётку и вывел в ней «зачёт». Петька с неблагоприятной интонацией сказал: «Спасибо».

— Видишь, какой помощник у тебя родился, — заметила однокурсница Лесникова, рассудительная девушка в годах, прозванная «тётёй Полей». — Уже помогает бате в учёбе.

— Да-а, — протянул хмуро Петька. — Пусть бы лучше Налиджану помогал.

— При чём тут Налиджан? — всплеснула руками тётя Поля. — Тебя совесть хоть немножко мучает?

— А, ладно, — буркнул Петька. — Совесть, совесть...

Тем же вечером Петька зашёл в комнату к тете Поле.

— Давай, мать, чайку попью, — непринуждённо предложил он, усаживаясь за стол.

Тётя Поля любила угощать навещавших её однокурсников чаем со всякими там печёными рукоделиями, которые были её единственным шансом понравиться какому-нибудь мужчине. Петька пил чай,

водил глазами по стенам комнаты и краем уха слушал общежитские сплетни. Дождавшись паузы, спросил:

— Что посоветуешь, Полин? Поговорить вот зашёл по-серьёзному.

Полина свела к переносице рыжеватые бровки, пристально посмотрела на Лесникова — в действительности ли тот с серьёзными намерениями. Кивнула головой.

— Ага. Ясно... — И она затараторила об отцовском долге, брошенных малютках, материнской доблести Ленки с химфака, бросившейся в омут материнства, как классическая Катерина с волжского обрыва...

— Пошла молоть, — поморщился Петька. — Что ты мне агитку распеваешь? Я сам без отца рос и, как видишь, не помер. Всё при всём, вышел ростом и лицом.

— Вот-вот, — раскраснелась Полина, — на себе-то испытал, каково безотцовщине... И хочешь, чтобы твой сын...

— Тпру-у! — сказал Петька. — Где гарантия, что ребёнок не от Налиджана, Ивана, Степана? Ленка, сама знаешь, это Ленка... — Полина тут растерянно пожала плечами. — О чём и речь, — глубокомысленно закончил Петька, переворачивая свою чашку вверх дном.

— И всё-таки, — сказала ему вслед тётя Поля, — у ребёнка всегда один отец. И если этот отец ты, не будет тебе счастья и покоя до гробовой доски.

По коридору общежития неслась песня, распеваемая двумя головами под дребезжанье ненастроенной гитары:

Я хочу, чтоб мы тихо расстались,

И любовь нашу надо кончать.

Мы и так весь семестр целовались,

Теперь сессию надо сдавать...

Лесникову хотелось поскорее разделаться с экзаменами и уехать домой к матери. Набрав учебников, захватив графин с холодным чаем, он с утра пораньше забирался на крышу общежития. Иногда сверху Петька замечал прогуливавшуюся возле общежития Ленку то с коляской, то с белым свёртком в руках. С неприязненным чувством, забыв о зубрёжке, Петька следил за ней, пока та не скрывалась за срезом крыши.

К полудню шифер крыши так накалился, будто забытая на плите сковородка. С кружившейся от жары головой Лесников стал спускаться по чердачной лестнице.

— Ой! — услышал он под своими ногами. Петька нагнулся и увидел на площадке под лестницей детскую коляску и рядом Ленку.

Ленка, как злая кошка, прошипела:

— Не видишь, что ли? Ребёнка раздавишь... — Узнав Лесникова,

она опустила глаза, тихо, в сторону, добавила: — Или тебе можно: сам породил — сам и раздавлю...

— Мелешь, не зная чего, — отозвался Петька и растерялся, выбирая, с какой стороны обойти коляску. — А ты что на этом этаже делаешь?

— Комнату мне здесь дали. Отдельную. Как матери-одиночке.

— Ну-ну, — сказал Петька. Он поддёрнул трико и собрался идти дальше.

— Пе-еть, — тихо позвала Ленка.

— Слушаю вас, — Петька остановился, но не оборачивался.

— Не поможешь коляску спустить? Больше некого попросить.

Петька, с постным выражением лица, вернулся назад, взялся за борта коляски. Ленка как-то обрадованно засуетилась, откинув кожух коляски, вынула ребёнка. Из пелёнок выбились малюсенькие ножки. Розовые пятки — величиной с Петькин ноготь. «Пеленать не умеет. Мать-одиночка...» — критически подумал Лесников.

Все восемь этажей спускались молча. Петька напрягался, будто тащил не коляску, а громоздкое пианино, и всё время — в ожидании какой-то опасности за спиной.

— Готово, — с облегчением сказал Петька, опуская коляску у подъезда общежития.

Ленка положила ребёнка в коляску и всплеснула руками.

— Ой, Петь, бутылочки забыла, мне же в молочную кухню надо... Побудь с ним минуточку. Я быстро.

Лесников ничего не успел ответить, Ленка, вильнув заметно отошавшим задом, как коза, ускакала вверх по ступенькам. «Эх!» — Петька стоял у коляски с учебниками под мышкой, голый по пояс, в старых обвислых шароварах, стоптанных кедах на босу ногу и думал, как ему поступить. Если положить кирпич под колесо коляски, коляска никуда не денется. Ребёнок спит. Дождаться прихода Ленки — слишком много для неё чести.

Петька поискал глазами какой-нибудь предмет, чтобы приспособить его под колесо. В это время из подъезда вышла группа знакомых ребят. Петька чертыхнулся, спешно повернулся к ним спиной и покатил коляску за угол общежития. Ребятёнок заворочался и, по непонятной причине, принялся обиженно попискивать. «Вот напасть-то», — вздохнул Петька. Он положил учебники на асфальт, покачал коляску — не помогло.

— А ну, прекратить! — строго приказал Петька, откинув салфетку, прикрывающую личико ребёнка. На Лесникова, но как будто его не замечая, смотрели круглые серые глаза, малюсенькие губы кривились от хныканья и просяще причмокивали.

«Соску хочет», — решил Петька. Поискал в коляске пустышку, но не нашёл, обругал Ленку за расхлябанность.

— Тю-тю-тю, — он состроил из пальцев «козу», пощекотал через пелёнки ребёнка. Тот, не переставая попискивать, поймал в фокусе взгляда Петьку и заорал уже громко и сердито.

— Сынка выгуливаешь? — послышался сзади женский голос.

Бесшумно и неожиданно, по своему обыкновению, позади Лесникова оказалась комендантша общежития Альбина Павловна.

— Нет, — буркнул Петька, не желая вступать в провокационный разговор. — Просто подошёл... Бросили тут пацана без присмотра.

— Кто бросил?

— Мать его... Кто ж ещё-то?

— Дела у вас, молодёжь, как я посмотрю. Перебрасываетесь живой душой, аки мячиком. Превратили общежитие... прости, Господи. Детей рожают, когда захотят, и от кого — сами не знают... Всё от того, что воспитательная работа слабо ведётся... — отходя от Лесникова, неизвестно кому внушала Альбина Павловна.

Петька поднял учебники, обозлённо, на себя и на всех вокруг, толкнул коляску, покатил её к подъезду общежития. Ребятёнок то ли от резкого толчка, то ли чувствуя себя виноватым перед Петькой, перешёл на рыданье, похожее на слабое мяуканье. Лесникова вдруг пронзила острая жалость. Он нагнулся к мальчонке и извиняюще проговорил:

— Ну, что ты? Что ты?.. Ладно тебе, успокойся... Хочешь, песню споём? Военную, а?

Из окна второго этажа высунулась бородастая физиономия. Улыбаясь, спросила:

— Признал, что ли, наследника?

— Признал, — без энтузиазма ответил Лесников, просто каким-то суеверным чувством боясь обидеть отрицательным ответом того, мяукающего в коляске, человечка.

— Как зовут-то? — поинтересовался бородастый.

До Петьки только дошло, что имя ребёнка ему не известно. Чтобы не вдаваться в объяснения, сказал:

— Пока числится под порядковым номером.

Борода посоветовал несколько имён, по его мнению, самых модных в текущем сезоне, поинтересовался, почему плачет мальчишка, и сам же объяснил: потому что не привык ещё к отцу.

Лесников со всем соглашался. Бородастый — всё-таки старшекурсник, в этих вопросах, наверное, разбирается квалифицированнее.

— Может, он того... проголодался? — спросил Петька.

— Возможно, возможно... — Борода в своём глубокомыслии напомнил молодого ассистента, замещающего на лекции старого профессора. — Вы его чем питаете: грудью или через соску?

Петька незаметно поморщился и очень уверенно ответил:

— А всем. Он особенно солёные огурцы любит.

— Ну? — серьёзно удивился борода. Потом он что-то рассмотрел на дорожке, ведущей от трамвайной остановки, и успокоил Лесникова: — Вон, идёт ваша мамаша... Не спешит.

— Вот я ей сейчас устрою мамину школу, — со зловещей интонацией сказал Петька.

Старшекурсник остерегающе помахал пальцем.

— Лишний кипиш здесь ни к чему. Но! Но поставить на место нужно. Она должна внимать твоему голосу, как старая верная собака.

Беззаботно помахивая сеткой с бутылочками, Ленка повернула к общезнанию. Подошла к Петьке и скромно опустила ресницы.

— Понимаешь, Петь, я очень спешила. Думаю, пусть пока погуляют, пока я в молочную кухню сбегаю. Как тут Аркашка?

Петька ответил что-то неразборчивое, горловым звуком.

— Аркадий — тоже хорошее имя, — заметил из своего окошка бородастый старшекурсник.

— Ну, ты теперь свободен. Я сама, — Ленка перекинула сетку на стиб руки, подхватила сына на руки.

Из сбившихся пелёнок выскользнула, вся в складках, ручонка и потянулась к Ленкиному носу. Та игриво поймала её губами и засоскала:

— Ты — мой красивенький, ты — мой маленький. Соскучился по мамочке?..

Посмотрев исподлбья на все эти нежности, Петька сказал холодным голосом:

— А ну, дай-ка сюда, — и подставил руки, будто собираясь нести дрова. — Не видишь, весь распеленался. Заверни его как полагается, а то простудишь пацана... Эх!

— Жалко, что ли? — улыбнулась Ленка.

— Жалко у пчёлки, — всё так же сурово произнёс Петька.

Петька с ребёнком на руках поднимался по лестнице. При встречах со знакомыми он стеснялся, краснея, отводил в сторону глаза. Ему улыбались, парни хлопали по плечу, а девочки — так прямо млели от такой идиллии и чуть ли не пускали слезу от умиления. Все почему-то считали себя обязанными поздравить Лесникова, но с чем, никто не объяснял, а сам Петька — злой и потный от смущения, не спрашивал. В комнате Ленки он положил ребёнка на постель, обложил его по бокам подушками. Угрюмо распорядился:

— Переодень его, он мокрый. А потом накорми... Чем ты его кормишь таким, что он у тебя ревёт да ревёт все время? — Петька потоптался на месте, оглядел завешенную постиранным бельём комнатёнку и, словно испытывая Ленкино терпение, добавил: — Окна закрой, сквозняков не устраивай. Соображать надо...

Ленка, бросив какие-то дела, побежала исполнять это указание. Петька взял со стола свои учебники, не сказав больше ни слова, ушёл.

Петькин сосед по комнате стоял над закипающей кастрюлей, избредая суп из аджики и рыбных консервов.

— Эх-ма, жаль, картошечки нет. А то бы фирменный супешник получился, — подсадовал он, потом попросил лежавшего на кровати Лесникова: — Петь, может, слетаешь в магазин, купишь картошки?

— Неохота, — помотал головой Петька. — Не до картошки мне теперь.

— А в чём проблема?

Петька с секунду помолчал и ответил:

— Купили меня, Лёха, понимаешь... С потрохами купили.

— Не понял, — сказал Лёха, нюхая свой суп.

— Женюсь на Ленке... чёрт возьми. Понимаешь?

— Опять не понимаю. Если не хочешь, зачем тогда женишься? К декану вызывали?

— Не-е, — Петька закинул ноги на спинку кровати. — Ну, как бы тебе объяснить... Ну, сына жалко. Заморит она его без меня. Такая баба непутёвая...

— Ага. Честным хочешь быть, — бесстрастно определил Лёха.

Петька резко поднялся, сел, затем опять лёг.

— Не знаю даже. Решил вот внезапно, аж не по себе стало... Это ж вся жизнь теперь изменится, всё по-другому пойдёт. А?

— Такие дела... в один миг не решаются. Потерпи до утра — мой совет, а там, может, передумаешь.

— Может, — согласился Петька. Он замолчал, думая о чём-то своём. Немного погодя произнёс вслух резолюцию своим мыслям: — На меня он похож — это факт. Я свои фотографии помню в этом же возрасте. Вылитый...

— В этом возрасте все на одно лицо. Для пущей гарантии можно твою и его кровь на анализ отдать. Установят процент тождества.

— Ты что! — Петька встрепенулся и опять принял сидячую позу. — Ему ж больно будет. Додумался! Из-за чепухи ребёнка мучить... Я же чувствую — мой сын. Чувствую — и всё тут. Лучше всякого анализа, понимаешь?.. А Ленку я перевоспитаю. Она, ничего, перевоспитается...

Календарик

Вспоминалось только хорошее. Плохое не задерживалось в памяти: от него осталось расплывчатое, неконкретное ощущение, которое уже ни в коей мере не влияло на оценку того периода жизни. Все коллеги-преподаватели, директор, завуч, районный инспектор-куратор вспоминались добрыми и милыми людьми. В школе было много молодых учителей, не отвыкших ещё от студенческих привычек и традиций. С ними весело работалось и отдыхалось, и грустно думать теперь, что они уже без него продолжают жить своей весёлой компанией. Элегантная блондинка Ирочка, преподавательница немецкого, наверное, по-прежнему сдержанно улыбается на шутки и комплименты физкультурника Кочкина... Последнее время что-то подозрительно часто вспоминалась эта элегантная Ирочка. И даже начала являться в коротких солдатских снах...

— Рядовой Шагалов!

— Я!

— Рядовой Яснов!

— Дежурит!

— Вольно, разойдись!

Вечерняя поверка закончилась. Казарма наполнилась шумом голосов, топотом сапог. Из дверей спального помещения быстрым шагом вышел ротный старшина прапорщик Пашков.

— Что, высшее образование, задумался? — скривив недовольно губы, спросил старшина. — Дневальный должен стоять у тумбочки, а не сидеть на ней. Усёк?

Савычев опоздало вскочил, поправил на ремне штык-нож. Слова старшины шаркнули по размякшему в воспоминаниях сердцу, точно наждачной бумагой: слишком резким получился переход от туманного образа Ирочки к реальной фигуре прапорщика Пашкова.

— Так точно, усёк! — помня опыт семимесячной службы, как можно бодрее и не проявляя обиды, ответил Савычев.

Старшина ушёл в свою каптёрку. По-видимому, сегодня он был не в настроении. Обычно вечернюю поверку проводил кто-нибудь из сержантов. Если вечером к отбою в казарму заявлялся сам Пашков и,

если ещё со своей собакой Машкой, значит жди внутренний наряд, разгона и дополнительной работы.

Захлопала коридорная дверь, которая была прямо напротив тумбочки дневального. Со второго этажа казармы потянулись к умывальнику ребята из первой роты: раздетые по пояс, в нательных рубашках, с полотенцами, повязанными на шее. Из второй роты, в которой служил и Савычев, тоже прошли в умывальник несколько человек. В роте связи, на втором этаже, численность личного состава была сто с лишним человек, а в нижней, роте радиолокации — примерно в три раза меньше. Локаторщики имели спальное помещение с койками в один ярус, а связисты — в два яруса. В своей роте Савычеву нравилось гораздо больше: она была чище, уютней и домашней, наверное, от того, что он уже привык к ней. Одно время преимуществом связистов было то, что в их ленкомнате стоял телевизор. Но найти там свободное место во время интересных передач было не так-то просто, тем более, если ты — человек из второй роты и прослужил недостаточно много. Но вот недавно командир локаторщиков добыл телевизор и для своей роты, и теперь у связистов, на взгляд Савычева, никаких преимуществ, одни только минусы. Даже покурить перед сном они шли не в свой умывальник, а спускались на первый этаж, будто бы их новый комроты с труднозапоминаемой литовской фамилией в пределах чужого подразделения теряет свою власть над ними.

Раньше у связистов командиром роты был капитан Балайкин, прозванный Балалайкиным не только за созвучие с фамилией. При Балайкине, если кому и доставалось от командира, так это часто менявшимся старшинам, а такие солдаты, как, например, рядовой Нечипор, понятия не имели о верхней пуговице на гимнастёрке. Теперь же Нечипор, осипший от непривычно застёгнутого крючка на вороте гимнастёрки, чтобы вздохнуть воздухом свободы, вынужден был уходить на гарнизонную свиноферму к своему земляку из хозвзвода.

Савычев посмотрел на настенные часы: до отбоя оставалось две минуты. Он заглянул в умывальник и объявил всем там находившимся:

— Две минуты до отбоя, — потом добавил для второй роты отдельно. — Пашков ещё здесь.

Связисты, делая вид, что не особо спешат, потянулись к выходу, бросая окурки где попало. Локаторщики вышли следом за ними.

Зайдя в спальное помещение, Савычев встал у выключателя, дожидаясь, когда стрелки часов покажут ровно десять. Если сидящий в каптёрке Пашков захочет к чему-нибудь придраться, то начнёт, конечно, с нарушения распорядка на каких-нибудь полминуты. Посмотрел на окна: открыты ли форточки.

Койки в казарме локаторщиков расставлены в четыре ряда, по названиям расчётов. Три расчёта — «Сатурн», «Ромашка», «Спутник» и

четвёртый ряд коек, взвод управления. У самой дальней койки «Сатурна» сидел на табуретке о чём-то задумавшийся «реликвия» — Коровкин, последний из демобилизованного этой осенью призыва. Коровкина же командир батальона лично — «за всё хорошее», то есть самоволки, препирательства и другие нарушения, велел попридержаться до особого распоряжения. Уже середина декабря — а особого распоряжения на Коровкина всё нет. Переслужив свои календарные два года, Коровкин достиг высшей, в солдатской иерархии, касты «дедов», являлся для молодых солдат полуреальным существом, оболочкой — ещё в армии, а душой — уже на гражданке. Его почти не задействовали в общеротных мероприятиях, не посылали дежурить на точку и он лунатиком слонялся по казарме, время от времени примеряя свою «парадку», висевшую на спинке кровати, точно команда на его демобилизацию могла последовать в любое время суток, и в его распоряжении будет одна минута, чтобы покинуть пределы гарнизона.

Савычев, дождавшись точного времени, крикнул негромко уставное «отбой» и повернул выключатель. Из темноты кто-то забурчал, мол, почему «отбой», а не «спокойной ночи». В отсутствие командиров, по традиции, полагалось пожелать спокойной ночи, но Пашков мог это услышать, и Савычев не захотел ради чьего-то удовольствия навлекать на свою голову лишние неприятности.

Старшина, тут как тут, появился в освещённом проёме дверей.

— Была команда «отбо-ой», — погрозил он в темноту, где скрипели кровати и негромко переговаривались. — Дневальный, — поманил он пальцем Савычева, — кого это я там вижу сквозь ночной туман?

— Это Коровкин, — объяснил Савычев.

Пашков вернулся в коридор, открыл двери умывальника, посмотрел с порога и спросил грозно:

— Что здесь такое творится, мать честная?!

Савычев, не заглядывая, знал, что там творится: накурено, окурки и спички на полу. И без напоминаний старшины ему предстояло сейчас наводить в умывальнике порядок, как это всегда делалось после отбоя.

— Сейчас уберу.

— Форточку открой, — добавил Пашков.

Опять же прекрасно зная, что стекла в форточке давно нет, Савычев не стал спорить, прошёл к окну, открыл пустую форточную раму.

— Мать честная, — опять заворчал недовольный Пашков, — а у тумбочки почему никого нет? Ты почему пост оставил?..

Савычев незаметно вздохнул. Направился в «красный угол», позвал оттуда дежурного по роте ефрейтора Сорокина, смотревшего по телевизору футбольный репортаж. Сорокин, щурясь от яркого света в коридоре, вопросительно посмотрел на Пашкова. Тот, загибая пальцы, перечислил все свои указания, потом запер дверь каптёрки и с недовольным видом ушёл.

— Начинай уборку, — велел Сорокин и вернулся досматривать футбол.

То, что старшина ушёл, уже было хорошо. Он мог засесть в казарме до полуночи, создавая своим присутствием лишнее напряжение: с поста дневального не сойдёшь, не посидишь у подоконника в тишине и одиночестве, наедине со своими мыслями. В армии у Савычева почему-то появилась постоянная потребность поразмышлять о самом себе, о своей жизни, перебрать в памяти прошлое, пометать о демобилизации и последующих после службы изменениях.

Савычев вычистил содой медные носики кранов, водой из шланга вымыл кафельный пол умывальника. По коридору раздались шаркающие шаги и в умывальник зашёл мучающийся бессонницей Коровкин. На ногах у него были сшитые из голенищ сношенных сапог тапочки. Коровкин сел на корточках у батареи, прижавшись к ней спиной в нательной рубахе.

— Садись, покурим, — предложил он, протягивая Савычеву сигарету.

Савычев отряхнул руки, взял за кончик сигарету. Коровкин молчал, погрузившись в своё лунатическое состояние.

— Садись, — наконец кивнул он Савычеву, — что стоишь, как перед генералом... Ты какой закончил, педагогический?

— Университет, биофак.

— А чего учителем пошёл? Нравится, что ли?

— Послали по распределению... Отслужу — а там видно будет.

— А чем занимаются биологи твои? В целом, как наука? — Коровкин сигаретой нарисовал в воздухе круг.

— В целом-то... Изучением всего живого.

— Интересно?

— В целом-то... интересно, — улыбнулся Савычев.

— А в университет труднее поступать, чем в институт?

— Это смотря где какой конкурс, — Савычев пожал плечами.

Коровкин опять замолчал, потом, будто стесняясь чего-то, сказал:

— Я думаю тоже куда-нибудь на следующий год поступать. За полгода успею подготовиться, как думаешь?

— Ну, это опять же, смотря куда поступать, — ответил Савычев. — Ты по какому профилю желаешь?

— Точно ещё не знаю. И туда хочется, и сюда... Но одно знаю — надо к чему-то стремиться. Я вот всю службу вспоминал, как на гражданке жил. Чёрт-те что, а когда-то считал, что так и надо: на заводе «восьмёрку» оттрубил, пришёл домой, на диване повалялся, на гитаре побренчал — и во двор к ребятишкам. В час, в два ночи вернулся, на диван плюхнулся, утром — снова на работу... О чём мечтал — о «Яве» с никелированными крыльями и о самостоятельности, чтобы никто над душой не стоял. Дальше недели вперёд никогда не задумы-

вался... Эх, но почему-то сейчас к этому уже не тянет. Может, характер мне в армии сломали, другим сделали. Буду теперь каким-нибудь затюканным, а?

— Вполне возможно, — поддакнул Савычев, — под влиянием обстоятельств характер изменился, приспособился, так сказать, к среде обитания.

— Ты не обижайся, — сказал Коровкин. — Тебе сколько лет?

— Двадцать пять.

— Ну, а мне двадцать один... Хотя младше тебя, но опыта, по моему, побольше. Опыт, он от возраста не всегда зависит. И насчёт среды — тоже скажу... Только ты, предупреждаю, не обижайся: подделываться под каждую и всякую среду, так сам себя не узнаешь потом. Это всяким гадам удаётся подстраиваться. Я, когда в армию шёл, того и боялся, что не самим собой вернусь, обломают меня... По-моему как: если подстраиваешься под кого-то, значит — слабый, а если слабый, то способен на подлость, предательство. Самим собою нужно оставаться в любой среде...

В умывальник заглянул ефрейтор Сорокин.

— Савычев, давай, в уголке прибирайся...

— Сам приберёшься, — не поднимая глаз на Сорокина, ответил за Савычева Коровкин.

Сорокин вытянул шею, рассмотрел, кто ему ответил, и без слов закрыл дверь.

— Вот видишь, — Коровкин достал из кармана брюк блокнотик, из него вынул два маленьких календарика, какие Савычев видел у многих ребят, ведущих счёт дням до конца службы. — Два года жизни, — со значением и грустью в голосе проговорил он, — и на каждом поставлен крест. Эх, — Коровкин махнул рукой, — пойду, может быть, усну.

К часу ночи почувствовалась резь в глазах от яркого света пятисотваттной лампочки, горящей в коридоре над тумбочкой дневального. Сорокин закончил рассказывать о своём любимом городе Смоленске и принялся маятником ходить от одной стены коридора до другой, наигрывая губами «бум-бум-бум» марш «Прощание славянки». Потом ему надоело и это, он перестал шлёпать губами и спросил у Савычева:

— Как, Санёк, тяжело служить, а?

Сорокин задавал подобные вопросы, наверное, уже раз десять, видимо, чувствуя какое-то удовлетворение, что для него уже позади то, что для других, кто моложе его по службе, ещё в тягость. По мнению Савычева, Сорокин был добрым парнем, отслужил всего на полгода больше, любил поболтать о всяких несущественных вещах, но его слабость — относиться к собственной персоне с подчёркнутым уважением — порою раздражала. В текущей службе Сорокина ничего особенного не происходило, что было бы способно вызвать к нему уважение, и поэтому он сам выдумывал истории из своей граждан-

ской жизни, в которых его личность наделялась смелостью, находчивостью и беспашанностью. В любом сорокинском рассказе, где бы имелось местоимение «я», можно было давать гарантию, не содержится и доли правды.

— А что в ней тяжёлого, служба как служба, — нарочно весёлым голосом ответил Савычев.

— На то она и служба. Армия кого хочешь человеком делает, — всё равно посочувствовал Сорокин тоном старшего. — Я, вот, когда молодым был, знаешь, сколько горя хлебнул?.. Сейчас не то, теперь, что ни говори, служить легче стало...

Иной раз на вечерней поверке кто-нибудь из старослужащих сержантов, проводящих переключку, доходя до фамилии Сорокина, выкликал:

— Ефрейтор-р Сорокин-р-р!

Наверное, это и возвращало мысли Сорокина к тяжёлым временам в начале службы, когда он, переведённый с карантина во вторую роту и определённый в расчёт «Сатурн», по указанию старшины на подкладке своей шинели выжиг содой номер военного билета и фамилию, чтобы его новая шинель не спуталась с чьей-нибудь поношенной. Для большей конкретности Сорокин добавил и название расчёта, которое понравилось ему своим космическим звучанием: буквами толщиной в палец написал «Сатун». Через несколько дней ему указали на ошибку, он ещё раз развёл соду и дорисовал недостающую букву «р». Получилось «Сатунр». Позднее, чтобы над ним не смеялись, он густо замазал содой всё название так, что расплылась подкладка шинели, и за порчу казённого имущества получил от Пашкова два первых наряда вне очереди. Старшина, любитель народной мудрости, подвёл итог его стараниям: «Не суйся в волки, коль хвост собачий». И добавил: «Товарищ Сорокин-р-р».

— Плохо, что вам в расчёт молодёжь с этого призыва не дали, — посочувствовал Сорокин. — Ты, Санёк, так и остался самым молодым. Наряды все опять на тебе будут, все кухни на тебе, и рубон на точку таскать — тоже тебе.

— Самым молодым, — кивнул Савычев и усмехнулся.

— Ты Михайленко будешь поднимать?

— А как же?! Я своё отстоял и за него дневалить не собираюсь.

Сорокин, замаявшись, сказал:

— Я подумал... он же с твоего расчёта, ты — самый молодой в расчёте, тебе положено...

— Я по возрасту старше всех в роте, — обозлился Савычев. — Вот своё достою и уйду спать. А ты решай, ты — дежурный, кто там дальше дневалить будет.

— Ну, Санёк, это ты того... — заволновался Сорокин. — Ты когда тоже дослужишься...

— Ты меня не уговаривай. Я сказал, значит — всё.

— Ну, смотри... Я пока пойду в бытовку, письмо одной подруге напишу.

Сорокин ушёл. Савычев, покружив немного по коридору, зашёл в спальное помещение, встал у окна. Во дворе казармы блестели от лунного света сугробы снега, на них ломаными линиями легли тени высоких корабельных сосен. Вдали высвечивалась похожая на китайскую пагоду метеовышка с поникшей в безветрии полосатой «колбасой». Скользя по стеклу, по ту сторону окна, медленно спускались крупные мохнатые снежинки.

Далеко от запрятанного в лесах и болотах аэродрома сверкают огнями города, по улицам мчатся машины, автобусы и трамваи развозят по домам людей. Люди расходятся по уютным квартирам, пьют чай и не спеша ложатся в постели. Им не нужно побаиваться, засыпая, что сон их внезапно прервёт резкая команда «подъём», их сон не зависит от воли чужих людей, они спят столько, сколько им хочется, прижимаясь щекой к ласковой подушке.

Савычев прошёл к кровати Михайленко. Тот спал на спине, вытянувшись, сложив руки на груди, как повергнутый монумент. Обмякшие во сне щеки лежали на подушке и подрагивали от похрапывания. Савычев легонько толкнул его в плечо.

— Вставай, Борь, моё время кончилось, — Савычев потряс его сильнее.

— Чего? А? — Михайленко открыл глаза, непонимающе посмотрел на Савычева. — Давай, давай... — он повернулся на бок и опять всхрапнул.

— Я ложусь, — громко предупредил Савычев.

Михайленко ничего не ответил. Савычев постоял у его койки, потом пошёл к бытовке, но её дверь оказалась запертой. Он направился к кровати Сорокина.

Ефрейтор, свернувшись клубком, тихо лежал, накрывшись с головой одеялом.

— Сорокин, — шёпотом позвал Савычев. — Сорокин...

Сорокин проклянулся из-под одеяла и несонным голосом спросил:

— Ну, чего? Видишь. Я уже сплю.

— Поднимай Михайленко. Я его будил, он не встаёт.

— Ну, ещё побуди... Что ж, мне из-за этого подниматься?

— Я тебя предупредил, — твёрдо сказал Савычев. — Всё, иду спать.

Сорокин со вздохом поднялся, подтянул кальсоны и снова сел на кровать.

— Ну, что вы — как маленькие... Без меня, что ли, не разберётесь. Не видишь, я уже сплю... Обязательно разбудить надо.

— Спи, чёрт с тобой, — Савычев расстегнул ремень и направился к кровати Михайленко.

Подойдя, стянул с Михайленко одеяло, кинул ему на живот штык-нож в холодных металлических ножнах.

— Чего, а-а? — встрепенулся Борька. Нашарил штык и с недоумением посмотрел на него.

— Ничего, вставай... Твоя очередь.

Михайленко шмякнул на пол «солдатский кортик» и сел на кровати, глядя на раздевающегося Савычева. Почёсывая грудь, пробасил:

— Борзеешь, биолух...

Савычеву подумалось, что сейчас бы тактически верно было постонать немножко, что, мол, сильно устал, «прикинуться шлангом», или, как говорят у них в батальоне, «замкнуть на массу». Можно было бы и припугнуть Борьку дежурным по части, но... ни того, ни другого не хотелось. Савычев, не отвечая на угрожающее бухтение, снял сапоги, разматал портянки.

— ...А чтобы служба мёдом не казалась некоторым педахохам... создадим условия... Умнее других себя считают. Чтобы служба мёдом не казалась...

«Конечно, — подумал Савычев, укрываясь одеялом, — Борька может договориться с другими ребятами из расчёта, и для него всегда найдётся лишняя работа, которую надо делать, но можно и не делать».

Наконец-то дождавшиеся сна глаза защипало, как будто пришлось перечистить в кухонном наряде целый бачок лука. Сон навалился блаженной тяжестью, вдавив голову в подушку — и перед закрытыми глазами засверкала разноцветными лампочками новогодняя ёлка... Прошлый Новый год встречали на квартире Игоря Ради́на. Собрался почти весь коллектив молодых учителей, были несколько пришлых знакомых. Игорь сел за пианино, дурачась, исполнил несколько романсов, посвящённых элегантно́й Ирочке. Тётка Игоря уставляла стол тарелками со студнем, салатами и ещё чем-то неизвестным, с изумительно-аппетитным запахом. Все весёлые, хохочут. В комнате полумрак, только свет ёлочных огней и торшера в углу. Под торшером в сверкающем чёрном платье с открытой спиной сидит Ирочка и, сдержанно улыбаясь, играет цепочкой с медальоном. Стрелки подходят к двенадцати... Руслан говорит тост о мудрых наставниках молодёжи... Михайленко грозит вправить мозги оборзевшим педахохам... Пахнет вкуснятиной с неизвестным названием... Луковый сок жжёт глаза... По хрустальным граням бокалов скачут разноцветные звёздочки...

Целую неделю подряд перед Новым годом мели метели. Вместо физзарядки, с подъёма до завтрака, обе роты батальона связи отправлялись на уборку снега. Во главе со старшинами, вооружённые разнокалиберными инструментами, построившись в две колонны,

они уходили на борьбу с опостылевшими осадками. В казарме оставались лишь внутренний наряд и всё ещё ждущий особого распоряжения Коровкин.

Связисты отходили от казармы чётким ровным строем, печата шаг, как на занятиях по строевой подготовке. Прибыв на выделенную территорию, первая рота будто растворялась в воздухе или полглухариному ныряла в снег. Строгость командира роты на расстоянии теряла свою магнетическую силу над ними: будто гвозди, удалённые от скрепляющего их магнита, они рассыпались и катились, кто куда только может. Старшина связистов с небольшой группкой молодых солдат едва поспевали за локаторщиками. Но к положенному времени первая рота в полном составе строилась в ровную колонну и, печата шаг, возвращалась в казарму.

Тем, кто дежурил на точках, наоборот, из-за долговременных осадков жилось вольготной жизнью. На десять дней был объявлен сплошной отбой полётов. Расположенный в труднодоступном месте, «Спутник» вообще обленился, дежурная смена не явилась в гарнизон даже в банный день.

В завтрак и обед Савычев с вещмешком на спине доставлял на точку щи и кашу, а ужин дежурной смене выдавался сухим пайком и это немножко облегчало положение кормильца. Иногда, правда, со «Спутника» звонили в роту и отказывались от обеда: это значило, что им в петлю попался заяц или куропатка. Таскать на точку провизию было нелёгким делом, особенно зимой, когда приходилось пробираться по снегу около пяти километров. Ветер обжигал лицо, сзади, через шинель, припекали бачки с горячими щами, иногда проливающимися.

С другой стороны, Савычеву нравилось уходить на точку: во время пути чувствовал себя свободным и независимым. И сам объект выглядел таким романтическим зимовьем. Маленький домик из трёх комнатшек в окружении молоденьких стройных сосен, чуть поодаль — укрытый маскировочной сеткой локатор и два дизеля; за оградой — маленькая речушка, потом поле и, в самой дали — синеющий массив леса. Сугубо городскому человеку Савычеву, видевшему до этого красоту природы лишь в обрамлении картинной рамки, не считая пригородных вытоптанных посадок, пейзажи пригарнизонного зимнего леса казались то случайным мгновением, как промелькнувший кинокадр, то какой-то чрезмерной расточительностью красоты — красота на огромном безлюдном пространстве, сама по себе, ни для чьей пользы.

На точке обычно дежурили три человека: два радиооператора, один электромеханик. Зимой, из-за труднодоступности объекта, командиры и проверяющие наведывались туда редко, служба у дежурной смены проходила в более свободном режиме, чем в гарнизоне.

При условии, разумеется, что обслуживание полётов шло без замечаний и предпосылок к лётным происшествиям.

После завтрака Савычев стал собираться на точку. Уложил в вещмешок термос с кашей, буханку хлеба и стакан с порциями масла и сахара. Старшина Пашков ходил по казарме и поторапливал всех на утренний развод. Из коридора слышался голос подошедшего командира роты капитана Барсукова, разговаривающего с офицерами. Пашков остановился около сидевшего на подоконнике Коровкина.

— А ты чего, мать честная, на развод не собираешься? Дедуля, всеми позабытый...

— Не пойду, — угрюмо ответил Коровкин.

— Опять за старое... Из-за своих выкрутасов и мучаешься. Не можешь потерпеть?..

— А что мне: дальше тридцать первого декабря всё равно не задержат, не имеют права. А из-за каких-то трёх оставшихся дней...

— Ты мне брось эти свои закидоны. И вообще, встань с подоконника, — скорее просяще, чем в приказном тоне сказал Пашков. — Я сейчас к Барсукову подойду насчет тебя. А ты, давай, на развод одевайся. Я тебе просто по-свойски советую.

Савычев посмотрел на направившегося к вешалке за шинелью Коровкина, жалея его и, одновременно, осуждая за невыдержанность. Коровкин слишком контрастно воспринимает действительность: если она соответствует его представлениям о справедливости, он готов перевернуть горы; если же нет — начинает делать всё назло и, в первую очередь, назло самому себе.

— Давай, я отнесу, — сказал подошедший помкомвзвода «Спутника» Красиков. — У вас всё равно занятия сегодня, с точки заставят вернуться в роту. А в обед и на меня порцию прихватишь.

— С превеликим удовольствием, — согласился Савычев.

Начальник штаба батальона руководил построением. Батальон построился в две шеренги, лицом к казарме. Ожидали появления комбата, который с командирами рот проверял внутренний порядок. Из дверей вышел командир роты связистов, большеголовый, с жёстким выражением глаз, встал на фланг своей роты и высоко вздёрнул подбородок, хотя команды «смирно» ещё не подавали. Потом показали Барсуков и комбат. Командир батальона подполковник Пасыгин что-то внушал Барсукову, тот молчал, но по лицу было заметно, что он не согласен с подполковником.

Капитан Барсуков встал в строй и глазами поискал кого-то среди своих солдат.

— Сми-и-рно! — зычно скомандовал начальник штаба, вздёрнув ладонь правой руки точно под срез шапки.

Невысокого роста комбат, глядя в грудь начальника штаба, выслушал рапорт и скомандовал «вольно».

— Сегодня — день учёбы, — густым голосом сказал он, прохаживаясь перед строем. — Явка чтобы была сто процентов. На объектах оставить минимум людей. Полётов нет — нечего там сачковать. Пусть учатся и занимаются хозяйственными работами. Сначала будет политинформация, а за это время обеспечить явку дежурного персонала. Старшинам продумать фронт хозяйственных работ. В шестнадцать ноль-ноль командирам рот собраться в штабе... Ещё что? — вслух спросил сам себя комбат. — Больше ничего, всё... А-а, — он встретился взглядом с Барсуковым, — вот ещё что. Рядовой Коровкин, выйти из строя!

Коровкин, в седой от старости шинели, пережившей, наверное, не менее пяти призывов, с отсутствующим выражением лица вышел развернулся на каблуках, встал, как всегда готовый в таких случаях, незамедлительно отправиться с дежурным по части к коменданту гарнизона за запиской об арестовании.

— Вот, смотрите, товарищи солдаты, — прогудел комбат, указывая на Коровкина. — Этот ваш товарищ отслужил два года. Его товарищи, однопризывники, давно уже дома мамкины пирожки кушают, а он ещё... — комбат не закончил и перешёл к другой мысли. — Сколько раз я вот так вызывал его перед строем и объявлял ему то по трое суток, то — по пять, а то и по десять суток ареста. Плохо служил Коровкин, плохо. Поэтому он сейчас здесь, а не дома. Но я долго зла помнить не умею, разрешаю тебе, Коровкин, после политинформации зайти в штаб за обходным листом и, если успеешь до вечера оформиться, можешь сегодня уезжать. Помни, Коровкин, всегда, чему тебя учили командиры и армия. Становись в строй.

Коровкин, наклонив низко голову, козырнул и вернулся на своё место.

На политинформацию собрались в спальном помещении первой роты. Впереди поставили принесённую из ленкомнаты трибуну, на прикреплённом к потолку турнике повесили карту мира. Расселись на составленных табуретках и стульях. Находясь после завтрака в хорошем настроении, ребята весело галдели, затеяли шумную возню, как на школьной перемене.

Савычеву с утра тоже становилось легче на душе. Особенно, когда была ясна задача на текущий день. Служба, на первый взгляд, вроде бы и тяжела своей размеренностью и однообразием, но в рамках одного дня она, напротив, тяготит неопределённостью: куда пошлют, что заставят.

Дежурный подал команду: «Встать! Смирно!». К трибуне прошёл лейтенант Кашников, прямой командир расчёта «Спутник». Кашников год назад окончил училище. В гражданской одежде, длинношей и лопоухий, он ничем не отличался бы от мальчишки-допризывника, но зато командир «Спутника» обладал таким запасом уверенности в

себе, что хватило бы на двух ветеранов. До него расчётом командовал капитан Белых, по образованию — техник, и поэтому, с приходом Кашникова, перешедший в его подчинение. Белых долго с новым командиром не прослужил и перевёлся в другую часть. Но Кашников при случае любил упомянуть, что командовал капитанами.

— Тема моей политинформации — состояние политической обстановки в мире, — начал Кашников, строго осмотрев аудиторию. — Вольно, садись.

— Товарищ лейтенант, а про «зелёные береты» расскажете? — спросил кто-то из задних рядов.

— Тема, повторяю для глухих, обстановка в мире...

— Ну-у-у, — разочарованно загудели в нескольких местах. — А про «зелёных беретов»... Вы так интересно рассказываете...

Как-то, прошедшим летом, на одной из проводимых бесед с личным составом Кашников, в виде отступления, рассказал об американских рейнджерах «зелёные береты»: какие у них методы подготовки, отбора и тактики боевых действий. Потом, в атмосфере взаимного интереса слушателей и докладчика, перешёл к демонстрации «засекреченных приёмов» джиу-джитсу и каратэ.

— Прекратить пререкания, — Кашников постучал указкой по трибуне, развернул принесённую с собой тетрадь и начал обзор событий.

Кашников читал, не отрываясь от тетрадки, иногда вскидывал голову и строго смотрел туда, откуда слышалось шушуканье. Из коридора донёсся голос начальника штаба. Кашников взял указку, подошёл к карте, громко сказал:

— В настоящее время в этом регионе сложилось сложное политическое... Опасная ситуация, — он прочертил указкой круг по центру Африки и посмотрел на двери из коридора. — Сложная политическая ситуация сложилась в этом регионе, — повторил он погромче и ещё раз обвёл указкой круг. Голос начштаба затих где-то внизу лестницы. Кашников вернулся к тетрадке. — Табачков! — прикрикнул он на одного из солдат первой роты. — Ты чего такой весёлый? Я о чём сейчас рассказывал?

— Об Австралии, — ответил улыбающийся Табачков, услышав сзади чью-то подсказку.

— Об Австралии, — передразнил его Кашников. — А ты знаешь, где эта Австалия находится?

— Там, — кивнул Табачков на карту.

— Где — «там»?

— Ну, вон, в море, справа...

— Садись, — махнул ему Кашников, довольный общим смехом над Табачковым.

«Совсем, как в школе», — подумал Савычев, смеясь вместе со всеми.

После перерыва капитан Барсуков велел своей роте собраться в

классе техучёбы. Занятия по матчасти будет вести он. С «Ромашки» и «Сатурна» прибыли по два человека из дежурных смен, а со «Спутника» никто не явился. Кашников разозлился, отчитал подвернувшегося под руку Михайленко, велел ему позвонить на «точку», чтобы оттуда Яснов и Вахрамеев шли на занятия.

— Почему я? — пытался улизнуть в курилку Михайленко. — Вон Савычев стоит, пусть позвонит.

— Ты же знаешь, что, в отсутствие Красикова и Помазкова, ты — старший в расчёте. Должен был уже давно выяснить, почему не выполняется приказ, мой и командира батальона... Понадеяться на тебя нельзя. Савычев, звони на «точку».

— Я сам, — согласился вдруг Михайленко. Засунул папироску за ухо, пошёл к телефону. Ожидая, пока телефонистка соединит его, отставил в сторону ногу и постукивал носком сапога по полу. — Алле, «Спутник»? Кто? Михайленко говорит! Яснов и Вахрамеев — срочно в роту. Ничего не знаю! Приказ лейтенанта Кашникова.

Положив трубку, Борька басом доложил:

— Товарищ лейтенант, ваше приказание выполнено. Сейчас придут.

Кашников довольно кивнул. Михайленко посмотрел по сторонам, наверное, раздумывая, в чём бы ещё проявить себя, с командирскими нотками в голосе обратился к Савычеву:

— Саша, кровати в нашем ряду неровно что-то стоят. Поправь-ка. Лейтенант Кашников ещё раз одобряюще кивнул.

Капитан Барсуков начал занятия сразу с дела.

— Разберём радиолокационную станцию сантиметрового диапазона. Повзводно занятия проводить не будем: рота сейчас у нас и так чуть больше взвода, нет смысла. Как вам известно, у нас на вооружении в батальоне РЛС сантиметрового, миллиметрового и метрового диапазонов. Сантиметровый возьмём для примера, имеющиеся отличия отмечу. Итак, кто у нас здесь с «Ромашки» — ваша родная станция. Назовите-ка мне сердце вашего локатора?..

Барсуков в чётком быстром ритме излагал тему, по ходу, не прерываясь, отыскивал в стопке нужную схему, пояснял по ней, переходил к другому блоку, ясно выделяя его место в едином устройстве локатора, как бы сцепляя блок за блоком в правильную цепочку — и сразу становилось ясно и понятно, что для чего служит. Рассказывая, он одновременно задавал и вопросы, в том же быстром темпе требуя на них ответа, держал этим постоянное напряжение в классе. Он словно создавал своей энергией турбулентные потоки воздуха, втягивающие в себя слушателей и помимо их воли. Смеющиеся, иссиня-чёрные глаза капитана гуляли по лицам солдат, не давая отвлечься, возникающий шепоток он ликвидировал, не тратя слов и времени, просто бросая в нарушителя очередной свой вопрос.

Своего командира роты Савычев слушал с чисто профессиональным интересом, как преподаватель, завидуя его умению держать в руках аудиторию при изложении вроде бы малоинтересного материала. Материал, занимающий в сборнике техинструкций сорок листов мелким шрифтом, на чтение которого ушло бы не меньше двух часов, Барсуков выдал за сорок минут доходчиво и полно. От умственного напряжения сидевший рядом Михайленко аж залоснился, толстые щёки и кончик носа покрылись капельками пота, пышный кудрявый чуб прилип ко лбу. Их комвзвода Кашников тоже, видимо, старается под Барсукова, но у него получается, как говорит прапорщик Пашков: «Ни богу свечка — ни чёрту кочерга».

Яснов и Вахрамеев на занятия так и не явились. Лейтенант Кашников переобулся в валенки и с решительным видом сам собрался на объект устраивать там разгон по полной форме. Михайленко и Савычеву после занятий приказал тоже прибыть на «точку».

— А обед? — спросил Михайленко.

— Значит после обеда. Не задерживайтесь. Скажите, я приказал.

Следующий час занятий вёл какой-то незнакомый старлей с эмблемами химвойск. Читал о противохимической защите. Его слушали вполуха, незаметно занимаясь своими делами. Михайленко выложил на свою тетрадку два календарика: один — почти весь зачеркнутый, только оставшиеся до Нового года три дня не были помечены крестами; другой был совсем новый, без пометок. Михайленко, шевеля губами, принялся что-то высчитывать по нему.

— Осталось мне сто сорок дней, — довольный подсчётом, шепнул он Савычеву. — Не считая трёх дней в этом году.

— Ну и что? — ответил тихо Савычев. — Зачем ты их считаешь? Время от этого быстрее не полетит.

— Ну-у, интересно просто. И вспоминать потом буду. Вот эти дни, — Борька показал на старом календаре обведённые кружком дни, — я в увольнении был. Вот эти — в квадратике — когда посылки из дома получал. Это — когда благодарности объявляли... У меня всё обозначено. А вот тут, — он показал на новый календарик, — в марте отпуск себе помечу.

— Тебе что, отпуск объявили? — удивился Савычев.

Борька хитро улыбнулся.

— Думаю, должны объявить на День Советской Армии. Мне так кажется.

Мела встречная позёмка, от ветра каменело лицо, холод пробирался под полы шинели и за ворот гимнастёрки.

— Эх, сейчас бы шерстяной шарфик длиной в два метра, — помечтал вслух Савычев, поднимая воротник шинели.

Они с Михайленко вышли на заснеженное аэродромное поле, где

ветер беспрепятственно проверял свою силу, шквальным зарядом подавал то с одной, то с другой стороны. По занесённой снегом тропинке прошли мимо самолётной стоянки, вдоль которой, припльсывая, ходил закутанный в длиннющий тулуп часовой. Контуры зачехлённых истребителей неузнаваемо облепило снегом. Тропинка вывела к домику парашютно-десантной службы, куда по пути на «точку» обычно заходили, чтобы позвонить дежурному по аэродрому и спросить разрешения пройти через полосу. На этот раз такой надобности не было: по взлётно-посадочной полосе с рёвом ползали снегоуборочные машины и смонтированными на них самолётными турбинами очищали от снега бетонку. Взлётно-посадочная полоса, ВПП — святая святых в авиации, всегда должна быть в полной готовности.

За домиком ПДС тропинка кончилась. Дальше, до противоположного края аэродрома, предстояло пробираться по глубокому снегу почти вплавь.

Михайленко чертыхнулся. Ползти по снегу без помощи рук оказалось не так-то легко, а в руках у него две буханки хлеба, завернутые в газету. У Савычева хоть и тяжёлый вещмешок за спиной, но зато — свободные руки. Оглянувшись на бултыхающегося Борьку, Савычев увидел догоняющих их Яснова и Вахрамеева.

— А вы откуда? — удивился облепленный снегом Михайленко.

— В домике ПДС сидели, вас встречали... Кашников на «точку» появился, а мы сидим, самолётики пилим. Раскричался, плексиглас поотнимал, побросал в печку. У меня один почти готовый был уже, — пожаловался Вахрамеев.

Яснов сразу стал ругаться, почему не предупредили, что Кашников направился к ним. Савычев посмотрел на Михайленко. Тот невозмутимо оправдался:

— А мы откуда знали? Мы на занятиях сидели.

— Раз, говорит, приказ своевременно не выполнили, давайте сейчас в гарнизон шагайте, — продолжал рассказывать Вахрамеев. — Придёте туда, доложите кому-нибудь из офицеров, и обратно придёте... Ну, мы до ПДС дошли, оттуда в роту позвонили дневальному, чтобы, если Кашников позвонит о нас спрашивать, он сказал, что мы были и ушли. Вот сидели, вас дожидались, чтобы и с вами договориться.

— Воспитатель, тоже мне, нашёлся, — проворчал Яснов, пробивая впереди всех дорожку в снегу. — Что ему от нас надо? Служим без нарушений, полёты обеспечиваем без замечаний — ну, и сиди себе спокойно, дожидайся третьей звёздочки на погонах...

От плаванья по снегу, несмотря на холодный ветер, сделалось жарко. В сапогах растаял набившийся туда снег, мокрые портянки сбились комком и мешали идти. «Будет что вспомнить потом, — размышлял Савычев. — Когда в жизни всё хорошо и легко, то этого не осознаёшь. Потому что сравнивать не с чем. Вот, в роте сидел — теп-

ло, портянки сухие, а не ценил. А как поплаваешь по сугробам, промокнешь, продрогнешь... Не узнав плохого — не поймёшь хорошего. Диалектика...»

Пройдя с полчаса по лесу, подошли к миниатюрному шлагбауму из ствола сосенки. Вот и домик, занесённый снегом, с дымком над крышей.

В большой комнате, где топится печка, Кашников со своим любимчиком младшим сержантом Помазковым играют в шахматы. Сержант Красиков, подперев кулаками щёки, слушает радио.

— Ага, явились, — недобро сказал лейтенант, когда четвёрка вошла в комнату. — В роте были?

— Позвоните, узнайте, — ответил Яснов, снимая у печки сапоги.

Красиков развязал вещмешок, расставил на столе тарелки, начал доставать бачки с супом и кашей. Кашников строго посмотрел на него и сказал, чтобы обедали на кухне.

— Там холодно, товарищ лейтенант.

— Сами виноваты. Почему печь не топите?

— Так мы экономим горюче-смазочные материалы, — улыбнулся Помазков по прозвищу «Йог» — худющий, как палка, даже ушитое обмундирование висело на нём бесформенным образом; смешливый и несерьёзный, но отлично знающий технику и поэтому получивший сержантские лычки.

Кашников промолчал и, приняв это как разрешение обедать в комнате, Красиков стал делить суп на четверых.

— А вы что, в гарнизоне не обедали? — спросил лейтенант пристраивающихся за столом Яснова и Вахрамеева. — Самолётостроители.

— На обед опоздали, — буркнул Яснов.

Михайленко сел на место Помазкова, собираясь сыграть с лейтенантом в шахматы, но тот встал из-за стола, прошёлся по комнате, пришаркивая валенками. Объявил:

— После обеда займёмся уборкой снега.

Помазков и Красиков заулыбались, нагнувшись над своими тарелками. Яснов вздохнул и покрутил головой.

— Ты что улыбаешься, Красиков, а? — спросил лейтенант. — В тарелке что-нибудь смешное обнаружил?

— Я просто так. Подумал про себя, зачем нам в лесу снег убирать. Может, лучше выборочную уборку проведём: под соснами уберём, а под берёзами не будем...

— Ты у меня договоришься, доулыбаешься, — пригрозил Кашников.

— Мне что, я — из Одессы, — примирительно оправдался одессит Красиков. — Я так... От обострённого чувства юмора...

Кашников, жмурясь, надел шинель, взял ключ от кабины локатора и позвал Савычева, собравшегося было просушить у печки сапоги:

— Саша, пошли со мной. Проверю, чему тебя научили эти оболтусы.

— Я тоже с вами, — собрался и Михайленко. — Всё-таки — мой ученик.

Но Кашников остановил его и перед уходом, значительно посмотрев на Красикова, сказал:

— А ты смотри... мне такие — помкомвзвода-одесситы — не нужны.

— А что я? — захолопал тот глазами. — Я — ничего.

Закрывая за собой дверь домика, Савычев услышал из комнаты бас Михайленко: «На твоё место педахоха целит...». И на душе сделалось неприятно, будто он в чём-то предаёт ребят.

В металлической кабине локатора было холоднее, чем на открытом воздухе. Непросохшие портянки смёрзлись в сапогах и давили ноги. Кашников пощёлкал кое-какими тумблерами, показал пальцем некоторые блоки, спрашивая, как они называются. Савычев ответил.

— Примерно так, — согласился лейтенант. Сел в кресло оператора и спросил: — Ты, Саш, как относишься к ребятам, к коллективу расчёта?

— Нормально отношусь, — удивившись вопросу, сказал Савычев.

— Ты всё-таки человек с высшим образованием. А они ж... пацаны ещё, несерьёзные и в основном — парни недалёкие. Тебе, наверное, тяжело им подчиняться и быть у них на побегушках?

— Да, как сказать, всякое бывает, — хмыкнул Савычев. — Подчиняюсь традициям...

— Ты как учитель в некоторой степени — мой коллега и должен быть мне первым помощником. Надо сделать наш расчёт образцовым, первым в батальоне. Понимаешь?

— По-моему, и сейчас у нас неплохо. Вы сами хорошо со всем справляетесь, товарищ лейтенант.

— Да, — кивнул Кашников, — я имею неплохие методические навыки. Умею добиваться своего, всегда настою на выполнении своих приказаний... Вот, к примеру, сегодня. Яснов и Вахрамеев обленились, попытались обойти мой приказ. Но я всё-таки настоял на своём. Будет им урок.

— Да-да, — согласился Савычев.

— Ты как педагог, специалист по воспитательному процессу, одобряешь мои методы, а?

Савычев непроизвольно улыбнулся, постучал сапогом о сапог.

— Ноги замерзают, товарищ лейтенант. А насчёт методов... мне кажется, что вы берёте пример с капитана Барсукова, только...

— Нет, пример командира для меня — капитан Межнаватис. Вот это настоящий, волевой офицер... А расчёт ко мне как относится? — поинтересовался Кашников.

— Капитана Межнаватиса солдаты не любят, — твёрдо сказал Савычев и попросил: — Пойдёмте в домик, товарищ лейтенант, ноги совсем замёрзли.

— А мы тут не для любви поставлены... Пошли. Закрывай кабину.

На крыльце домика стояли уже одетыми Красиков, Вахрамеев, Яснов.

— Вы куда это? — поинтересовался Кашников.

— Снег чистить. Вы же приказали, — смиренным голосом ответил сержант Красиков.

— Ну-ну, приступайте, — одобрил Кашников.

Яснов окликнул Савычева:

— Ты куда? А кто за тебя работать будет? — и протянул свою лопату.

Савычев согласно кивнул, вспомнил о замёрзших ногах, обратной дороге в гарнизон и спросил у лейтенанта о лишней паре валенок.

— Не знаю. Спроси у Помазкова, — посоветовал тот.

К вечеру разыгралась сильная метель. Антенна локатора испуганно попискивала то одной, то другой растяжкой. Командир взвода заменил смену, оставил дежурить Михайленко, а Яснову и Вахрамееву велел отправляться в роту. Обратный путь до гарнизона под ударами снежных зарядов показался в три раза длиннее. Пришли в казарму все исхлестанные снегом, с мокрыми лицами.

В казарме царило всегдашнее вечернее оживление: щёлканье теннисного шарика, звуки радио и телевизора; около кроватей взвода управления Витька Якупец, похожий на рыжего кота шофер комбата, закатыв глаза, пел под гитару:

— Как мне тяжело без любви твоей слу-у-ужится-я...

Вытерев полотенцем мокрое лицо, Савычев сел на табуретке возле своей койки. И сразу стало тягостно на душе. Беспочвенно. Как когда-то, в детстве, когда родители оставляли его у соседей. За окном темнело и на него наваливалось ощущение неприютности, своей ненужности тётке-соседке, угнетала зависимость и подчинение чужому поведению и чужому порядку. «Тяжело тебе, Сашка, служить будет, — говорила мать. — Ты — индивидуалист и притом изнеженный, слабохарактерный, обидчивый». Ему не хотелось, чтобы слова матери оказались правдой, и поэтому он внушал себе, что служить ему не очень-то тяжело, но в некоторые минуты он помимо своей воли признавал: действительно тяжело.

Повестку о призыве в армию он прочитал без особого огорчения: долг есть долг. Через несколько дней появилось даже радостное предвкушение какой-то новой жизни, романтической, настоящей, мужской. Представлял себя в ладно сидящей форме, лихо козыряющим — «есть», и бегущим по каким-то ступенькам исполнять полученный приказ.

А тяжесть солдатской службы заключалась вовсе не в его собственном индивидуализме. Сорок стриженных под машинку индивидуалистов вошли в гарнизонную баню и вышли оттуда неразличимые, как инкубаторские цыплята, но каждый — со своим индивидуализмом, который не смоешь за одну солдатскую баню и не сбросишь вме-

сте с гражданской одеждой. Однако уже за дорогу от бани до казармы пришлось пожертвовать малой толикой личной неповторимости — иначе не получалось идти в ногу...

И с первого же дня все новобранцы ожидали лихой службы: со всякими там бросками, прыжками, рывками, тревогами. Но очень скоро поняли, что этот фильм о военной романтике рассчитан не на полтора часа — на два года, и, не испытав ещё ни одной тревоги, ни одного марш-броска, почему-то утратили интерес к этим мероприятиям.

Савычев приучал себя к мысли, что положенные ему полтора года армейской службы, это — как засвеченный кадр на фотоплёнке: ничего полезного за время службы не приобретёшь, ничего интересно не увидишь, фотографий на память из этих кадров не получится. Жизнь, в хорошем смысле этого понятия, начнётся после демобилизации и зачем перечёркивать на календарике каждый день, лучше взять и перечеркнуть два календарика сразу.

Чтобы отвлечься, Савычев направился в ленкомнату, там хоть перед телевизором посидеть, посмотреть на гражданскую жизнь на телеэкране. В коридоре, у дверей каптёрки, Савычев увидел облачённого в парадную форму Коровкина.

— Всё? — спросил он, подойдя к Коровкину, и сам удивился, сколько чувства выразилось в этом вопросительном «всё».

— Всё, — кивнул «дед». — Уезжаю. Конеч.

— А почему такой грустный? Я бы на твоём месте... Представить только — завтра дома будешь...

— А-а, — обиженно махнул Коровкин. — Слышал утром... как меня комбат. Напоследок... и так... так сказать. А то, что хорошее было, забыли... Забыли, как по моему сообщению два самолёта спасли, когда они на одной высоте на встречных шли... Другие дурачками всю службу проболтались, только и пользы от них, что картошку на кухне чистили, выше специалиста третьего класса за два года не поднялись.. Им — почёт, значит, а я — враг народа...

Дневальный подал команду строиться на ужин. Савычев пошёл к вешалке за шапкой.

Из каптёрки вышли капитан Барсуков и старшина. Капитан подошёл к дежурному по роте и что-то ему сказал. Тот подал команду:

— Построиться в роте!

Построились в спальном помещении. Барсуков прошёлся перед строем, потом оглянулся на продолжавшего сидеть на табуретке Якупца и спросил его:

— Тебя не касается команда?

— Я поужинал, товарищ капитан...

— Я тебя не ужинать зову, а в строй, — капитан подождал, пока Витька положит гитару и встанет в строй, затем обратился ко всей роте: — Сегодня мы провожаем домой отслужившего действитель-

ную службу нашего товарища рядового Коровкина, — Барсуков показал на подталкиваемого сзади Пашковым виновника построения, который что-то с несвойственной скромностью никак не хотел выходить перед строем. Команды «смирно» не было, и все приветственно загалдели, Якупец крикнул «Ура!».

— Правильно, «Ура», — согласился Барсуков. — По-моему, при демобилизации из армии нужно устраивать выпускной бал, как при окончании школы или училища...

— И с банкетом, — добавил Якупец, скаля кошачьи зубы.

— Якупец, смирно. Остальные — вольно, — капитан посуровел, потом продолжил прежним голосом. — Армия — школа. Школа для мужчин, и не только потому, что женский пол освобождён от воинской обязанности. Хотя, мне кажется, что и некоторых типов с признаками... вторичными признаками мужского пола надо освобождать от воинской службы. Коровкин отслужил честно. Но, объективности ради, требуется сказать — не безгрешно с точки зрения устава. Главное, — капитан повысил голос, — он не подведёт в трудную минуту, в трудный час... Главное — он не останется позади, когда потребуется сделать шаг вперёд, чтобы отдать жизнь за Родину... Я в этом уверен, — спокойно сказал капитан и улыбнулся своими цыганскими глазами. — Хочу пожелать тебе, Володя, Владимир Степанович, от имени всей роты успехов в твоей гражданской жизни... Пройдёт немного времени и ты поймёшь, что армейские годы не пропали для тебя даром, забудешь свои обиды и злость, память не держит такой чепухи, и будешь вспоминать только хорошее. Это так. Убедишься.

Капитан протянул Коровкину документы, пожал руку. Тот стоял так же, как и утром на разводе, низко опустив голову. Только губы кривились и подрагивали.

Когда рота возвращалась из столовой, по дороге, в сторону КПП, удалялись Коровкин и старшина Пашков. Командовавший строем сержант Иванов, предложил:

— А ну-ка. Дембель... раз-два.

Рота в пятнадцать глоток рывкнула:

— Дем-бель!!

Коровкин и Пашков оглянулись. Коровкин, улыбаясь, помахал рукой, а старшина, тоже улыбаясь, погрозил кулаком.

В казарме, заглушая звуки радио и телевизора, продолжал гастрологи Витька Якупец. Он, как добросовестный артист, будет выплёскивать на слушателей свой репертуар, пока не охрипнут голосовые связки или не потушат свет.

...Выпьем за тех, кто мотался по точкам,

Два года кормил комаров,

Кто не сморкался в крахмальный платочек,

То есть за нас, шоферов...

Вокруг Якупта сидели несколько ребят из первой роты. Он исполнил песни по их заявкам.

— Давай «Катерину», Витёк.

Витёк скинул гимнастёрку, вытер лоб и, вдарив по струнам, закричал:

— Катер-рина, Катя, Катери-и-ина!..

Р-р-ры-ызорву рубаху на груди-и...

Связисты в упоении прикрыли глаза.

Вахрамеев, усевшись за своей тумбочкой, положив рядышком пять конвертов и пять тетрадных листов, в раздумьи смотрел в одну точку. Потом, на едином дыхании, как под копирку, на всех пяти листах написал: «Жизнь у меня идёт нормально. Служба нормальная. Кормёжка тоже нормальная. Больше никаких новостей нет. Передавайте всем привет. Пишите, какая у вас погода и другие новости. У нас погода нормальная».

Дневальный выглянул из коридора и скомандовал:

— Рота! Строиться на вечернюю прогулку!

Через полчаса подадут милую сердцу команду — «отбой».

После Нового года установилась ясная, морозная погода. Видимость, как говорят в авиации, миллион на миллион. Навёрстывая план по налёту часов, аэродром с шести утра до часу ночи гудел от воя прогазовывавших самолётов и рёва форсажей. С ёлок осыпался снег, разбежались зайцы и куропатки. Казарма батальона связи пустовала, все силы брошены на обеспечение полетов.

Лётные полки, отлетав свою смену, играли отбой и уходили отдыхать. Батальон связи отдыха не имел: кончалась одна смена, начиналась другая, между ними — часовой перерыв и снова: шум, грохот, команды штурманов, светящиеся матовой белизной экраны индикаторов.

На «Спутнике» Помазков, Михайленко, Яснов менялись у экранов локатора через каждый час. Михайленко сорвал свой бас и неразборчиво сипел в микрофон, выдавая на командный пункт координаты целей. Штурманы и планшетисты на КП ничего не понимали, нервничали и матерились. У Яснова воспалились глаза и он, считывая с экрана цели, часто моргал и шурился. От этого не успевал за бегающей развёрткой и сбивался с темпа. Ас в операторской науке Помазков строчил цифры координат, как из пулемёта, но страдал от долгой неподвижности, ёрзал и подпрыгивал на операторском кресле. Красиков умудрился каким-то образом простудиться и слёг в санчасть. Электромеханик Вахрамеев доблестно обслуживал свои дизеля, ходил перемазанный солярой и солидолом.

Опытные операторы вплотную занялись обучением Савычева. Когда в воздухе находилось много самолётов, он сидел на складном

стульчике рядом с оператором, вникая в хитрость настройки индикатора и тренируя реакцию. Лишь только количество самолётов уменьшалось до пяти-шести, его пересаживали на операторское место, он надевал наушники, микрофон и принимался самостоятельно выдавать информацию на КП. Но появлялись на экране ещё две-три цели и он начинал теряться, стыдился своего неумения — и от этого запутывался в цифрах окончательно. Если рядом был Михайленко, тот не спешил заменять его и делал вид, что ничего не замечает, уходил в глубину кабины, чем-то там занимался. Савычеву приходилось самому в голос призывать его на помощь. Михайленко, не торопясь, снимал с головы Савычева наушники и жестом показывал — освободить место. Один оператор сменял другого, сменённый убежал в домик, а Савычев подсаживался к следующему и продолжал вникать в операторскую науку.

Объявили пересменок, затих гул самолётных двигателей. В это время как раз Яснов принёс из столовой обед. После обеда Савычев принялся за свою святую обязанность — мытьё посуды.

— Ох-хо-хо, — устало вздохнул Помазков, шлёпнувшись на кровать, — вроде бы ничего не делал, а устал, как собака. — Он окликнул Михайленко: — Борь! Ты не додумался станцию на накал поставить? Надо бы...

— Сейчас схожу, — ответил из другой комнаты Михайленко, не управившийся ещё с обедом. — Сейчас, докушаю и схожу.

Пока не работал локатор, включили телевизор. Вахрамеев, не снимавший с себя старого замасленного бушлата даже на обед, сразу пристроился около него. Яснов с красными, слезящимися глазами тоже лег на кровать и уткнулся лицом в подушку.

— Тебе не рассказывали, Саш, — спросил, улыбаясь, Помазков вошедшего из кухни Савычева, — о любви Вахрамеича к телевизору?

— Нет, вроде, не рассказывали, — улыбнулся тоже Савычев. — Смешное что-нибудь?

— Отслужил, значит, Вахрамеич где-то месяца три, — как сказку, начал Помазков. — А телевизор любил смотреть — прямо ужас, ничем не оторвёшь. А когда станция работает, большие помехи идут на телеантенну. И вот мы с Ильиным, он полгода назад демобилизовался, заметили, что Вахрамеич нервничает из-за этих помех, и предложили ему залезть на крышу домика и разогнать помехи от телевизионной антенны. «А чем, — спрашивает Вахрамеич, — их разгонять?» Ильин притащил метлу, даёт ему и говорит: «Шуруй». Вахрамеич, такой радостный, полез с метлой на крышу. Размахался там, как будто голубей гоняет. «Ну, как, — кричит, — лучше стало?» В это время комбатовский «газик» к нам заруливает, выходят из него комбат и замполит. Мы все выскочили из домика, Ильин стал докладывать, а комбат голову на крышу поднял и смотрит на Вахрамеича с метлой. Спраши-

вает у Ильина, мол, что там такое. Ильин плечами пожимает, будто сам не понимает, в чём дело. Комбат Вахрамееву кричит: «Ты зачем, солдатик, туда залез?!». «Помехи разгоняю, товарищ прапорщик!»

Яснов захрюкал в подушку. Из большой комнаты вышел застенчиво улыбающийся Вахрамеич, наверное, услышавший, что рассказывали про него.

— Хватит тебе... Чо-о ты, — он укоризненно посмотрел на Помазкова.

— Ну, вот, — продолжил Помазков. — Ильину вклеили два наряда, а Вахрамеича — в госпиталь: подумали, что он по фазе сдвинулся...

— А почему он комбата прапорщиком назвал? — спросил Савычев у Помазкова, хотя здесь же был сам Вахрамеев.

— Да он тогда в погонах не особо разбирался, тем более, что у того и другого по две звезды. А может, старшину нашего так боялся, и считал поэтому звание прапорщика самым высоким.

— Я, откровенно говоря, сам Пашкова побаиваюсь, — признался с улыбкой Савычев.

— Это ты зря, — сказал Помазков. — Наш Пашков — человек. По-первости он со всеми такой лютый: гоняет, придирается, вроде бы, по мелочам... Это он к службе приучает. Когда приучит, убедится, что солдат из тебя выйдет — совсем по-другому относиться станет.

— А Кашников? — спросил Савычев.

— Кашников... — Помазков хмыкнул, задумался. — Кашников — это, одним словом, «зелёные береты»...

Помазков не договорил. С кухни послышались шаги, хлопанье двери — и на пороге возник сам лейтенант Кашников.

— Так-так... Чем же вы занимаетесь? «Мёртвый час» устроили?

Помазков прыжком вскочил с койки, оправил гимнастёрку и вялым голосом скомандовал:

— Расчёт, смирно!

— Отставить! — Кашников, как ему самому показалось, видимо, тяжёлым взглядом осмотрел всех вскочивших солдат. Последним, с ног до головы, оглядел своего любимчика.

— Вольно, — опять негромко скомандовал Помазков.

— Отставить, я сказал! Прежде чем крикнуть «смирно», подаётся команда «встать»... Когда я тебя научу командовать? — Помазков, наклонив набок голову на своей тощей шее, слушал с виноватым покорством. — Что ты мямлишь, как квочка, — лейтенант сегодня что-то прямо с ходу принялся наводить порядок. — За что, не пойму, ты на погонах вот это носишь? — лейтенант показал на лычки Помазкова.

Тот посмотрел на свой левый погон и пожал плечами.

— Нет чтобы техникой заняться — так они дрыхнут. Каждому наряд вне очереди. Ясно?

— Есть.

Кашников прошёл в большую комнату, сел нога на ногу, откинул полу шинели, сшиб щелчком со стола хлебную крошку и уставился в окно. Расчёт в угрюмом молчании уселся вокруг него. Помазков, помолчав, поднялся и отпрапортовал:

— Товарищ лейтенант, разрешите доложить: расчёт обслуживает полёты с оценкой «отлично».

— Ну, хоть в этом я от вас толку добился, — уже почти благосклонно ответил Кашников.

Через пять минут, сняв шинель, он на старой исцарапанной гитаре продемонстрировал «специальные битловские аккорды, известные узкому кругу лиц, изучавших западную школу игры на гитаре».

— Ох, вот у нас в училище один парень... Что угодно мог на гитаре изобразить. Феномен. Такое иногда выдаст — закачаешься... — рассказывал Кашников.

На аэродроме тягуче завывала сирена. В динамике громкой связи захрипело и голос руководителя полётов объявил о начале новой смены.

Помазков с Савычевым пошли в кабину локатора. На тропинке между сосенками их догнал лейтенант. Он первым взобрался по лесенке в локатор и заворчал на сидевшего там Михайленко.

— Кто разрешил курить здесь? Продыхнуть невозможно... Помазков, быстро разворачивай станцию и докладывай о готовности.

— Что её разворачивать, всё развернуто. Раз, два, три, — Помазков щёлкнул тумблерами, — и всё готово...

— Докладывай на КП, — повторил Кашников. Но Вася Помазков, с вниманием склонившись к индикатору, пропустил это указание мимо ушей. Покрутил одну ручку настройки, другую, потом двумя одновременно. — Ну, что ты там? — спросил лейтенант.

— Да подожди ты! — огрызнулся Помазков на Михайленко, который тоже попытался покрутить ручки.

— Как ты разговариваешь, Помазков! — возмутился Кашников, решив, что слова Васи относятся к нему. — Совсем распустились. Я вот за вас воз...

— С индикатором что-то не в порядке, командир.

— Ага, — Кашников злорадно и, одновременно в растерянности посмотрел на Помазкова. — Что там не ладится? Отсутствие дисциплины до хорошего не доведёт...

В динамике громкой связи захрипело: «Всем службам доложить о готовности».

— Помазков, ищи, — заволновался лейтенант. — Ищи, Вася, ищи быстрее неисправность. Может, где контакта нет, — он сам принялся постукивать по блокам кулаком, всматриваться в контрольные лампы. Постучал по нижним блокам носком сапога.

— Не надо, товарищ дейтенант, — попросил жалобно Помазков. — Причина в другом...

— В чем?!

— В приемной схеме, кажется.

— Кажется, кажется... Михайленко, ты что сидишь — ищи неисправность! Разгильдяи!

Помазков выскочил из кабины, побежал большими прыжками к приёмопередающему комплексу, расположенному метрах в десяти на пригорке. Кашников и Михайленко склонились над экраном, всматриваясь в его ослепшее око. Ещё раз попробовали покрутить ручки настройки. Кашников окликнул Савычева:

— Докладывай быстро на КП.

— О чём?

— О готовности, чёрт возьми. Могут сейчас нам предпосылку к лётному происшествию записать... Понимаешь, что это такое!

Открылась дверь, в кабину запрыгнул запыхавшийся Помазков.

— Ты куда бегал? — тревожно спросил Кашников.

— К антенне. Там всё нормально...

— Ты что, с ума сошёл, — хрустнул кулаками лейтенант. — Антенна под напряжением... При включённой станции...

— Чо-кнул-ся, — изумлённо протянул Михайленко.

— Эх! — Кашников, злясь, стиснул зубы, опять захрустел пальцами. — А мы уже доложили о готовности... Что ж делать?..

— Да причина тут, в приёмной схеме, — авторитетно сказал Борька. — Снимите напряжение, я побегу, ещё раз проверю.

— Бесполезно, — поморщился Помазков и, усиленно размышляя, потёр переносицу.

Но Кашников сам отключил станцию и с надеждой посмотрел на Михайленко. Тот спустился по лесенке и трусцой побежал на пригорок. С аэродрома донёсся шум взлетающего истребителя, разведчика погоды. После того, как он облетит зоны, доложит о состоянии метеословий, начнут один за другим стартовать боевые машины.

— Подключись к «Ромашке», — велел Савычев Кашников. — Передавай на КП те же данные, только с изменением на одну-две единицы.

Савычев стал диктовать чужую информацию. Заметил, как Вася насулленно, долгим взглядом посмотрел на Кашникова. Через минуту Савычев, отключив микрофон, спросил:

— Что делать? «Ромашка» не видит, цель у неё в мёртвой точке. Штурмана запрашивают нас.

— Передай, что временно отметки о цели нет — самолёт на развороте.

Савычев снова включил микрофон, передал то, что сказал Кашников.

— Да что он у тебя — полчаса разворачивается! — загремел в наушниках голос штурмана. — Это ж не трактор, а истребитель!

— Ну, не вижу пока, — неуверенно ответил Савычев, глядя в тёмный экран.

Через приоткрывшуюся дверь кабины блеснуло солнце. Пыхтя, посиневший от холода, Михайленко сипло пробасил:

— Товарищ лейтенант, ваше приказание выполнено. Неисправность устранена.

— Ну-ка, ну-ка, — Кашников нагнулся над индикатором.

Савычев включил напряжение — и экран в самом деле засветился рабочей чистотой, показывая там, где нужно, засветы естественных помех, а в третьем секторе — движущуюся отметку самолёта-разведчика.

— Не может быть, — изумился Помазков. — Я же всю антенну осмотрел... Что там было?

— Перекрутка кабеля, — объяснил Михайленко. — Зацепило за штангу. И вот...

— Молодец, Боря! — хлопнул его по плечу Кашников и, вздёрнув подбородок, улыбаясь, посмотрел на своего, судя по улыбке, бывшего любимчика. — Изучайте, Помазков, матчасть: служба к концу подходит, а ты... — лейтенант постучал костяшками пальцев по стеклу индикатора. — Савычев! Чего сидишь, веди цель!

В сумерках Яснот и Савычев вернулись в роту. В казарме было тихо и пусто, с других расчётов ребята ещё не приехали. Лишь у коек взвода управления сидели два штабных писаря и подшивали к гимнастёркам подворотнички. Снимая шинель, Яснот сказал:

— Хорошо в роте, тепло. Запишусь-ка я в наряд, буду дневалить через сутки. Всё лучше, чем в этом локаторе торчать...

— У тебя лезвия есть? — спросил Савычев, пощупывая подбородок.

— Найдём сейчас.

Яснот поискал лезвия в своей тумбочке, потом в соседней. Заглянул в несколько тумбочек взвода управления.

— Что шарись? — недовольно посмотрел на него один из писарей.

— Лезвия есть?

— Нет.

— Ну, тогда не мешай искать, — Яснот перешёл к обыску очередной тумбочки. — Что за люди такие — ни у кого бритвы не найдёшь. Полотенцем, что ли, бреются...

— Это Якуща тумбочка, — опять одёрнул Яснот тот же писарь.

— Ну и что?

— Витька тебе голову оторвёт, если что пропадёт.

— Ах, ты, мразь чернильная, — обернулся к писарям Яснот, прищурив глаза, — ничего тяжелее карандаша в руках не держал... Якущом меня пугать. Ишь ты, куркуль! Полгода прослужил, а всё барыжнича-

ешь! — Савычев стал успокаивать разошедшегося Яснова, но тот, не обращая на него внимания, по-петушиному наскакивал на высокого, выше его на голову, писаря. — У нас в батальоне всё общее, понял?!

Писарь встал, отложил гимнастерку и направился в коридор. Там громко спросил у дневального, здесь ли командир роты или старшина. Затем вернулся, высоко и прямо держа голову. Ошеломлённо уставился на Яснова, роющего в его тумбочке. Яснов в это время вытащил пачку лезвий, вынул из пачки один конвертик и кинул пачку обратно. Кивнув Савычеву, пошёл в бытовую комнату.

— Завтра об этом будет доложено начальнику штаба, — в спину Яснову сказал писарь.

— А, пошёл ты...

По бытовке в трусах и майке расхаживал Красиков.

— О-о, — удивились Яснов и Савычев. — Выписали уже?

— Выписали. И что я им плохого сделал. Врачи, называется...

Пока ребята брились, Красиков в мучительных попытках отгладить своё хэбэ кружил вокруг гладильной доски. Брызгал на сложенные пополам бриджи водой из кружки, прижимал утюг так, что из-под него с шипеньем вырывался пар, и возмущался:

— Я понять не могу, как эти штаны гладить. Вожусь с ними целый час, а они всё — как изжеванные. Как их складывать надо, не пойму?

Яснов намыливался, не обращая на Красикова внимания. Тот стонал, стонал, потом вдруг заверещал, обжегшись о раскалённый утюг.

— Это всё бабуля дорогая виновата, — поплёвывая на обожжённое место, пожаловался он Савычеву. — Это она меня так опекала, что я даже понятия не имел, сколько сахара кладут в стакан чая. Милая бабуля, видела бы ты мои мученья...

— Он же у нас до армии был большим начальником, — хмыкнув, сказал Савычеву Яснов. — Управдомом был.

— Да, управдомом, — с вызовом кивнул Красиков и по-новому принялся укладывать на доске свои бриджи. — А почему бы и не управдомом. Не всем же быть капитанами дальнего плавания. Мне эта работа подходила, я к ней — тоже... решили бабуля с мамулей, когда я закончил десять классов. И со школьной скамьи я сразу пошёл на руководящую должность. Понимаете, я с самого раннего детства очень солидно выгляжу. — Савычев с улыбкой согласился. — Да, Саша, это — как талант, что ли... Но я и работать умею. Меня уважали...

— По всей Одессе, — съязвил Яснов.

— Я не скажу за всю Одессу... Она, сами знаете, очень велика. Но в нашем квартале да — уважали...

Побрившийся Яснов вытерся полотенцем, взял у Красикова утюг и показал, как надо водить утюгом по доске. Похлопал Красикова по солидно выделяющемуся животику.

— Ух, ты, наш управдомчик... Ты знаешь, Саш, — сказал он серьёз-

но, — если тебе когда-нибудь станет грустно, ты представь себе наше-го Красикова верхом на лошади... И моментально грусть, как рукой, снимет.

После ужина Савычев, со своим однопризывником Лилейкой пристроились у подоконника с шахматной доской. Витас Лилейка — единственный ровесник Савычева и с ним они сошлись ещё в карантине. В некотором смысле даже Савычев чувствовал себя моложе Витаса, который смотрел на жизнь без лишних усложнений, был непоколебим в своих убеждениях и соблюдал требования устава, как монах-фанатик — религиозные праздники. До армии Витас работал ревизором. Через два месяца службы, когда его любовь к дисциплине и щепетильное отношение к любой мелочи приятно поразили командиров, начальник штаба лично предложил ему занять должность начальника батальонного склада, хотя на неё обычно назначали только прапорщиков. Если бы не это назначение, служить Витасу в каком-либо из расчётов было бы не так уж просто.

Савычева удивляло и одновременно вызывало симпатию то, что Лилейка, несмотря на такое служебное рвение, совершенно был лишён малейших честолюбивых помыслов. Он никогда ни в чём для себя не выгадывал и отвергал все возможные в его положении послабления. Поступки Лилейки, с точки зрения солдат-первогодков, напоминали подвиги библейских святых: каждый, в том числе и Савычев, представляли себя в его привилегированном положении — и уж, конечно, бегать по утрам на физзарядку они не стали бы, начищать до зеркального блеска сапоги и пряжку ремня — тоже, одной порцией масла на завтрак не ограничивались бы... Сам прапорщик Пашков, как с равным, здоровался с ним за руку.

— Как служба, Саша? — расставляя на доске фигуры, спросил Витас.

— Служба-то? Идёт служба, но что-то слишком медленно идёт. Желательно бы побыстрее.

— Нельзя побыстрее, — серьёзно сказал Лилейка. — Сколько положено, столько и будет идти.

— Тебе что, домой не хочется? — Савычев сделал первый ход. — Может, на сверхурочную надумал остаться?

— Нет, не надумал, — серьёзно опять ответил Витас. — И домой хочется... Как же не хочется. Но я же не мальчишка, чтобы считать это... сколько осталось дней: сто дней, девяносто девять дней, девяносто восемь... Глупость. Обман сам себя.

— Самообман.

— Да... Положено как — так и служи. Всё будет нормально тогда. А то считают: сто дней, девяносто девять дней... Тьфу, самообман. Правильно я говорю?

— Как всегда, — кивнул Савычев. — Но всё равно, знаешь ли, душа рвётся...

— Шах, — объявил Лилейка. — Опять шах... Туда не ставь — ладью скушаю...

— Что-то я сегодня никак не сосредоточусь, — оправдался Савычев, ища для своего короля безопасную клетку. — Весь день в локаторе просидел, голова, видать, устала. Ко всему прочему — перед второй сменой что-то испортилось. Уже разведчик в воздухе — а мы никак не включимся.

— Ну, теперь вам здорово влетит, — твёрдо сказал Лилейка.

— Не должно, вроде. Мы доложились вовремя... никто не знает об этом...

— А потом-то докладывали о неисправности? Комбат знает?

— Не-а, — с затаённой тревогой ответил Савычев и пристально посмотрел на своего приятеля.

Некоторое время в молчании двигали фигуры и Савычев всё допускал несуразные ошибки: у него из головы никак не выходило дневное происшествие на «точке».

К Лилейке подошёл Нечипор из первой роты. Наклонившись, шёпотом сказал:

— Слышь, Витек, дай немножко дихлору.

Лилейка не удостоил Нечипора взглядом, задумчиво смотрел на шахматную доску. Сделав ход, так и не поглядев на Нечипора, спросил:

— Самолётики клеить?

— Ага. А то зачем же...

— Где плексиглас на самолётики достал? Где взял, а?

— Где взял, где взял... Земляки принесли.

— Земляки? — недоверчиво переспросил Витас. — У меня на складе два листа плекса пропали.

— Подумаешь, два листа. У тебя там их сто штук.

— А ты откуда знаешь — сколько? — уже подозрительно спросил Лилейка.

Нечипор цыкнул через щель выбитого зуба.

— Значит не дашь?

— Дихлорэтан — это яд. Знаешь? А ты — разгильдяй, сам отравись и других отравишь.

— Что ж я, в первый раз, что ли... Разгильдяй, — Нечипор недовольно оттопырил губы, — ишь ты... А если бы я был образцовый солдат, тогда дал бы?

— И тогда не дал бы. Никому я ничего со склада не даю. Я казённым не распоряжаюсь.

— Заладил одно: я... я... Линейка ты и есть Линейка, — Нечипор понял, что дихлору ему не дадут. — Ты такой же, как наш Межевантис, одной масти. Сразу видать — земляки.

— Я не одной масти, — обозлённо обернулся к Нечипору Витас. — Я... Он мне совсем не земляк. Не знаешь — не говори...

Нечипор ткнул пальцем в коня Лилейки, которому угрожала пешка Савычева.

— Лошадью ходи, — и удалился с чувством собственного превосходства.

Витас посмотрел на указанного коня, но пошёл совсем другой фигурой.

— Принципиальный, как телеграфный столб, — усмехнулся Савычев. — Но мы тоже гордые, падалью не питаемся.

Дневальный погасил свет и вместо команды «отбой» прокричал традиционное солдатское пожелание: «Спокойной ночи — дембель стал на день короче».

«Вернее было бы сказать, что служба стала на день короче», — засыпая, подумал Савычев. Перед глазами закрутилась развёртка индикатора, вспыхивали белые крапинки отметок воздушных целей.

Показалось, что сон продолжался не более минуты. Снова вспыхнул свет в спальном помещении, резанула по нервам команда: «Рота, подъём!»

— Что такое?!

— Тревога, что ли?

— Рота, подъём! Взвод управления, отбой! — повторил за дневального команду появившийся на пороге капитан Барсуков. Командир роты был одет по-походному: в бушлате, валенках, за ремнём портупей — рукавицы.

— Если писарям отбой, значит, не тревога, — догадался Яснов и, уже не спеша, стал одеваться дальше.

— Что такое, товарищ капитан? — спросил Красиков. — Если ничего серьёзного — я тогда больной. У меня на два дня освобождение, могу показать справку из санчасти.

Барсуков не отвечал, расхаживал по казарме и в шутиливой форме поторапливал то одного, то другого.

— Разгрузка, никак, нам подфартила? — спросил замкомвзвода «Ромашки» сержант Ильин. — Да, товарищ капитан?

— Так точно. Разгрузка, — подтвердил командир роты.

— А что разгружать? — слышались со всех сторон вопросы и по казарме прокатился недовольный стон.

— Колбасу и яблоки, — улыбнулся командир. — И, кажется, ещё шоколадные конфеты...

— Не-е, правда, товарищ капитан. Что разгружать?

— Хлеб. Хлеб для строительства. Дежурный, открывай сушилку. Шинели не надевать, — объявил капитан. — Форма одежды — рабочая.

— Ну-у... Ждёт нас грязная работа...

— Цемент разгружать, товарищ капитан?

— Цемент, товарищи бойцы, — подтвердил командир роты. —

Ничего не поделаешь — наше подразделение сегодня дежурное. Я понимаю, что все вы устали после полётов... Но есть приказ, а приказ — есть приказ... На нашу долю приходится два вагона. Нас — шестнадцать человек и, как говорит сержант Красиков, это такая чепуха, что можно даже не обращать на неё внимания.

— Ничего себе — чепуха, — пробурчал сам Красиков, — два вагона, сто двадцать тонн цемента. Ничего себе...

Разгрузочная площадка находилась на окраине гарнизонной территории. Сюда откуда-то с далёкой железнодорожной станции подходила одна-единственная ветка. Летом в этих лесах, среди гнилых болот, поросших редким осинником, кишмя кишели самые злющие комары, которые, по рассказам старичков, могли прокусить даже голенище сапога. Сейчас же — худосочные осинки трепетали от ветра, и с замёрзших болот неслись острые, будто дроблёное стекло, секущие лицо снежинки.

Колонна в пятнадцать человек, одетых в старое обмундирование, растянулась по узкой тропинке между наметёнными сугробами. Вдали, на железнодорожном полотне, под лучом дёргающегося от ветра прожектора проявился контур цистерны.

— Одна, вроде бы... — прошёл шепоток от передних к замыкающим.

— Один вагон, товарищ капитан? — недоверчиво спросил Ильин у командира роты.

— Ты что, Ильин, считать не умеешь? — отозвался Барсуков. — Видишь же — одна цистерна, — в темноте не было заметно, смеются или нет его глаза.

— Вы же говорили, что два вагона...

— Ну, значит меня неправильно проинформировали, — развёл руками капитан. — А одну-то уж цистерну мы вмиг сейчас... Верно?

Солдаты в колонне оживились. Всем действительно показалось, что одна цистерна — пустяки. Как будто половину работы уже сделали.

— Вы, наверное, нарочно, товарищ капитан? — спросил кто-то. — В тактических целях?

— В педагогических, — засмеялся комроты.

«Педагоги, — мысленно хмыкнул Савычев и сам почувствовал, что это слово, хоть и мысленно, но прозвучало с интонацией Михайленко. — Педагоги, тоже мне. Никакой, даже элементарной заботы о людях... Воспитание путём принуждения. Педагоги в португезах...» От усталости, от перебитого сна трещала голова и Савычев с ужасом представлял, что сейчас на холодном ветру, до самого утра он, покорный чужой воле, будет разгружать эту проклятую цистерну.

По отработанной годами методе, передаваемой от призыва к призыву, у цистерны открыли нижние люки, выливающийся из них цемент черпали ведрами и передавали по цепочке в огромный дощатый сарай-склад.

Работа началась без энтузиазма, стоявшие в цепочке ёжились от холода, вёдра то и дело выпадали из рук; Ильин, выкидывавший из сарая опорожненные ведра, попадал не туда, куда надо.

— Перекур! — объявил Барсуков через пятнадцать минут работы.

Солдаты сгрудились за стеной сарая, загораживающей от ветра. Разобрали сигареты из непонятно кем предложенной пачки. Командир роты в это время приспособил в проёме ворот поперечную доску, а на неё положил два куска найденной жести. Теперь можно было, не находясь в сарае, высыпать цемент по сооружённому скату: меньше наглотаться цементной пыли и сократилось растяжение в цепочке.

Ребята, перекурив, сами, без команды, встали в рабочем порядке. Барсуков снял свою портупею и сказал двум крайним в цепочке, высыпавшим цемент из вёдер:

— Бросайте на меня.

Работа пошла заметно живее. Командир роты, как вратарь, ловил летящие опорожненные вёдра, приговаривая: «Оп-па... оп-па», и передавал их под загрузку. Он вроде бы как стал ведущей шестерёнкой под двумя транспортёрными лентами-цепочками, задавал ритм работы своим «оп-па».

— Может, увеличим скорость конвейера на два ведра? — предложил он. Ефрейтор Сорокин притащил со склада ещё четыре ведра. — А ты аж все четыре? — удивился капитан.

— По два ведра на каждую цепочку. Справимся, — геройски ответил Сорокин.

— Командиру-то... все четыре прибавилось! — заступился за капитана Ильин.

— Справимся, — капитан подмигнул Сорокину.

Скорость конвейера действительно увеличилась. Некоторым уже сделалось жарко, некоторым — весело.

— Эх, зашибём командира ведром — под трибунал всей ротой пойдём, — пошутил Ильин, осторожно, внакидку, бросая вёдра капитану. — Я один отвечать не согласен.

— А я, когда на разгрузку собирался, заранее дома записку оставил: прошу в моей смерти никого не винить.

— А почему вы, почему не Пашков с нами? — спросил Красилов, тоже подкидывая от второй цепочки вёдра Барсукову.

— У старшины жена заболела, — объяснил капитан, ловко схватив два одновременно брошенных ведра. — Оп-па, оп-па... Пришлось мне.

— Послали бы кого-нибудь из молодых командиров взводов.

— Кашникова нашего, например, — предложил Яснов. — Он бы нам сейчас о «зелёных беретах» рассказывал...

— Рассказал бы он тебе... Держи карман шире, — хмыкнул Красилов. — Залез бы вон в будку к сторожике и дремал бы там у печки...

— Прекратите, прекратите, — одёрнул Красикова с Ясным капитан. — Что это вы взялись командира своего обсуждать. В моём присутствии, тем более. Похоже на бабы сплетни... И в дальнейшем чтобы ничего подобного не было... Вот Савычев — человек культурный, сразу видно, понимает воинскую этику. Понимает, что командиров осуждать не полагается.

Ребята из других расчётов засмеялись. Савычев, передавая ведро справа налево, решил сначала промолчать, отделаться нейтральной улыбкой. Но потом, обернувшись за следующим ведром, посмотрел на командира роты и ответил:

— Если вслух не положено, то ведь в мыслях — не запретишь.

— Думать так или иначе не запретишь, — согласился капитан. — А говорить и делать в армии можно только то, что положено. На гражданке, допустим, ты назовёшь в глаза своего начальника бюрократа или там... бездельником. Ты поступишь правильно... разумеется, если это — факт. А в армии ты этим же самым совершишь серьёзнейший проступок. Армия — особая общность людей, давно-давно сформировавшаяся система со своими особыми законами. Если не будут выполняться эти законы, нарушится вся система — и армия не сможет выполнять своего назначения... В обычной жизни вы уважали людей за какие-нибудь известные вам качества. Тот, к примеру, умный мужик; этот — сильный и ловкий; третий — ещё чем-то знаменит. Начальник твой на гражданке мог командовать тобой, но только в пределах твоих обязанностей по работе. Если вот к Сорокину в его доармейский период подошёл бы какой-нибудь незнакомый ему дядька и скомандовал «смирно», а Сорокин в это время как раз собирался поведать своей девушке о своём богатом душевном мире...

Солдаты засмеялись, поглядывая на Сорокина. Сам Сорокин с довольным видом морщил конопатый нос. Капитан Барсуков переждал смех и продолжил:

— Сорокин без всякого стеснения и сомнения пошлёт этого дядьку куда подальше. А подойди сейчас к нему этот же дядя, но с майорскими погонами... Сорокин забудет и про свой богатый душевный мир, и про весь женский пол на свете... Почему — да потому, что все качества этого дядьки, за которые уважают и подчиняются, заключены в его погонах. Те, кто дал вашим командирам офицерские погоны, были уверены, что они достойны того, чтобы их уважали и подчинялись. Это — закон армии. Думайте, что хотите, а обсуждать не положено. Положено подчиняться, — Барсуков махнул рукой. — Замотали меня совсем. И ведра им лови, и лекцию читай. Ишь вы. Перекур, что ли?

Ребята расстегнули фуфайки, бушлаты, сняли шапки. От их чёрных, светлых, рыжих голов поднимался пар.

Красиков провёл ладонью по потному лицу, запорошенному цементом. Посмотрел на ладонь и покачал головой.

— Так и зацементироваться можно. Будешь стоять здесь, как памятник Ришелье. Ох-хо-хо, — он вздохнул, — а у меня ведь — постельный режим, товарищ капитан. Попались бы вы моей бабуле, товарищ капитан.

Барсуков засмеялся:

— Она бы мне спасибо сказала: придёшь домой настоящим мужчиной.

— Я бы предпочёл не настоящим мужчиной, товарищ капитан, — с грустью в голосе произнёс Красиков, — а хотя бы просто здоровым человеком.

— Ну, насчёт этого, Красиков, я могу прямо сейчас послать твоей бабушке телеграмму с гарантией. С завтрашнего утра начнём заниматься физзарядкой по моей системе...

— Вот это уже лишнее... Для оправдания у меня и так здоровья предостаточно.

Сержант Ильин зычным голосом скомандовал:

— Кончай перекур!.. Работы ещё часа на два осталось. Вы отдыхайте, товарищ капитан. Мы сами теперь.

Вокруг освещённой прожектором разгрузочной площадки чернела непроглядная темень. Через луч света с метеоритной быстротой проносились гонимые ветром снежинки. Четырнадцать раскрасневшихся солдат вытянулись в две цепочки от цистерны к сараю, а пятнадцатый — Сорокин, травмированный ведром, которое он в спешке уронил себе на ногу, сидел на площадке цистерны и вслух считал количество выгруженных килограммов.

— Сто тысяч двести пять! — победно закричал он, когда в сарай засыпали последнее ведро.

Но ему никто не поверил.

На востоке бледно заалела нижняя кромка неба, предвещающая морозный и ветреный день. Со стороны аэродрома слышался гул роторных машин, очищавших полосу к началу полётов.

— Товарищ капитан, боевая задача выполнена, — шутейно доложил рядовой Каленик, по-негритянски смуглый, черноволосый и кудрявый, в обсыпанном цементом бушлате, похожий на только что потухшую головёшку. — Убитых нет. Один раненый, ведром контуженный, по собственной глупости...

— Ну, вот, — сказал командир роты, оглядев весёлыми глазами чумазых подчинённых. — Глаза боятся, а руки делают. Ильин, строй роту, потом следуйте к бане. Я пойду вперёд, договорюсь насчёт помыться. Как, неплохо бы попариться, а?

Ильин подал знак и рота дружно ответила троекратным «ура».

В ячейке на букву «С» Савычев обнаружил аж два письма на своё имя: одно — от Руслана Зеленина, который по поручению коллег

поддерживал связь с Савычевым, другое — от родителей. Савычев начал с письма Зеленина.

Письмо было не очень-то содержательным: сказывался год разлуки, разница интересов и забот. Их жизнь для него понятна и занимательна, но его — для них — малознакома и их не касаясь; те события и проблемы, которые волновали Савычева, им казались не стоящими внимания, назывались ими примитивным утилитаризмом и объяснить им, что такое радость от новых портянок, выданных после бани старшиной — всё равно, что поросёнку разьяснять таблицу умножения: ничего, кроме ухмылки, эти объяснения не вызовут. Как они были близки — и как стали далеки...

Заканчивалось короткое письмо Зеленина новостью: Ирочка-немка выходила замуж за лейтенанта, и весь коллектив учителей сбрасывался им на свадебный подарок по пять рублей. Зеленин почему-то упомянул конкретную сумму, как будто это столь важно.

В это время к Савычеву подошёл Яснов и, пристроившись рядышком на подоконнике, грел замёрзшие руки о трубу батареи.

— Вот так, — сказал Савычев и щёлкнул по листку письма, — пока мы в солдатах служим, наши девочки выходят замуж за лейтенантов.

— Уже свадьба была? — сочувственно-серьёзно спросил Яснов.

— Пока ещё нет. Написал вот дружок — скоро свадьба, сбрасываются им на подарок по пять рубелей...

— Знаешь что? — с горячностью сказал Яснов. — А возьми и пошли ей десять рублей на подарок. Пускай её совесть помучает. Если у тебя денег нет, я займу... А что — я бы так и сделал.

Около них остановился Генка Хаустов, батальонный каменщик. В руках Генка, по своему обыкновению, держал две толстенных книжки. Прислушавшись к разговору, спросил у Савычева:

— Свадьба уже была?

— Нет, — ответил за Савычева Яснов.

— Тогда, знаешь, давай дуй к замполиту, проси срочно отпуск на два дня. Скажи, мол, жизнь вся решается... Приди к ней на свадьбу — и прямо при всех так вот и скажи, — Хаустов вытянул вперёд свободную руку. — Что же ты? Обещала ведь ждать... Эх, ты.

— Да не обещала она, — сказал Савычев.

— Как — не обещала? — удивился Генка. — Невеста, и не обещала? Савычев, улыбаясь, махнул рукой.

— Какая невеста. Просто работали вместе. Красивая чертовски была... Немецкий язык преподавала в нашей школе.

— Ого! — Генка покачал головой. — Ну-ну. А у вас с ней близкие связи были? Она как, знала о твоих чувствах?

— Какие ещё там связи, — засмеялся Савычев, — два раза поцеловались, и то — когда на Новый год дурачиться начали, в фанты играли. У нас за ней все холостяки и даже некоторые женатики ухлёстывали...

— А лейтенант этот, жених... каких войск? — спросил Яснор.

— Про это не написано.

— Наверное, пехота или танкист какой-нибудь... Ладно бы, если лётчик, — предположил Хаустов. — Не так обидно было бы... Вот бы его к нам в гарнизон прислали. Представляешь: идёт он, прогуливается с молодой женой, а навстречу — ты, — Генка улыбнулся своим мыслям. — Ты подходишь к ней и так это равнодушно спрашиваешь: «Что же ты, дорогая моя, как в фанты играть, так со мной, а как замуж, так за другого? Шпрехен зи дойч?».

Яснор дружески хлопнул Савычева по плечу.

— Не везёт тебе сегодня, Санёк. Утром от комбата досталось, теперь — письмо это.

— Да, — согласился Савычев. — Плохо, когда приходится за кого-то расплачиваться.

— И когда кто-то за тебя расплачивается, тоже плохо, — добавил Хаустов, присаживаясь на спинку кровати.

— Откуда только комбат узнал? — пожал плечами Савычев. — Может быть, Кашников ему докладывал о той неисправности? Но ему резону в этом нет...

— Тогда бы комбат и о нём упомянул, — кивнул в раздумьи Яснор, — а то одного тебя обвинил, что ты не доложил о неисправности и вслепую выдавал информацию... Чёрт-те что. Лучше бы доложили в своё время, как нормальные люди делают...

Яснор сам был расстроен не меньше Савычева. Выявленное неизвестно какими путями грубейшее нарушение дисциплины обеспечения полётов ложилось на весь расчёт «Спутника» чёрным, долго не смываемым пятном.

— Теперь никого из наших в отпуск не пустят, — грустно сказал Савычев, зная, как прослуживший более года Яснор мечтал о побывке домой. — А Михайленко уже начал готовиться, думает, что на двадцать третье февраля ему объявят десять дней с выездом на родину.

— Михайленке и без отпуска в мае-июне дома быть, — ответил Яснор. — А нам ещё служить сколько. Тебя вот главным виновником признали... Кто ж это накапал, а?

Генка Хаустов, проявляя своё сочувствие, назвал несколько фамилий. Но Яснор и Савычев категорически отвергли его подозрения. Генка попытался ещё выразить кое-какие предположения, однако Яснор прикрикнул на него, чтобы тот не лез туда, в чём не соображает. Хаустов обиженно замолк, хотя всем своим видом хотел показать, что нисколько не обиделся.

— Я Лилейке неделю назад рассказывал про это, — раздумывая, проговорил Савычев. — Но Витас не мог проболтаться...

— Он, — твёрдо сказал Яснор. — Больше никому, сам понимаешь.

— А какой ему смысл?

— Да без всякого смысла. Болтается среди начальства — вот и ляпнул, чтобы в разговор встрять.

— Не-е. Не мог он. Непохоже на него...

— Он, честно говоря, твой Лилейка, мне сразу не понравился, как только ваш призыв к нам в роту прислали. Служака — до мозга костей.

— Душа человека — это великая, непознаваемая тайна, — философски заметил не умеющий долго молчать Генка Хаустов. — Я об этом где-то читал... Мне этот Лилейка тоже не очень... Не симпатизирую я ему. Попросил как-то у него мешок алебаstra, так он устал на меня, как этот на того черта... как его... — Генка почесал в затылке, вспоминая, — а, на Мефистофеля...

Дневальный в коридоре скомандовал построение.

— Только ляжешь — подымайся, только встанешь — подравняйся. Эх, — вздохнул Хаустов, — ну, вы служите, а мне работать пора.

На торжественном построении двадцать третьего февраля Михайленко и в самом деле объявили за отличную службу отпуск с выездом на родину. Никаких других поощрений больше расчёту «Спутник» не досталось.

Как-то, шагая вместе с Савычевым из гарнизона на «точку», Яснов вдруг опять заговорил о несоответствии выговора Савычева и отпуска Михайленко:

— Что-то здесь не того, подозрительно для меня.

— Ну, подумаешь, выписали мне этот выговор, — отмахнулся Савычев. — Чепуха. На второй срок служить не оставят.

— Ты никак не поймешь, Сань: тут какая-то несуразица получается, две разных информации об одном и том же. А от кого она? Кто доложил и заложил?

— Лилейка со мной теперь не разговаривает. Рассказал ему о своих, вернее, о твоих подозрениях, он на меня обиделся. Раз, говорит, ты на меня так думаешь — думай, а я ничего доказывать не собираюсь...

— Ну, а кто ж тогда? Помазков, что ли? Так он с «точки» не выбирается. Вахрамеев — тоже. Михайленко? Ему — невыгодно: отпуск мог бы потерять. Я — исключается, ты — тоже исключается. Управдом?

— Красикова тогда не было. Он болел.

— А если с чужих слов? — не успокаивался Яснов.

— С чужих?... Непохоже, вроде бы: комбат всё в подробностях знал. Он меня как отчитывал: мол, я выдавал координаты цели, глядя на отключенный экран, целых пять минут... Откуда он мог знать, что именно я доложил на КП о готовности станции. И всё другое — тоже.

— Как будто ты виноват, — сказал Яснов, ловя рукой пружинившие от Савычева еловые ветки, с которых сыпался иней, норовя по-

пасть прямо за шиворот. — Тебе же Кашников приказал доложить о готовности и потом он же велел брать данные с «Ромашки».

— Что ж я, должен был перед строем взять и свалить всё на Кашникова? Ему бы вообще за это... ого-го-го как бы досталось.

— Ну и ладно, — согласился наконец Яснов. — Что-нибудь когда-нибудь выяснится.

— Я и говорю, чепуха... Немного обидно, конечно...

Зачёркнутых дней становилось всё больше и больше.

Дней долгих — как год, и коротких — как минута. Дней бесцветных, неразличимых, сливающихся в один, разделяемых между собой лишь командой «отбой — подъём», и дней ярких, запоминающихся, контрастных, как линии границ между государствами на географической карте.

И те, и другие оседали в ячейках памяти, накапливались там; каждый день приносил с собой если не совсем новое, то уже известное, но качественно изменённое, благодаря повторению уже известного и пережитого во второй или в десятый раз. Как трудолюбивая пчёлка, память отбирала в свои ячейки нектар с красивых и некрасивых цветов, чтобы из собранного урожая получился мёд — те свойства характера, которые не передаются человеку при рождении.

Над цветущим полем аэродрома порхали рано проснувшиеся бабочки.

Приказа о переходе на летнюю форму одежды ещё не было и несурзные для такой жары шапки несли в руках. Впереди — лейтенант Кашников, за ним, строем, четыре человека. Сержант Красиков унылым голосом командовал: «Раз-два, раз-два». Строй, с шапками в руках, напоминал маленькую траурную процессию. Топали по цветущему аэродрому, распугивая веселящихся бабочек.

Лесная точка расчёта «Спутник» доживала последние денёчки. В целях какого-то усовершенствования локатор подлежал передислокации на другую сторону аэродрома, ближе к гарнизону. Дежурств уже никаких не будет, точнее, будут дежурства по двенадцать часов и, сменившись, надлежало возвращаться в роту. А хороший, уютный домик останется пустовать среди сосёнок и берёз, и лесные зайцы примутся безнаказанно скакать под его окна, и на чердаке совьёт себе гнездо сова.

Личный состав приуныл: расчёт становился каким-то неполноценным без собственной «точки»: у «Ромашки» — есть, у «Сатурна» — есть. А у них теперь — не будет. Рушился установленный порядок вещей, новый порядок не предвещал ничего хорошего.

Один лейтенант Кашников положительно отнёсся к предстоящим переменам, так как намного облегчался его путь из гарнизона и увеличивался контроль «за уровнем дисциплины». Он поставил перед

расчётом задачу — в ближайший срок подготовить площадку под радиолокационную систему. Месяц назад им был установлен срок — неделя. Но работа двигалась туго, в основном, из-за недостатка рабочих рук и энтузиазма. Помазков, прослуживший на старой «точке» почти безвылазно полтора года, считал просто кощунством участвовать в передислокации, да и его как специалиста экстра-класса командир взвода к хозяйственным работам не привлекал. Помазков ходил то радостным от предстоящей через два месяца демобилизации, то грустным — от скорой передислокации. Слово это — «передислокация» — не сходило с языка лейтенанта Кашникова, но и подчинённый ему личный состав тоже частенько упоминал «передислокацию», хотя с несколько иным оттенком чувств.

«Специализированный строительный расчёт «Спутник» — в полном составе, за исключением Помазкова, строевым шагом маршировал по направлению к своему новому объекту, возведение которого стало для лейтенанта Кашникова делом чести, точно так же — как Петербург для Петра Первого. Красиков, Михайленко, Яснов, Вахрамеев, Савычев были собраны по тревоге своим боевым командиром и, воодушевлённые короткой речью: «...то вы на полётах, то в наряде, то ещё бог знает где... хоть в воскресенье всех собрать удалось», двинулись к строительной площадке.

— Приказы не обсуждают! — прикрикнул Кашников на недовольно бурчавших подчинённых.

— А мы не приказы, — ответил Яснов, — мы передислокацию эту.

— Взвод! — скомандовал лейтенант. — Строевым! Шагом а-арш! — Ребята, нахмурившись, затопали сапогами по траве. — Сержант Красиков, командуйте строем... Отставить, — вдруг раздражённо сказал Кашников и захлопал прутиком по голенищу сапога.

— Расчёт, стой! — Красиков вопросительно посмотрел на командира.

— Почему «стой»?!

— Вы же скомандовали: отставить...

Лейтенант ещё более раздражённо захлопал прутиком по сапогу.

— Я имел в виду отставить так командовать: ать-два, ать-два. Что это за «ать-два»? Что ты, как старорежимный фельдфебель?.. — Красиков смиренно пожал плечами. — Шагом марш, — вновь скомандовал лейтенант и немного погодя добавил: — Можете снять головные уборы...

Первой поставленной задачей было закончить насыпку холма под кабину локатора. Несмотря на то, что был конец апреля, день выдался по-летнему жарким. Даже без гимнастёрок за полчаса работы все взмокли.

Михайленко, после отпуска ставший особо хитро-ленивым и изворотливым, то вытряхивал что-то из сапога, то принимался закре-

пять черенок лопаты. В конце концов, воткнув лопату в грунт, достал папироску. Глядя на него, бросили работу и все остальные.

— Ух, — Красиков вытер пот со лба. — Два солдата из стройбата заменяют экскаватор. А солдат из ПВО заменяет хоть кого.

— А не рано ли? — спросил Кашников, замеряя что-то вдали теодолитом.

— К обеду закончим этот курган, — уверенно пообещал Яснов.

— За сегодня надо ещё очистить кирпичи, — Кашников показал на груды бывшего в употреблении кирпича с ошмётками засохшего раствора...

— Ого, — почесал в затылке Красиков.

— А вы как думали? — добавил Кашников, измеряя шагами какое-то расстояние. — А вот тут выроем кабельную траншею. Сегодня. Я обещал командиру батальона, что к маю объект будет в полной готовности.

— К этому маю? — спросил удивлённо Красиков.

— К этому, — передразнил его Кашников. — А то к какому же?

— Не успеем, — сказал Яснов.

— Не успеем, — подтвердил и Вахрамеев, заглядывая в окуляр теодолита.

— Вахрамеев, не трогай прибор! Отойди! После обеда займёмся траншеей. Меньше надо болтовнёй заниматься.

— Товарищ лейтенант, мне после обеда в наряд готовиться нужно, — сказал Яснов.

— А ты, — лейтенант особо строго посмотрел на него, — в последнее время мне вообще не нравишься... Спекуляцию с глазами наводишь. И тому подобное.

— Я?.. Так правда ж, товарищ лейтенант, — обиделся Яснов, — глаза если болят, что поделаешь. Переведите в дизелисты.

— Это ты специально, — понимающе кивнул Кашников. — Цену себе набиваешь: видишь, что ты пока единственный оператор в расчёте остаёшься...

— Как же — один? Савычев ещё.

— Савычев неопытен, — отмахнулся лейтенант. — Вот ты воду и мутишь. К замполиту пошёл плакаться. А? Я всё знаю...

— Почему, плакаться?! — возмутился Яснов. — Я и вам говорил об этом, и капитану Барсукову. Он обещал решить...

— Я решать буду! — перебил его Кашников. — Отдохнули — ну, и давайте за работу. Шевелись!

Савычева и Михайленко командир послал очищать кирпичи. Остальные продолжали насыпать холм.

Михайленко обошёл вокруг кучи, выбирая более-менее чистые кирпичи, сложил их около своего места.

— Зря Андрюха с лейтенантом связался, — сказал он, присажива-

ясь. — Разве таким путём своего добьёшься? Только хуже себе сделаешь. Я вот, когда захочу, меня на кривой кобыле не объедешь. Учись жить, Санек, тут. На гражданке это тоже пригодится.

— Учусь, — кивнул Савычев.

— Я вот и без твоего диплома не хуже тебя проживу. Потому что умею. Согласен? А?

— Согласен, — опять кивнул Савычев.

— Я для себя сам всего добиваюсь, мне никакой дядя не помогал. Главное — вот тут иметь надо, — Михайленко показал молотком на свою макушку... — Когда я станцию исправил, мне Кашников пообещал отпуск, но я на него особо-то не надеялся и сам провернул кое-какие мероприятия. У меня всё рассчитано, как в Генеральном штабе...

К куче кирпичей подсели и остальные. Кашников тоже подошёл и, что-то подсчитывая в уме, задумчиво смотрел на кирпичи.

— Товарищ лейтенант, — спросил его Михайленко, — вот месяца через полтора мы уедем, в расчёте ни одного сержанта не останется. Надо молодёжь продвигать.

— У кого что болит, тот про то и говорит, — сказал Красиков. — Умная мысль. Принадлежит прапорщику Пашкову.

— Я же не о себе, — возразил Михайленко. — Вот товарища Савычева надо продвигать.

— Этот вопрос решается, — многозначительно ответил лейтенант. Савычев хмыкнул и послал Михайленко к чёрту:

— Я ни в какие сержанты не собираюсь, товарищ лейтенант.

— Вопрос решается, — повторил Кашников.

— А если Барсуков уедет в академию, — опять спросил Михайленко, — кто будет командиром роты?

— Не знаю, Михайленко. А откуда вам известно, что Барсуков в академию собирается?

— Ну, как откуда... Солдатский телеграф, ему всё известно.

— А вас не поставят командиром роты, товарищ лейтенант? — с простодушным видом спросил Красиков. Кашников не ответил, строго поглядел на него. Красиков, постукивая молотком по кирпичу, рассуждал как будто сам с собой: — А что? Я думаю, наш командир справился бы. Солдатам, правда, тяжело вата служить пришлось бы... но порядок в роте был бы железный. Ух!

— А батальоном вы, товарищ лейтенант, смогли бы? — серьёзно спросил Яснов.

— Яснов! — строго прикрикнул Кашников. — Ты что, тоже из Одессы?

— Нет, из Саратова.

— С Красикова пример берёшь?! Тоже клоуном заделался?

— Нет, товарищ лейтенант, серьёзно, — с тревогой в глазах, сказал Красиков. — А если вдруг необходимость такая возникнет?

— Теоретически мы в училище, конечно, изучали управление батальоном. Но это не так просто, как вам кажется... А Барсуков ещё, может быть, никуда и не уедет: обсуждаются две кандидатуры на одно направление в академию — его и Меженвайтиса. Я бы отдал, безусловно, предпочтение капитану Меженвайтису. Волевой командир...

— Товарищ лейтенант, — спросил опять Яснов, — а дивизией вы смогли бы?..

Расчёт сдержанно захихикал, как скромные девицы в незнакомой компании. Командир обвёл всех взглядом, покручивая на пальце цепочку с ключами.

— Яснов, два наряда, — спокойно объявил лейтенант.

«Хорошо держится молодой командир», — отметил про себя Савычев.

Вахрамеев, в знак протеста или чтобы продемонстрировать солидарность со своим другом, расколол пополам два кирпича.

— Плохой кирпич, товарищ лейтенант.

— Ещё хоть один загубишь, тоже получишь два наряда вне очереди, — объяснил ему Кашников. Вахрамеев будто нечаянно ткнул молотком по середине очередного кирпича и отбросил в сторону половинки. — Два наряда, Вахрамеев!

— Ладно.

— Не «ладно», а — «есть два наряда»!

Красиков и Михайленко притихли. Яснов, было заметно, наоборот, шёл на дальнейшее обострение: отложил молоток и что-то рассматривал на ладони, ожидая, когда лейтенант обратит на него внимание. Судя по виду Вахрамеева, тот тоже не удовлетворился парой «рябчиков».

Савычев усмехнулся мальчишеской настырности обеих сторон и, чтобы снять нервность обстановки, применил испытанный приём: принялся рассказывать о морском змее.

— А ещё был случай, — выдумывал он на ходу, — перевернулась в море рыбацкая лодка. Из пяти рыбаков в живых остался только один, без ног и без руки. Ноги и одна рука были откусаны не известным науке животным. Этот рыбак потерял дар речи и на все вопросы о случившемся рисовал огромную змею...

Первыми клюнули на змея Вахрамеев и Кашников.

— Ой-ей-ей, — уставился Вахрамеев округлёнными от ужаса и любопытства глазами. — Как напугался-то человек, дар речи потерял.

— Может, его акула покусала? — предположил лейтенант.

— По следам укуса на акулу не похоже, — серьёзно объяснил Савычев.

— Так кто же его?

— Науке не известно. Пока.

— Может, ещё найдут эту заразу?..

— Брехня! — не поверил Яснов. — Мало ли что случиться могло.

— А ещё писали в одном научном журнале... — продолжил Савычев перечисление загадочных случаев.

Выслушав очередное непознаваемое наукой происшествие, Вахрамеев покачал головой и протянул изумлённо, чуть ли не на полминуты... «ого-о-о». Кашников присел на кирпичи. Яснов опять не поверил, а Красиков весело проговорил:

— Сколько же всякой нечисти на свете водится. Я ещё про Бермудский треугольник люблю...

— А ты как думал? — авторитетно заявил лейтенант. — Знаешь, какие события случаются... Но тебе-то что бояться: управдома морские змеи не страшны.

Красиков обиделся.

— Почему это только управдома? Вам тоже, по-моему, они не угрожают...

— А-а, — отмахнулся лейтенант. — Управдом есть управдом: шляпа, брюхо и портфель.

— А что вы смеётесь, товарищ лейтенант, управдомы — тоже люди нужные. На меня, по крайней мере, никто не жаловался из жильцов, все уважали... Я виноват, что ли, — пробубнил Красиков, устав огрызаться от сыпавшихся со всех сторон шуток, — если меня на эту должность мать с бабушкой определили...

— В сержанты тебя тоже бабушка определила? — усмехнулся Кашников. — Для меня твои лычки — не менее таинственная загадка, чем все треугольники и тарелки.

— Меня бы кто в управдомы определил, — сказал Михайленко. — А то засунули после школы в училище, а потом в шахту: иди, сынок, работай, паши.

— Ну, ты-то и на шахте не запашешься, — ответил Красиков.

— А ты почему знаешь? Откуда ты можешь знать, как я работал?

— Знаю. Как-никак, два года вместе прослужили, вместе спалили. Непохоже на тебя, чтобы ты где больно перетруждался.

— Как мне надо, так и работал — будь спокоен. Но за меня бабушки ботинки не чистили, — с издевкой подковырнул Михайленко.

Лейтенант подобрал себе молоток и тоже принялся очищать кирпичи. Красиков и Михайленко продолжали лениво переругиваться.

— Вот нам в училище доставалось, — сказал командир. — Горы переворачивали. Ваша служба по сравнению с моей курсантской — санаторий.

Яснов возразил с такой горячностью, словно его лично обвинили в какой-то подлости. Его поддержали все остальные и Кашников опять остался в одиночестве.

— Давайте разберёмся, — предложил он, — где, когда и сколько вы перерабатывали сверх расписанного?

Ребята шумно стали вспоминать случаи своего чуть ли не героизма, приводя примеры большей тяжести солдатской службы по сравнению с курсантской, которая всё равно чище и спокойнее. Кашников упрямо не соглашался и, улыбаясь чему-то своему, постукивал молотком.

— Везде можно приспособиться, — пробасил Михайленко. — Все эти трудности — для дураков. Лазейки всякие можно в любом заборе найти.

— Это как понимать, Михайленко? — поинтересовался Кашников.

— Я в том смысле, товарищ лейтенант, что люди-то, они все разные и по разному живут. Есть — по-умному, есть — по-глупому...

— Ты у нас, конечно, по-умному живёшь? — спросил Яснов.

— Да уж не дурак. Лишнего себе на загришок взваливать не буду, извините-подвиньтесь. Сам не отдохнёшь, никто не предложит. Все кругом так живут, под себя гребут... только у одних получается, а у других — нет. У кого не получается, те из себя честных изображают.

— Что ж, по-твоему: честных совсем нет? Так, что ли? — нейтрально спросил Савычев, не показывая, что он против Борькиных рассуждений. Но Михайленко почуял, что тот под него подбирается и, отшвырнув слишком далеко готовый кирпич, резко ответил:

— Дураки есть, я же сказал! Ду-рач-ки. Понял, педахох? Или вы это в институте не изучали?

— Кто, например? — поинтересовался Кашников. — Кто дурачки, по-твоему?

— Например... Ну, хотя бы вот Коровкин, что зимой демобилизовался, дуростью своей себе трудности создавал. Честного из себя изображал — и сам же в дураках остался...

— А я вот как думаю, — вмешался Красиков, — что хороших людей от поколения к поколению становится всё меньше и меньше.

— Как это? — удивился Савычев.

— Потому что их больше гибнет, — объяснил Красиков. — На войне, например, самые хорошие люди, значит, впереди, где наибольшая опасность. За других своей жизни не жалеют... А всякая сволота за их спинами укрывается. Гад какой-нибудь под танк с гранатами не кинется, амбразуру собой не закроет. Так ведь? Да и в мирной жизни так же: хорошие люди на опасность идут, рискуют, разные там эксперименты на себе проводят, за правду борются, себя не жалея, за троих вкалывают... А подлецы, те на рожон не лезут, своё здоровье берегут, нервишки. У них на первом месте — личный комфорт. Так ведь? — Все ребята согласились, что в общем-то так. — Вот и получается, что хорошие люди, так сказать, вымирают, а плохие размножаются: детей своих они ж под стать себе воспитывают, а те — своих, и так дальше... пошло-поехало. Выходит, что когда-нибудь на земле вовсе хороших людей не останется.

— А если останутся на земле одни гады, то они вскоре друг другу глотки перегрызут. Я так думаю, — сказал Яснов.

— Да-а, — протянул Савычев, — прямо целую теорию эволюции ты вывел.

— На первый взгляд — вполне логично, — авторитетно заявил лейтенант Кашников. — Но такого быть не может.

После некоторого молчания Михайленко попытался что-то выразить:

— Вот, я и говорю...

— Что ты говоришь?! — оборвал его лейтенант. — По-твоему, дурачки под танк бросались. От дурусти своей они это делали? А?!

— Нет, — смешался Михайленко. — Я...

— Да что «нет». Все так тебя и поняли, — напористо вмешался Яснов. — Плодитесь тут, гады, размножаетесь. Все блага цивилизации под себя гребёте...

— Ну, ты, потише, ясно? — Михайленко многозначительно подкинул на ладони кирпич. — Молодой ещё.

Лейтенант прикрикнул на них и вскочивший было Яснов вернулся на своё место, а Борька, бросив кирпич и молоток, закурил.

— Заканчивай работу, — распорядился Кашников. — На сегодня достаточно. Собирайся по домам.

Не спеша поднялись, отряхиваясь от кирпичной пыли, натянули гимнастёрки.

— Кому и по домам, а кому — по казармам, — сказал, улыбаясь, Вахрамеев. — Вы, товарищ лейтенант, наверное, сейчас... хе-хе... с какой-нибудь дочкой полковника на мотоцикле кататься поедете?

— Вахрамеев! — прикрикнул Кашников. — Мы, кажется, вместе гусей не пасли. Что это за фамильярности? — потом примирительным тоном добавил: — Мне — тоже не домой, в общежитие. Та же казарма.

Красиков спросил:

— Строем пойдём или как?

— Пешком, — разрешающе махнул ладонью командир.

Через несколько минут должна была начаться утренняя смена полётов. По весеннему лесу волнами гуляли запахи цветения, многоголосоцей заливались лесные пичужки, которых через несколько минут распугает рёв стартующих истребителей.

До того было хорошо вокруг, что Савычев усилием воли заставил себя влезть в душную темноту стальной коробки. Подтянувшись на руках, он запрыгнул в кабину, включил напряжение и, плотно задёрнув штору на двери, принялся настраивать индикатор. От рук пахло берёзовым соком. В распутицу, из-за нехватки привозной воды, посуду на «точке» мыли берёзовым соком, заполняли им все имевшиеся ёмкости и даже иногда умывались им по утрам.

Савычев облокотился на стекло экрана, прикрыл глаза. Очень хотелось домой...

В кабину взобрался Помазков.

— Всё нормально? — спросил он.

— Вроде бы, нормально.

— Что неясно, Саш, спрашивай. Пока что я ещё здесь. Через неделю не у кого будет, — Помазков осмотрел несколько блоков, погладил пальцем царапину на стекле экрана.

— Все неясности будут тогда, когда спрашивать не у кого будет.

— Это точно, — согласился младший сержант. — Трудновато тебе придётся, если Андрюха Яснов в электромеханики переведётся. Так-то, конечно, по теоретической части он поможет, а вот на полётах одному тяжело. Придёт пополнение, ты скорее берись за обучение. Смышлёные ребята попадутся, так через два-три месяца уже помощниками станут. Поэтому, как из карантина молодёжь пришлют, выбери одного-двух, договорись с Кашниковым, чтобы их по нарядам не гоняли — и сразу в локатор. Обучай по принципу: «делай, как я», лишних словесных объяснений не надо — только страху нагонять перед техникой. А вот когда практически усекут, легче за теорию возьмутся.

Пошёл самолёт — разведчик погоды. Савычев надел наушники, прицепил ларинги, смонтированные Помазковым вместо неудобного микрофона. Стал докладывать на КП координаты показавшейся на экране цели: двузначное число азимута, двузначное число удаления. Пройдясь по ближайшим зонам, разведчик вышел на посадочный курс, приблизился к центру экрана и пропал. Сел.

Савычев снял наушники, спросил:

— Вась, такой вопрос. Не работает экран, по схеме всё в порядке, а он — словно молоком залит. Что такое?

— Причин несколько может быть, — подумав, сказал Помазков.

— Вот как зимой у нас было?

Вася Помазков почесал кончик носа, пожал плечами.

— А чёрт его знает, что было. Борька говорил, что кабель антенны накрутило и контакт пропал... Я смотрел, вроде бы, но этого не заметил. Может, не в том месте глянул.

— А самому такое нельзя было подстроить?

— Подстроить?... А зачем?... Хотя, подстроить всё можно. Иголку если в кабель вогнать, эффект тот же будет... Но зачем?

— Давай посмотрим, а, Вась? — предложил Савычев, приподнимаясь с операторского кресла.

Помазков согласился, немного недоумевая, для чего оно нужно. Открыв дверь кабины, предупредил Савычева, чтобы тот обязательно выключил напряжение, потому что к приёмопередающему устройству под рабочей нагрузкой приближаться небезопасно: на

расстоянии одного метра от зеркала антенны в руках загорается шестивольтовая лампочка.

По молодой зелёной травке прошли до небольшого холмика, на вершине которого размещалась эллипсоидная антенна. К ней, по треножникам, тянулась гирлянда кабелей.

— Похоже, что его когда-нибудь перекручивало? — спросил Савычев, показывая на кабель у основания штанги.

Помазков присел на корточки, осмотрел кабель внизу, потом — на самом верху, потрогал его рукой. Хмыкнул, почёсывая испачканной рукой нос.

— Не похоже, судя по всему. Если бы его перекутило, экранирующая оплётка была бы смещена. А она в порядке... Как я раньше внимания не обратил? Да мне и в голову не приходило.

— Вот, смотри, от этого могло, — Савычев, внимательно осматривая каждый сантиметр, показал на участок кабеля, шедший по земле от последнего треножника. — Видишь — дырка?

Помазков нагнулся.

— Ого! Тут целая дырища-а, — удивился он. — Не иначе, аж гвоздь загоняли... Ну и ну.

— Пошли, Вась, — позвал Савычев. — Полёты начинаются, вон уже первая пара к старту подруливает.

— Давай, — сказал Помазков, спускаясь с холма. — Через часик я или Андрей тебя подменим. Вылетов сегодня мало будет: я считал на стоянке у первого полка — только девять самолётов расчехлили.

После взлёта третьей пары перехватчиков Савычев расстегнул на гимнастёрке верхние пуговицы. Первая пара ушла на высотный маршрут, остальные закрутились в зонах. Аэродром продолжал гудеть от грохота стартующих машин. На экране всё прибавлялось и прибавлялось отметок целей. Уже насчитывалось семнадцать, но истребители всё взлетали и взлетали. Вася Помазков ошибся: в одну смену объединились машины двух полков.

За один оборот экранной развёртки продолжительностью в тридцать секунд необходимо было назвать каждую цель, дав характеристики её координат в пять-шесть цифр. Пять-шесть цифр, помноженных на количество целей. Итого: сто с лишним цифр за полминуты. Язык у молчаливого Савычева работал, как у эстрадного конференсье в моменты вдохновения.

На высотных маршрутах истребители шли на сверхзвуковых скоростях и их отражения на экране локатора скакали, точно кузнечики по столу: только что был здесь — и вот уже перескочил через два радиуса. Высотные машины сближались на встречных курсах, в определённой точке сливались в одну — и снова расходились к противоположным сторонам экрана: отрабатывали атаку в переднюю полусферу. На средних высотах пять отметок гонялись за одной, там

шла отработка атаки в заднюю полусферу. Четыре машины, сделав своё задание и выполнив положенную «коробочку» над аэродромом, зашли на посадку.

Савычев сосчитал, как цыплят, отметки, оставшиеся на экране: шестнадцать — все на месте, слава Богу. «Щитки, шасси полностью!» — прокричал по общевещательной трансляции вперёдсмотрящий. Истребитель, плавно касаясь крышками бетонной полосы, подпрыгнул несколько раз, словно не налетавшись, он собирался снова ринуться в голубое небо; но выскользнули из-под фюзеляжа яркие тормозные парашюты; самолёт дёрнулся, замедлил бег и уже спокойно покатил к рулётке.

Одни взлетали, другие садились, светящихся точек на экране становилось то больше, то меньше.

Дверца кабины приоткрылась. Ослепнув на секунду от блеснувшего из-под занавески света, Савычев почти интуитивно узнал Яснова. Быстро доложив обстановку в воздухе, Савычев поднялся с кресла, протянул Андрею микрофон и наушники.

— Мне Васька рассказал. Ну и жук, — коротко бросил Яснов.

После окончания полётов Савычев с Ясновым отправились в гарнизон. Вася Помазков остался на «точке» в одиночестве. Объект «Спутник», в связи со скорой ликвидацией, приобрёл запущенный, заброшенный и какой-то даже одичалый вид. Во дворе всё, что можно было разобрать, разобрали и перевезли на новое место; внутри домика из всей мебели осталась одна кровать и пустой оружейный ящик; штукатурка отвалилась, окна затягивало паутиной, дорожки и капониры зарастали бурьяном. На фоне этого запустения тощая сутулая фигура Помазкова — как старый капитан на палубе отслужившего свой век судна, списанного на корабельное кладбище.

По пути в гарнизон шли, не разговаривая. Но и при обоюдном молчании ощущались биотоки общения, когда настолько хорошо знаешь человека, что по выражению его лица, походке точно определяешь его мысли. Точнее, чем при словесном общении с незнакомым. Слова — это одежда, по которой встречают... «Вот всего год вместе с Андреем прослужили, — размышлял Савычев. — Что такое год на гражданке, это разве срок для того, чтобы узнать человека до кончика ногтей. Хочется тебе — не хочется, а со всех сторон своего сослуживца оглядишь и при любом освещении рассмотришь: и под инфракрасными лучами, и под ультрафиолетовыми. Так подумать, Андрей на шесть лет моложе, такие приятели на гражданке всерьёз не принимались. А здесь делаем одно дело и он даже для меня — авторитет. И человек он другого склада и направления, а вот вместе с ним чувствуешь себя, как с кем-то из близких, и понимаем уже друг друга с полуслова. В чём армия если и полезна, так в том, что научит разбираться в окружающих тебя субъектах...»

— Ну и гад же, — проговорил сквозь зубы Яснов и поддел сапогом камень на тропинке. — Сколько ж с ним вместе прослужили и не знал, и не подозревал, что он на такое способен... Ну, то, что он хитрый — ни для кого не новость... но что таким окажется...

— Да-а... Всех обошёл, шустряк, пузатый колобок... А я впервые на него подумал, когда он мне хвастался, что сам себе отпуск выбил. Думал, думал — а он, ишь, как всё обдумал. Всех обошёл...

— Угу. Тебе выговор помог схлопотать, Васю Помазкова под облучение сунул, весь расчёт отпусков лишил — а сам в героях. Лихо, ничего не скажешь. Что ему — морду набить за это, а?

— Толку-то от этого, — отмахнулся Савычев. — Себе хуже сделаешь.

— Да он, знаешь, какой грусливый, — скривил Андрей лицо в презрительной гримасе. — С виду битюг, а трус ужасный... Душещипательные беседы на него не действуют, не думай. Его этим не прошибёшь.

— Ну, может, командиру роты об этом рассказать? — неуверенно предложил Савычев.

— Товарищ капитан, а Михайленко диверсию сделал, — кляузным голосом изобразил эту сцену Яснов. — Так, что ли? Ты прямо как настоящий учитель рассуждаешь. Не по мне это, давай лучше моську ему намылим... Или ты хочешь от выговора очиститься?

— Вовсе нет, — отрицательно мотнул головой Савычев.

Подошли к казарме батальона. У входа стояли капитан Меженвайтис и его подчинённый Нечипор. Нечипор, навывтяжку, с помертвелым лицом, шея чуть-чуть набок, ремень затянут, как говорится, «на выдох», вздёрнут вверх чуть ли не до подмышек.

— Товарищ солдат! — остановил капитан Меженвайтис Яснова, попытавшегося проскользнуть за его спиной к дверям.

Яснов и Савычев вытянулись, приготовились к долгой нотации под взглядом холодных серых глаз, пробирающих до мурашек на коже.

Получивший передышку Нечипор немного расслабился и судорожно вздохнул перетянутой в диафрагме грудью.

— Что это такое? — капитан ткнул пальцем в пряжку ясновского ремня.

— Ремень, — ответил Андрей с кислым видом.

— Я вижу, что ремень... На каком месте он у вас находится, товарищ солдат?

Яснов снял ремень, стал дёргать его концы туда-сюда.

— Разрешите идти? — спросил он, надев ремень.

— Отвратительный вид, — поморщился капитан Меженвайтис, брезгливо осмотрев с ног до головы фигуру Яснова. — Сапоги. Почему сапоги в таком ужасном виде?

— С «точки» идём, товарищ капитан, — объяснил Савычев. — Запылились.

— Запылились, — хмыкнул капитан. — С этого начинается крах дисциплины. Доложите своему командиру роты, что я сделал вам замечание. Идите.

— Своей роты ему уже мало, — прошипел на лестнице Андрей. — До нас добирается. Удав.

Дневальный на тумбочке Тарасевич, с расчёта «Ромашка», увидев Савычева и Яснова, сразу же выложил им с какой-то радостью новость:

— Вашего Михайленко захапали в самоволке в деревне Соколовка. Дали трое суток. Только что повели на губу. Вот.

— В самый раз, — улыбнулся Савычев. — Справедливость торжествует...

— Жаль, — с сожалением сказал Яснов, — разговор наш откладывается. Сейчас бы с ним пошутушкаться, пока злость не утихла.

После ужина — самое свободное время. Вечер тёплый и светлый, и комары ещё не ожили после зимней спячки. Личный состав батальона, выполняя распорядок, проводит культурный досуг.

В ротных помещениях пусто: командиры разошлись по домам, солдаты высыпали во двор казармы. На волейбольной площадке пятеро локаторщиков сражаются против семерых связистов. Сетка натянута между двумя соснами, посередине площадки — круглая цветочная клумба, выдумка старшины Пашкова, любителя цветов и ненавистника футбола, от которого страдают стёкла первого этажа казармы.

На лавочке Витька Якупец с гитарой, по бокам два молодых писаря. Кошачьи глаза Витьки блестят больше обычного. Поёт он сегодня, в основном, весёлые песни и перед каждой новой песней объявляет:

— Последний гастроль! Через пять дней Витька будет кушать дома вареники в сметане!

Писарчуки подхалимски хихикают, будто им тоже может перепасть вареников в сметане.

В курилке, на скамейке у врытой в землю пепельницы — широкой керамической трубы, сидят Савычев, Лилейка и Яснов. Витас и Андрей покуривают, Савычев грызёт сосновую иголку. С двумя толстенными книжками подмышкой: том Вольтера и «Общая анатомия человека» — к ним подошёл Генка Хаустов, встал напротив, придавая своему простому открытому лицу какое-то туманное выражение, которое, по его мнению, должно быть у думающего, образованного человека.

— Как дела, Ген? — спросил Савычев, сплёвывая разжёванную иголку. — Садись, отдохни.

— Дела, как генеральские погоны, — Генка присел на скамейку, положив ногу на ногу, и забарабанил пальцами по анатомии.

— Это как?

— А вот так: извинил много — а просветов ни одного.

— Неужто тебя из каменщиков в солдаты перевели? — притворно удивился Яснов. — Пропал ты теперь.

— Не в этом дело, — медленно выговорил Генка, продолжая создавать вид думающего человека. — По мне пускай по нарядам посылают, на дежурства там всякие. Пускай. Без каменщика комбату всё равно не обойтись... Каменщик — это символ мироздания, недаром эти... как их... — Хаустов вопросительно посмотрел на Савычева, — которые в «Войне и мире». Ну, я тебя ещё расспрашивал о них?..

— Кто? — пожал плечами Савычев.

— Эти, что подпольно в группы объединялись...

— Масоны?

— Масоны, — облегчённо вздохнул Генка, — вот-вот... Недаром они себя называли вольными каменщиками...

Генка Хаустов был круглым сиротой. После детдома пошёл в ПТУ, окончил училище с высшим, возможным для выпускника, четвёртым разрядом и вручением почётного «серебряного» мастерка из нержавеющей стали. В армии Генка вдруг почувствовал неудержимую тягу к учению, вдавился в самообразование и запоем стал читать всё, что попадалось под руку в гарнизонной библиотеке. Читал даже то, чего совершенно не понимал, уверенно считая, что в голове всё равно от прочитанного что-нибудь да останется. Солдатский распорядок его мало затрагивал, он, как и до службы, не выпускал из рук мастерка, клал стенки, заводил углы на многочисленных гарнизонных объектах. Был нужен везде и во всех подразделениях, и порою даже выезжал в командировки. Признавал из распорядка единственную команду — отбой, а после завтрака, в обязательном порядке, Генка вынимал из-под кровати плотницкий ящичек с инструментами и парой книг, завернутых в газету, одевался и шёл на свою очередную строительную площадку.

— Ты куда направился?! — злился на такой анархизм Пашков. — Ты солдат или кто?

— Я — каменщик, — показывал Генка старшине свой ящик. — А строители важнее, чем солдаты.

— Я вот выясню у комбата, где ты болтаешься, каменщик. Ты у меня походишь по нарядам. Совсем службы за два года не увидишь, мать честная...

— На данный момент я подчиняюсь командиру светодивизиона, — спокойно отвечал Хаустов.

— Ну и живи тогда в казарме светодивизиона. На данный момент!

К Савычеву Генка поначалу тянулся как к человеку с высшим образованием, чтобы проверить потенциал своей эрудированности. После двух-трех проверок попросил:

— Ты знаешь что — давай-ка меня подучи в общем плане.

— Читать надо больше, — дал первый совет Савычев.

— Я читаю. Много.

— Ты читай не всё подряд, а солидные, серьёзные книги. Иногда даже можно кое-какие школьные учебники просмотреть. И надо по системе заниматься. От бессистемности толку не будет, и от всякой беллетристики — тоже.

Генка после этого стал выбирать в библиотеке серьёзные, «солидные» книжки — потолще и побольше форматом. Со школьными учебниками решил не мелочиться, выглядели они не совсем солидно, а налёг сразу на учебники для студентов.

— Вот, изучил эту книжонку, — Генка показал на анатомию, — и что-то мне не по себе стало. До чего ж всё-таки хитро устроено у нас в организме...

— За сколько дней ты её изучил? — серьёзно спросил Савычев.

— За неделю. Точнее, даже за пять дней, — скромно ответил Хаустов.

— За неделю?.. А люди в институте её полгода изучают.

— Ну, я же не то чтобы досконально. Может быть, кое-что и не понял, но общее направление усёк... Теперь, как задумаюсь: какие у меня процессы внутри происходят, от какого полушария головного мозга у меня ноги-руки работают, а от какого — желудок... кирпичи из рук валятся, шесть раз кладку разбирал по новой... Или мозг не любит, когда он сам о себе думает, может, что в нём от этого сразу путаться начинает?

— Вот то-то и оно, — кивнул Савычев. — Чем меньше знаешь — тем легче жить.

Хаустов задумался над этими словами, потом улыбнулся и недоверчиво спросил:

— Выходит, академику тяжелей живётся, чем какому-то подсобнику?

— Выходит, так, — кивнул Савычев.

— Чепуха. Не может такого быть.

— Бывает-бывает, — сказал Лилейка и потянулся, хрустя суставами. — Ох, товарищи дорогие, как я домой хочу... У нас сейчас вот такие же вечера, небо светлое-светлое и соснами пахнет. Сижу — и вдруг показалось, что я домой вернулся.

Остальные с удивлением посмотрели на Лилейку. Яснов покачал головой.

— Ого. И тебя проняло, значит. Железные люди тоже по дому скучают?

Из окна умывальника высунулся дневальный Тарасюк.

— Ну, чего сидите, — крикнул он, — все уже построились на вечернюю прогулку! Чего сидите-то?!

Михайленко, пахнувший одеколоном, со свежесбритыми щеками, громко бая на весь «красный угол», делился своими арестантскими впечатлениями с земляками-однопризывниками. Ленкомната заполнялась ребятами, рассаживались за столами. Вошёл одетый полетнему, в рубашке без кителя, майор Ермолаев, замполит батальона.

— Вольно, вольно, — показал он рукой вскочившему из-за стола президиума секретарю собрания Паше Сулимову. — Я вот здесь в углу присяду.

Замполит прошёл к дальней стенке, сел у тумбочки с телевизором.

— Я думаю, начнём? — сказал Паша, вопросительно поглядев на начальство. — Значит так: повестка собрания нашей роты — разбор дисциплинарного проступка рядового Михайленко Бориса. Кто за то, чтобы открыть собрание?

Михайленко при появлении замполита уткнулся в крышку стола, нахмурился и с пыhtением обиженно дышал, как схваченный за кольцо в носу бугай.

— Вначале выслушаем нарушителя. Давай, Боря, расскажи.

— Шо? — поднялся Михайленко и, набычившись, посмотрел на секретаря.

— Расскажи, почему пошёл в самоход... в самоволку, то есть... По какой причине, что тебя толкнуло к этому? Расскажи, — жалеющим голосом попросил Паша.

— Шо рассказывать, — пробасил Михайленко. — Мать у меня болеет. На почту пошёл... телеграмму дать. Гарнизонная почта не работала, поэтому и пошёл. А то зачем бы я за пять километров тащился в Соколовку...

— Надо же было отпроситься, по такому случаю. Увольнительную бы попросил... Как-то, Борис, несерьёзно, ей-богу.

— Не подумал сразу. Подумал, что быстро обернусь.

— Причина, конечно, уважительная, — заметил со своего места замполит, — но мы с вами — военные люди, значит, должны в первую голову соблюдать дисциплину. Тебе что, Борис, отказали в увольнении? Почему ко мне не зашёл?

Михайленко промолчал, переступил с ноги на ногу. Под ним запищали половицы.

— Мать болеет. Операцию должны были сделать... Хотел узнать.

— Мы все понимаем, что у тебя несчастье, хорошо понимаем. Но есть же дисциплина.

— Виноват, — буркнул Михайленко.

— Может, кто желает выступить? — спросил Сулимов, оглядывая сидящих.

Собрание не очень сильно загалдело. Послышались выкрики: «Уважительная причина», «За что на губу посадили?», но охотников сказать речь не находилось. Каленик, дурачась, провозгласил:

— Свободу Борьке Михайленко!

— Может, ты желаешь выступить? — предложил ему Сулимов.

— Не-е, — отказался Каленик, — я это не умею.

— Товарищи, надо же обсудить проступок Михайленко, — просяще обратился к собранию Паша. — Мы для того и собрались, чтобы обсудить. На гауптвахту его в дисциплинарном порядке отправили, а мы должны обсудить его как члена коллектива... Желает кто-нибудь высказаться по существу? Может быть, ты, Красилов? Как заместитель командира взвода?

Красилов попытался было отказаться, но Сулимова поддержал замполит и он неохотно поднялся с места, пошёл к столу президиума.

Савычев поймал на себе взгляд Лилейки. Витас смотрел с каким-то строгим осуждением. Савычев кивком головы спросил его: чего, мол, тебе? Лилейка показал пальцем на выступающего Красилова.

До Савычева не сразу дошло, что Лилейка имел в виду не Красилову, а место, на котором тот стоял.

— Короче, я как замкомвзвода никаких претензий к Михайленко не имею. Служит он добросовестно, сам из себя — дисциплинированный, аккуратный, неоднократно поощрялся командованием, даже в отпуск съездил, — закончил свою недлинную речь Красилов. — Больше ничего по существу сказать не могу.

— Кто ещё желает? — спросил Сулимов. — Предлагайте меры взыскания. Выговор, замечание... У кого есть предложения?

— У меня есть, — встал из-за стола Лилейка. Он коротко оглянулся на Савычева, одёрнул гимнастерку и, гремя сапогами, пошёл к президиуму. — У меня есть предложение: заслушать Савычева и Яснова. Насколько мне известно, у них есть что сказать... — он запнулся, видимо, вспоминая какое-то нужное ему русское слово, — ...о нём. По самому существу. Пусть говорят теперь Савычев и Яснов, если они... если они не такие, как он, — Лилейка указал пальцем на скорбно сидевшего Михайленко. — Я всё сказал.

Лилейка, с прямой спиной, вернулся к своему месту.

Яснов поднялся с табуретки, чуть опередив также приподнявшегося Савычева.

— Погоди, я сначала, — Савычев остановил Андрея и вышел к президиуму.

Когда он повернулся лицом к ребятам, почувствовал, что горячо краснеет, точно перед классом на первом уроке. Савычев кашлянул, как всегда делал, начиная объяснять учебный материал.

— Итак... — он опять откашлялся и уже совсем другим голосом и в другом тоне, сказал. — У меня есть предложение: отдать Михайленко под трибунал.

Собрание и без того, в связи с присутствием замполита, вело себя спокойно и тихо, но после слов Савычева тишина сделалась прямо-

таки вакуумной. Из-за стены слышались голоса разговаривающих в каптёрке капитана Барсукова и старшины. У всех в глазах выражалось недоумение. Майор Ермолаев убрал локоть с тумбочки и, тоже явно не понимая, посмотрел на выступающего.

— Ты что, Саш? — тихо спросил Паша. — Об этом вопрос и не ставился.

Михайленко снизу вверх тупо взглянул на Савычева, потом усмехнулся и пожал плечами.

— Врёт он всё, что у него мать заболела, — резко сказал Савычев. — Врёт он. Хитрее и умнее всех себя считает. У него всё рассчитано, видите ли... Он отпуск себе как добился? Он гвоздь в антенный кабель вогнал перед самыми полётами. А потом, когда никакого выхода не было, оставалось только доложить на КП о выходе станции из строя, пошёл сам якобы устранять неисправность. В это время разведчик уже в небе был, я ложную информацию выдавал, будто бы видел его... Вася Помазков искал причину неисправности на приёмопередающем устройстве при включенном напряжении, под излучением... А Михайленко всё это подстроил, время выждал, пока все переволюнутся, и вызвался устранить поломку. Гвоздь вынул — и индикатор заработал. Это факт...

— Брехня, а не факт. Докажи, — огрызнулся Михайленко.

Замполит поднялся с места и обратился к Савычеву:

— Почему раньше молчали об этом?

— Три дня назад только сами узнали об этом, товарищ майор...

— Брешет он, товарищ майор! — Михайленко вскочил из-за стола. — Брехня это, я говорю... В феврале такой случай был... А он — три дня назад...

— А он ещё изворачивается, гадина! — возмутился Яснгов и стукнул кулаком по столу.

— Тихо. Тихо! — приказал майор.

— Мы и доказать можем. В кабеле дыра... — еле сдерживаясь, чтобы говорить спокойно, побледнев от волнения, обратился к замполиту Яснгов.

Борька, перебивая Яснгова, потребовал:

— Вот и докажи. Докажи...

Сидящая часть собрания крутила головами из одной стороны в другую. Большинство не понимали, что происходит: только что говорили о самоволке — и вдруг о кабеле, гвозде, дырке какой-то.

Замполит прикрикнул на Михайленко, чтобы тот не перебивал, и даже топнул ногой.

— Рассказывайте по очереди, — велел он Савычеву и Яснгову.

Савычев принялся рассказывать обстоятельно, с деталями. Предложил вызвать, для пущего подтверждения, Помазкова с «точки».

— Красиков, ты знал об этом? — спросил майор.

— Нет, — замотал головой бывший управдом. — То есть начало знал, а конец не знал... То есть я знал, что в феврале была неисправность станции во время самих полётов, а дальше... — Красиков запутался в словах и в конце концов объяснил, что ничего не знал, так как был в это время в санчасти.

— Командир вашего расчёта знал об этом?

— Не знал, — ответил Савычев, подумав, не сделал ли он этим хуже Кашникову. Но решил, что последних, самых важных обстоятельств, лейтенант действительно не знал.

— Да-а, дела, — майор Ермолаев прошёлся по проходу между столами. — Дела... Мне интересно знать, почему вы до сих пор молчали об этом? И, как мне кажется, если бы не Лилейка, молчали бы и дальше.

— Не делал я этого, товарищ майор, — пробасил Михайленко. — Клянусь чем угодно...

— Ты ещё упираешься! — психанул Яснов. — Разрешите, товарищ майор, доказать ему?

— Как? — с подозрением поинтересовался замполит.

— Логически.

Майор разрешил, и Андрей стал донимать Михайленко вопросами, как въедливый, неуловимый комар. Логически следовало, что, если в кабеле антенны был гвоздь, его туда кто-то вогнал, а раз кто-то это сделал, ему это было нужно.

— Ну, — не сразу согласился с этим Михайленко.

Андрей, забывшись, сунул руки в карманы и продолжал дальше уверенно, как по заранее написанному плану, кидать в Михайленко вопросы.

— Кто гвоздь в кабель вогнал, тот его и вынул, выходит? Так?

Михайленко задумался над вроде бы безопасной, но непонятной до конца формулировкой, и ответил:

— Может быть.

— Так или не так?

— Хм... Ну, так, предположим. А что дальше?

— Значит этот кто-то с гвоздём имел в виду вызвать временную неисправность локатора. Именно временную, я говорю, а не какую-либо другую. И, вдобавок, такую неисправность, которую быстро можно устранить... Кто у нас в расчёте знал об этой хитрости, а?

Михайленко пожал плечами и пробубнил что-то невразумительное.

— Ты знал?

— Я?! — Михайленко с негодованием ткнул себя пальцем в грудь. — Я и понятия об этом не имел. Я вообще в схемах не очень-то кумекаю...

— Ишь, ты, — ухмыльнулся Андрей, — самокритичным каким стал. А то всё асом радиолокации себя называл, и Помазков для него не авторитет, и сам чёрт ему не брат...

— Ну, предположим, знал... Что из того? Любой оператор поймёт, отчего, от какого механического повреждения может пропасть сигнал... Тут асом быть не обязательно.

— Ага, — удовлетворённо кивнул Яснов. — Ну, пойдём дальше. В тот день, в феврале, мы с утра отлетали первую смену и пошли в домик. Все пошли. А потом ты один вернулся в локатор... Зачем?

Михайленко вздохнул с таким видом, чтобы показать, как он устал от этих никчёмных, бестолковых вопросов. Проще всего сквозь зубы:

— Я пошёл, чтобы поставить станцию на накал. Любой из расчёта нашего это подтвердит, все в домике были.

— И ты вызвался сам, — твёрдо сказал Андрей.

— Никто не хотел идти, поэтому и пошёл. Не знаешь, что ли, как у нас к технике относятся?

— Хорошо, — кивнул Андрей. — А отчего, по-твоему, в тот раз не работал индикатор? Какая была причина? А?

Михайленко смутил хитрый вид Яснова и он немного помедлил с ответом.

— Ну-у, я ж говорил... что антенный кабель был перекручен и пережат. Вот от этого, по-видимому...

— По-видимому... А если б в кабеле был гвоздь... А если бы в кабеле был гвоздь, помехи были бы такие?

— Не знаю, — огрызнулся Михайленко.

— Да уж, — хмыкнул Андрей, — ты не знаешь. Ну, ладно, переходим к главному. Ни в тот день, ни на другой Помазков, осматривая кабельную линию, не обнаружил никаких следов перекрутки. Если кабель был даже пережат, то уж тут только слепой не заметит... Кроме того, лейтенант Кашников, я и Савычев, немного погодя, осматривали кабель и тоже ничего не нашли... — Собрание с интересом слушало. Паша Сулимов, облокотившись на стол, забыв о разлинованных листках протокола, удивлёнными и растерянными глазами смотрел то на Яснова, то на Михайленко; Мишка Каленик — с заинтригованным видом, подавшись вперёд, будто следил за развитием событий в последней серии теледетектива. — Ко всему прочему, — продолжил Яснов, мы с Савычевым можем хоть сейчас принести с «точки» тот участок кабеля, в котором Савычев и Помазков нашли дырку от гвоздя... А в отпуск, после той чёртовой аварии, из всего расчёта послали почему-то только Михайленко...

— Отпуск, я думаю, отношения к делу уже не имеет, — сказал, приподнимаясь со своего места, замполит.

Майор Ермолаев направился к президиуму, показал Яснову, что тот может сесть. Присаживаясь, Андрей возразил:

— Отпуск тоже имеет отношение, товарищ майор... У Михайленко ничего зря не делается. Без личной пользы.

Замполит повернулся к собранию, потёр ладонью лоб. Искося бро-

сил взгляд на Михайленко. Тот продолжал стоять, набывчившись, уткнувшись глазами в угол, обмякшие щёки мелко подрагивали.

— Считаю нужным проинформировать, что упомянутые здесь обстоятельства... можно сказать — чрезвычайное происшествие, будет тщательно расследовано командованием батальона. Далее, — майор посмотрел на Сулимова. — Возможно, будет дознание. По его выводам примем решение.

После собрания Савычев зашёл в умывальник. Ощущение у него было такое, словно только что закончил ответственное, важное дело, принесшее ему большое удовлетворение. Выступил он, откровенно признаваясь, исключительно из соображений справедливости, сказал своё мнение открыто, не думая, как это расценят и кому это понравится или не понравится. И ребята, все до единого, встали на его сторону, хотя о некоторых из них он был не очень-то высокого представления. Правда, если б не Лилейка... Но он бы и сам, без Лилейки, всё бы это выложил: просто ждал соответствующего внутреннего толчка. Савычев тут поймал себя на мысли, что перед собранием у него вовсе не было намерения выступать, да к тому же ещё и с гневной разоблачительной речью.

Он напился из-под крана, вытер саднящие обветренные губы.

В умывальник вошёл виновник собрания, голый по пояс, с полотенцем на шее. Савычев нарочито медленно принялся заворачивать кран. Борька остановился рядом, повесил полотенце. Как будто сам себе сказал:

— Вот уж не ожидал. Никак не ожидал... За что же ты, Сань, меня так ненавидишь, не пойму. Вроде бы я тебе дороги не перебегал, операторской науке тебя учил... Как же так? Не ожидал...

— Не рассчитал, — Савычев хмыкнул. — Всё рассчитал, а это не рассчитал?

— Почему ты меня так ненавидишь? — с какой-то чужой интонацией спросил Михайленко, отводя от Савычева глаза. — Не понимаю я... — он сунул голову под струю воды и зафыркал.

«Ишь, как его припекло, жарко стало, — подумал Савычев. — Почему-то, когда в фильмах или в книгах встречаешь разного рода негодяев, бурно возмущаешься, жаждешь торжества справедливости... А живя рядом с таким же — жалеешь его».

Проходя по коридору мимо каптёрки, Савычев слышал из-за её дверей азартно звучащий голос замполита: «...При всём при том сегодняшнее собрание для меня значит не меньше, чем удачно проведённое учение. Понимаешь ты меня?».

«Все обязательно хотят, чтобы их понимали... И они всё понимали...», — Савычев остановился у дверей казармы. В курилке, напротив, собрались все локаторщики, им что-то с горячностью объяснял Паша Сулимов.

— Савычев! — окликнул вышедший следом старшина Пашков и протянул ведро с мастикой для полов. — Переложу половину в какую-нибудь ёмкость, а остальное отдашь старшине первой роты.

Савычев безропотно взял ведро. Пашков почему-то внимательно посмотрел на него и сказал:

— Тихий-тихий, а, гляди-ка ты, какой пламенный оратор выискался, мать честная, — потом, в непонятно каком смысле, добавил: — Как волка ни корми, он всё равно в лес смотрит... Так и вы. Выкладываешься из-за вас, выкладываешься — а вы... или глупые ещё, или жестокие такие: всё задом к добру воротитесь.

— Вы о чём, товарищ старшина?

— Да о том, что из-за вас, из-за ваших делов командиру теперь академию забывают. Понял? Был бы он с вами, как вон тот, — старшина показал на второй этаж казармы, — так, пожалуй, по-другому себя вели. Не понимаете вы, что ли, мать честная?

Савычев посмотрел себе под ноги, на ведро с мастикой, подумал, что после обеда, наверное, заставят скоблить полы.

— Все хотят всё понимать, все хотят быть понятыми, но это так же недостижимо, как абсолютная истина. Просто в этом — смысл человеческой жизни, товарищ старшина.

Закончился первый год солдатской службы — началось второе лето Савычева в рамках устава, в сапогах и пилотке. Демобилизовался весенний призыв. Последним вчера уехал Борька Михайленко: уехал незаметно как-то, вышел с чемоданом, ни с кем не попрощался — и как будто его и не было в роте, растворился в небытие. Красиков уже успел прислать одно письмо. Вася Помазков обещал писать, но пока молчит. «Точку» расчёта «Спутник» окончательно, как сказал лейтенант Кашников, упразднили, локатор перенесли на новое место и нелёгкая обязанность кормильца, посему, автоматически была снята с Савычева.

«Спутнику» из пополнения выделили четверех бравых солдат, которым, как только они научатся правильно наматывать портянки, по выражению старшины Пашкова, цены не будет. Яснов выявляет из этой четвёрки самого башковитого, чтобы в экстренном порядке обучить его операторской специальности. Но из молодых никто пока особыми талантами в области радиотехники не блещет, ходят какие-то смурные и, чуть что, стараются подремать или улизнуть в солдатскую чайную. Андрей, как только подготовит смену, переведётся в дизелисты, на Савычева ляжет основная ответственность за престиж расчёта. В будние дни, от восхода до захода, они вдвоём, а также при посильной помощи «профессора дизельных наук» Вахрамеича, овладевшего и смежной специальностью оператора, занимаются исключительно обеспечением полётов. Савычев уже забыл,

когда последний раз заступал в наряд, но сегодня — воскресенье и, уж так получилось, что пришлось оживить память.

Вся рота в клубе на киносеансе. Савычев, устав стоять на тумбочке, подозвал недавно присланного из школы младших специалистов младшего сержанта, дежурного по роте, и попросил его с полчасика поисполнять обязанности дневального. Сам вышел во дворик перед казармой.

В курилке с толстой книгой на коленях сидел Генка Хаустов и о чём-то думал. Судя по его виду.

— А ты что не в кино? — подходя, спросил Савычев.

— Вчера ещё посмотрел. Я ограду на танцплощадке кладу, декоративную. Так вот, вчера кирпич не подвезли, ну, я и торчал у кинемехаников в будке. Они мне это кино и прокрутили.

— Хорошее?

— Да так себе, — склонил голову к плечу Хаустов, — не солдатского репертуара. Безыдейное какое-то, про любовь. Расслабляет, знаешь ли.

— А что за книга у тебя? — Савычев нагнулся рассмотреть обложку.

— Голсуорси, третий том, читал?

— Кажется, не читал...

— А-а, муть, безыдейщина. Не поймёшь, для чего написана, сплошное бытописание не нашей жизни. Устал, пока дочитал до конца.

— Ну, так не читал бы...

— Нельзя, — развёл руками Генка. — Сам же советовал, для общей эрудиции. — Генка снял сапог, перемотал, стряхнув предварительно портянку, и снова намотал её на ногу. Некоторое время помолчал, глядя куда-то вверх, потом сказал. — Знаешь, к какому выводу я пришёл в последнее время?

— Ну?

— Оказывается, — Генка сделал таинственное лицо, — что большинство великих людей выбились из сирот и незаконнорождённых детей.

Савычев, сам того не желая, ухмыльнулся. Но Генка несколько не смутился и не обиделся.

— Что ты ржёшь-то? У меня в записной книжке человек десять уже числится. Я их теперь коллекционирую. Поимённо, чтобы враз понятно было.

— Ты тоже, что ли, на великого тянешь? — с улыбкой спросил Савычев.

— Как сказать, — туманно ответил Генка. — Я сейчас будто окошко пробую открыть. Понимаешь? А оно не открывается, точно раму перекосило... Но как-нибудь я к-а-ак дёрну — и аж стекла посыплются...

— Вот что я тебе и советую: ты не распыляйся, занимайся по определённой программе, в каком-нибудь конкретном направлении. Закончи вечернюю школу, поступи в институт или техникум... И бей потом стёкла... Время недоучек, запомни, давно прошло, без системы знаний — никуда. Понял, гений?

— Эх, ну и зануда ж ты, — покрутил головой Генка, но потом согласился. — Ладно, будем по программе... А не хочешь, Сань, пойти позагорать? У меня на водонапорной башне местечко присмотрено. Пошли? — Савычев показал на свой висящий на ремне штык. — Ну, я тогда один пошёл.

Генка подхватил третий том Голсуорси и ушёл загорать.

Появившиеся в воздухе первые комары отрабатывали боевые атаки. То ли от слабости своей, то ли от молодости и неопытности, они ещё не нагнели, пугались взмаха ладони и свечой взмывали вверх. Савычев собрал разбросанный в курилке мусор, скинув его во вкопанную между лавочками трубу-пепельницу, поджёг мусор спичкой.

Трубу эту врыли в землю, по преданию, передающемуся от призыва к призыву, шестнадцать лет назад. Была она тогда глубиной примерно метров семь, на дне даже проступала почвенная вода. С годами труба заполнялась и сейчас до верхней кромки оставалось около полутора метров. Солдатское предание гласило, что, вкапывая эту трубу на месте курилки, служившие шестнадцать лет назад ребята загадали — когда эта своеобразная солдатская пепельница до краёв заполнится пеплом, наступит полное, всемирное разоружение и армия будет упразднена за ненадобностью. Может быть, всё это было не так, но в предание верили и традиции придерживались.

Из казармы вышел капитан Барсуков, остановился у дверей, поправил ладонью волосы и надел фуражку. Приметив Савычева, направился в курилку.

— Скучаешь? — спросил он вскочившего с лавки и вытянувшегося перед ним Савычева.

— Нет, товарищ капитан, занимаюсь уборкой территории. Присел на минуту только.

— Сиди, сиди, — командир роты вынул папиросу, присел на лавочку. — Значит не скучаешь? Привык к службе? — он пустил струю дыма в роящихся над головой комаров.

Савычев кивнул.

— Куда ж денешься — привыкнешь, как-никак год прослужил. Через пять месяцев... уже домой.

— Иди ты, — капитан, удивляясь чему-то, хлопнул себя по коленям, в чёрных глазах забегали искорки. — А я считал, что тебе ещё года полтора служить. Ты, случайно, в своём календарике лишних дней не поначёркивал, а?

— Шутите, товарищ капитан.

Барсуков нагнулся, поднял с песка обронённую спичку и кинул её в трубу.

— Вы, говорят, скоро уезжаете, товарищ капитан? В академию? — преодолевая некоторое смущение, спросил Савычев.

— Кто говорит? — Барсуков прихлопнул на шее комара.

— Народ говорит, слухи такие...

— Неверные слухи. Меженвайтис едет в академию.

— А вы?

— А мы останемся... Налаживать дисциплину. Вот так-то.

— Ну, на следующий год поедете, не большая беда...

— Насчёт следующего года вилами на воде написано. Малюсенькая слишком вероятность, что на нашу часть опять будет выделено направление. Лет так через пять-шесть, возможно...

Савычев представил состояние капитана от перспективы такого долгого ожидания. И вот надо же: никто в роте и не заметил, что командир переживает крушение своих планов и надежд; его поведение, отношение к людям оставались прежними. Другой бы на его месте...

— Ты же ведь учитель? — спросил Барсуков. — Скажи мне тогда, вправе ли учитель винить своих питомцев в чём-либо?

— Из-за дисциплины?.. Дисциплина плохая?

— Плохая, ребятишки, — сказал капитан, будто всей роте перед строем. — Дисциплина... не тянет...

Савычев промолчал, стараясь показать своим видом, что он сочувствует командиру. Капитан Барсуков отогнул рукав рубашки, посмотрел на часы. Щелчком стрельнул окурком в трубу-пепельницу и, показав подбородком на трубу, спросил:

— Знаешь, что про неё говорят солдаты?

— Знаю. До всеобщего разоружения два метра осталось.

— Жить без войн, без армий — мечта человечества. Кто ж с этим не согласен... Только я вот думаю, — комроты посмотрел на Савычева, — а где мы возьмём тогда эту школу, — он показал рукой вокруг себя, — в которой учат на мужчин? Сейчас армия у нас нужна для обороны. Разумеется, это — задача номер один. Но нельзя забывать, что задача армии — и воспитание защитников, настоящих парней. Из шпанистого крикливого пацанёнка выковать патриота, солдата — это дело нелёгкое. Верно? И эта задача для армии — тоже номер один. Не воспитав защитников, не сможем защитить Родину...

— А что, — спросил удивлённый командирской взволнованностью Савычев, — есть с этим несогласные?

— Ну, кто ж с этим будет не согласен? — улыбнулся капитан. — Но воспитание, как графа учёта показателей, должно быть более гибким, здесь нельзя перегибать, форсировать, формальничать.

— Да, — согласился Савычев. — У нас в школе, где я работал, была одна учительница начальных классов, Анна Ивановна. Добрейший

человек, совершенно без нервов и отрицательных эмоций, знаете ли. Успеваемость в её классах всегда — так это не выше среднего уровня. Дисциплина — ой-ёй-ёй, ученики на головах ходили. А она — никого не ругает, не наказывает. Всем: «Вовочка, успокойся, детка. Танечка, так нельзя, девочка...». Другого бы учителя от таких концертов жгутом скрутило, та же — смотрит, улыбаясь тихо, и как будто даже чему-то радуется в душе. Конечно, склоняли её на педсоветах, в руководящих инстанциях, не резко, с уважением, учитывая её стаж, седины... Анна Ивановна оставалась сама собой. — Савычев поднял палец, как восклицательный знак, полагающийся к сделанной им паузе. — Но, товарищ капитан, как её любили ученики, как любили... Редко кто, дойдя до десятого класса, вспомнит и навестит свою первую учительницу. А ей писали письма ученики, окончившие школу давно-предавно, её приглашали десятиклассники на свой выпускной бал; бывшие её ученики приводили своих детей-первоклассников в нашу школу и просили директора записать их в класс к Анне Ивановне. Для чего, спрашивается, это делать, когда некоторым родителям удобнее определить своё дитя в другую, ближайшую школу и не возить их несколько лишних остановок на трамвае. Что она — престижный тренер по фигурному катанию или знаменитый преподаватель по классу скрипки?.. Как это объяснить, товарищ капитан? А? И, если её помнят ученики, то каких учеников она воспитала, плохих разве?

— Доброта, — сказал Барсуков, вставая, и ещё раз посмотрел на часы. — Изумительный человек твоя Анна Ивановна и живёт прекрасной жизнью. Однако, — капитан усмехнулся, — для армейской службы её... э-э... мягкотелая педагогика неприемлема. Изумительный человек. Даже с твоих слов понятно. Когда ещё с ней увидишься, передавай привет от её единомышленника — капитана Барсукова. Понял?.. Ну, я пошёл. Если что — я дома.

Как только Савычев зашёл в подъезд казармы, откуда-то издалека до него донеслось тягучее и выматывающее, точно переложённая на ноты зубная боль, завывание сирены. Со второго этажа, звеня подковками по ступенькам, быстро скатился маленький лейтенант Орлов, дежурный по части.

— Савычев! Общая боевая тревога!..

— Ах, ты, чёрт! — вместо «есть», выругался Савычев. В прыжке толкнул плечом дверь, влетел в коридор своей роты и крикнул растерянно стоявшему у тумбочки молодому сержанту: — Тревога, чего стоишь! Открывай оружейку! — и до боли в пальце вдавил на пульте оповещения красную кнопку.

Следствие
по делу друга

Мир приключений

Ворами себя они не считали. По их мнению, вор — это злобный, смурной мужик, который только о своей наживе и думает. А они — просто любят приключения и вреда никому не причиняют.

Лил долгий осенний дождик. Под ногами чавкала глина и налипала огромными ошмётками на ботинки. Из-под туч проглядывала луна, её грустный вид напоминал Витьке одну слезливую песенку, в которой молодой симпатичный заключённый смотрит через решётку на такую же луну и тоскует по свободе и по своей загубленной жизни.

Устав ковырять лопатой липкую землю, Витька посмотрел в яму, плюнул и сказал:

— Хватит. Высыпайте. — На дно ямы полетели бутылки ликёра. Ударяясь друг о друга, они громко звякали. — Тиш-ше, — прошипел Витька и закрутил головой, бдительно вглядываясь в мокрые сумерки.

Высыпали из мешков конфеты и чеснок — остатки последней добычи. Яму притоптали ногами, засыпали землёй. Осторожный Агафонов замаскировал сверху картофельной ботвой. В одну линию, шаг в шаг, закоулками между заборов выбрались из огородов во двор. Домой никто не пошёл, несмотря на мокрую одежду. Сели в сарайчике Шурика на широких нарах с ворохом старого барахла.

Светил слабым светом фонарик. Обшитые фанерой стены сарая пестрели бестолковыми надписями на английском языке. Витька Зверев поцарапал ногтём угреватую щёку и сказал тоном опытного человека:

— Всё выбросили? Смотрите — найдут что... не отвертитесь. Даже к конфетному фантику прицепятся и... — он, скривив губы, махнул рукой.

— Вроде бы всё, — задумался Валерка Агафонов. — Может, дома где ещё припрятано? Сразу-то не вспомнишь.

Четвёрка замолчала. Сидели с растерянными и напряжёнными лицами.

Шурик скинул мокрую куртку, укутался старым одеялом. Шурик — любимец девчонок, хоть ростом ниже среднего, но гибкий, юркий, с грузинистыми чертами лица: брови длинные, стрелками,

над зелёными, немного нагловатыми глазами в пушистых ресницах. Вероятно, от того, что не так страшился родительского гнева, стыда, резких перемен в жизни, держался бодро. Жил он с матерью, которую нисколько не боялся. Учился на втором курсе техникума, безразлично относясь к постоянно висевшей над ним угрозой отчисления. «Ну, дадут год-два, — считал Шурик, — отсиджу, выйду. Уважать будут больше, девчонки крепче любить станут».

У сидевшего на ящике у двери Серёги вырвался неудержанный вздох:

— Ох, дурачье... Ох, дурачье-то...

Серёгин отец — директор крупной автобазы, лютый мужик. «На одну ногу наступлю, а другую выдерну... Понял, сынок?» Серёга, злясь, отбросил щепку, которой счищал глину с ботинок, и, как от сильной боли, прикрыв глаза, замотал головой.

— Не бойсь, Серёга, — не очень уверенно подбодрил Витька. — Может, обойдётся. Может, Костя не расколется там...

Костю забрали сегодня утром. Шурик в этот день не пошёл на занятия и, слоняясь без дела по двору, видел, как всё происходило. Когда из школы пришли остальные, он выложил им новость, будто мешком по голове.

Проморгавшись, Зверев спросил о подробностях:

— Как забирали? С ходу, что ли?

— Вывели из квартиры, посадили в заднюю дверцу «уазика»...

— Кто выводил? — уточнил Витька.

— Кто, кто!.. — психанул Шурик. — Люди в кожаных пальто!

— Рассказывай, как всё было, — потребовали и Агафон с Сергеем.

Витька Зверев был авторитетом, хотя и учился на класс ниже остальных, но учился, в общей сложности, одиннадцатый год. Витька был твёрд на пути к своим целям, крепок в драках и себя считал умным парнем.

Шурик обрисовал, как выводили Костю, как усаживали в машину, какое выражение было на Костином лице и все другие детали, интересовавшие Витьку. Зверев, проанализировав услышанное, сделал вывод:

— Влипли.

Весь день ребята не отходили друг от друга, словно боялись, что, если расстанутся, то исчезнет ещё кто-нибудь из них. Обедали тоже вместе, у Серёги дома. Витька не лез в Серёгин холодильник, не лапал отцовские сувенирные машинки, хлебал переперчённый борщ и с интервалом в десять минут выдавал идеи.

— Ещё не вечер, — изрекал он. — Может, Костика к вечеру отпустят... Если, конечно, забрали не насовсем. А если насовсем... на очереди мы. К вечеру загребут и нас. Не успеем и сухариков насушить... Только договоримся сразу: никого не выдавать, от всего отказываться...

Агафонов сидел бледный, Серёга — в красных пятнах, Шурик покусывал губу и лепил шарики из хлебного мякиша.

— Зверь, — предложил Витьке Серёга, — давай сбежим из дома. Пока не поздно, а?

В сумерках сели на скамейку у подъезда. Мимо прошёл с работы Костин отец, весело поздоровался, пожав каждому руку. Через полчаса он вышел в новом костюме и, ссутулив спину, направился куда-то быстрой походкой.

— В милицию пошёл, — решил Шурик.

Костин отец вернулся очень скоро. Шагал, размахивая руками, с каменно-застывшим лицом. Ребята предусмотрительно шмыгнули в тень кустов.

Говорить было нечего — ясно и козе, что Костю забрали надолго. У Серёги задергалась коленка, он отошёл от ребят, присел на изгородь клумбы.

— Давай из дома убежим, а?! — крикнул он из отдаления. — На... — в горле у него хлипнуло и больше слов не получилось.

Шурик выругался, а Витька глухим голосом предложил идти прятать всё краденое. Прозвучавшее слово «краденое» неприятно резануло слух и ещё что-то там внутри. Можно же было сказать, как обычно — добыча.

С чёрного неба моросил мелкий грустный дождик.

Они не считали себя ворами. Всё началось с арбузов несколько лет назад. Астраханские арбузы были сладкими, с чёрными семечками. Их везли в вагонах с деревянными решётками на боковых люках. Взираясь по каркасным балкам вагона до зарешечённого окошка, бьёшь ногой по решётке, та вылетает — и кидаешь вниз полосатые тяжёлые мячи, которые подхватывает внизу набежавшая пацанва. Сахаристая мякоть пахла приключениями. После щекочущего страха делалось особенно весело. Спрятавшись за сараями, чувствовали себя в полнейшей безопасности, разбивали о колено арбузы; объевшись, пинали ногами недоеденные половинки; потом ложились на крыше сарая, подставляя солнцу тугие и липкие животы.

Если бы они не жили на окраине города, вблизи железнодорожной станции, их бы не будили по ночам писклявые гудки маневровых тепловозов, не укачивали бы в кроватях тяжёлые, сотрясавшие землю составы. Если бы... Они бы не разбирались тогда, в каких вагонах возят колбасу, а в каких конфеты или апельсины. Они бы не знали тогда, как проникать внутрь рефрижератора, не трогая дверных запоров, как убежать по крышам вагонов от охранника. Если бы... Нет. Они ни у кого не воровали. Просто брали. Ведь берут же путевые рабочие, грузчики. В вагонах там всего много и вагонов таких полным-полно. Как будто ничьё, общее. Добыча бывала разнообразная, но,

когда набивалась оскомина, апельсины, как жёлтые мячики, летели в стену сарая, колбасой и ветчиной кормили дворовых собак. От груды высыпанных на парту дорогих конфет шалели одноклассники. В карманах шуршали деньги.

Бизнес придумал Валерка Агафонов: на рынке килограмм чеснока стоит полсотни рублей, в мешке — тридцать килограммов, из вагона за пять минут можно выкинуть десять мешков. Сумма!

Зверев азартно потёр руки. Шурик хлопнул Агафона по плечу и похвалил:

— Голова!

Костик подумал и спросил:

— А кто будет продавать?

— А никто. Отдадим торгашам на два червонца дешевле — возмут с руками.

Шурик вторично хлопнул Валерку по плечу, но Серёга заявил, что это плохо пахнет и, вообще, уже явная кража получается. Ребята смутились. Костик и Зверев, подумав, отказались от бизнеса. Прошло несколько дней после этого разговора, и Шурик с Агафоном, загадочно улыбаясь, выложили перед ребятами пачку денег. Шурик ладонью взъерошил пачку, развернул веером, назвал цифру — шесть тысяч.

— Ого! — выдохнул Витька.

Деньги Агафон с Шуриком разделили на пятерых. И с тех пор особо желанными стали вагоны с чесноком. Решили ещё продавать и яйца, стерев одеколоном фабричную маркировку на скорлупе.

От лёгких денег кружилась голова, путались понятия: что такое хорошо и что такое плохо. Деньги, которые они брали за вечер, их отцы не зарабатывают и за месяц. Слова о честном труде, ведущем к счастью, казались дешёвой агиткой. Ровесники, одноклассники выглядели простачками, отставшими в умственном развитии, а у них — особый подход к жизни, они не боятся рисковать и любят приключения.

Плохо, что деньгами приходилось пользоваться с оглядкой, чтобы не вызывать лишних вопросов. У Серёги как-то отец нашёл в карманах две тысячи рублей и сразу начал кричать, что выдернет ногу. Серёга еле отболтался, будто это классные деньги на турпоездку. Более свободный в жизни, Шурик бросался деньгами направо и налево, являлся на танцы в японском костюме, купленном в фирменном бутике, и австрийских сапожках с латунными носками. Девчонки, подходящие ему по росту, пищали от восторга и липли, как мухи на свежее варенье.

Но деньги обладали каким-то странным свойством — даже при подпольном существовании они разлетались, неизвестно куда. Раньше о них не думали, а теперь их не хватало. Приключения ушли на второй план. На первом месте оказались деньги. И никто из ребят не произнёс вслух того, что думал. Каждый думал об этом, но молчал.

— Поздно, — подсадовал Витька, — поздно хватились мы. Я давно замечал, что за нами следят. Оборзели чересчур. Жадность сгубила. Присосались...

Ещё жгучей становилась досада оттого, что винить и проклинать, кроме самих себя, было некого. Ругали милицию, изощряясь в выражениях. Приходя из школы, первым делом бежали к почтовым ящикам, рылись в газетах, боясь наткнуться на бланк повестки. От вида зашедшего во двор незнакомца чувствовали, как ёкало сердце и, в самом деле, жутко быстро падало в пятки.

В конце осенних каникул выпал первый снег. Четвёрка собралась в сарайчике Шурика, стены сарая теперь были густо покрашены зелёной краской. Шурик вынул две бутылки вина.

— Выпьем за Костика, чтобы меньше дали.

Он разлил вино в два залапанных стакана, протянул их Витьке и Серёге. Серёга замотал головой, отказываясь. Шурик недовольно поморщился, а Витька подбодрил:

— Давай, давай... Надо, — и сам, выпив, по-мужски крякнул, понюхал кулак. — Пей, тебе говорят!

Серёга чокнулся с Шуриком и они молча выпили. Валерке Агафонову не наливали: он на дух не переваривал спиртного, с этим свыклись и с уговорами не приставали.

Сегодня должны были судить Костю. По слухам, что дошли до ребят, на него «навесили» три миллиона рублей наворованного имущества, то есть — причинённого ущерба. Кому причинён ущерб, ребята никак не могли взять в толк. Как будто Костя чью-то квартиру обокрал. Точнее, не один Костя, а все они вместе. Три миллиона... Такая сумма звучала внушительно и мрачно: неужто это они столько, и когда успели-то...

Сидели тихо, не разговаривая. Витька листал валявшийся на нарах растрёпанный альманах «Мир приключений».

— Вот, — сказал он, — такие люди, как Костик, в другое время героями становились...

— А стал преступником, — вздыхая, добавил Валерка.

— Во-во! Мы остались чистенькими, а он, выходит — вор.

— Ещё до конца не известно, — угрюмо пробурчал Шурик.

— Да-да... ещё суд впереди. Вот как расколется на суде... И мы, под фанфары, туда же...

— Не тарыхти, Агафон, — осадил Витька и спросил, обращаясь ко всем:

— Если нас не судили, значит, мы не преступники? Так?

— Выходит, что так, — кивнул Шурик. — Не пойман — не вор.

Молчавший Серёга неуверенно предложил:

— Ребят... а давайте — сами сдадимся. Тогда на Косте вины меньше будет... Встанем сейчас на суде и всё объясним. Я вот думал...

— Рехнулся! — Шурик захлопал длинными ресницами. — Ты чем думал-то? Он думал, вишь ты, — Шурик посмотрел на Витьку, в поисках поддержки. — Скажи ему, Зверь. Додумался, кореш... Сдаваться...

— Верно, — согласился Витька. — Это ты, Серёга, чушь сморозил. Пришьют групповую, влепят ещё больше... Это не выход из положения.

— А может, наоборот? Разделят на всех всё наворованное. Меньше будет?

— Разделят, ха! — хмыкнул Шурик. — Умножат, понял?!

— Думаете, хуже будет? — упавшим голосом, смираясь, спросил Серёга.

В окно сарая было видно, как прошли по двору мать и отец Кости. Две чёрные, как тени, фигуры на блестящем снегу.

— На суд пошли, — сказал Витька.

— Идут, как на похороны, — с неодобрением добавил Валерка.

Шурик спрятал недопитую бутылку. Подождали, когда отойдут подальше родители Кости, чтобы не встречаться с ними по дороге, и вышли из сарая.

— Ты с нами не ходи, — посоветовал Шурик Серёге. — По тебе заметно, что ты пьяный.

Серёга вопросительно посмотрел на ребят. Витька и Валерка также подтвердили, что ему лучше остаться дома.

Ребята ушли. Серёга покрутился по двору, пока не замёрз, потом поплёлся домой. Сел у окна на кухне, прижался к тёплой батарее и стал смотреть на железнодорожные пути, заполненные грузовыми составами. В этот день наконец-то спадёт с души тяжёлый гнёт, перестанут сниться топочущие сапогами милиционеры, захлопывающиеся с железным лязгом огромные, под самое небо, ворота. Или... они сегодня захлопнутся наяву.

Вечером к Серёге зашёл Агафон. Тихонько, чтобы не слышали родители, шепнул, что в суде всё закончилось нормально. Костик держался железно и ему вlepили два года колонии общего режима.

С налётами на вагоны было покончено без всяких договорённостей: в сознании что-то переломилось, как после пищевого отравления, и один вид рефрижераторов и пульманов вызывал резкое отвращение. Страх медленно оседал на дно души, но его место заполнилось другим, новым, не менее беспокоящим чувством, то и дело покалывающим, раздражающим, точно насыпанная за шиворот настриженная со щётки щетина. Как ушедшие на покой разбойники, четвёрка делала вид, что наслаждается мирной, спокойной жизнью, без всяких там приключений. Но бывшие приключения вспоминали редко — сразу разговор переходил на Костю. За воротом рубашки начинало шепуршиться, покалывать, беспокоить. Один за другим

замолкали, словно Костик умер и они — тому виной. День за днём, и четвёрка загуляла — каждый сам по себе. Шурик — с однокурсниками по техникуму, Витька Зверев валялся дома на диване и читал книжки, Валерка в одиночку взялся мастерить электрогитару, а Серёга сдружился с пацанами из соседнего двора. При встрече — «привет-покеда», а больше и говорить не о чем. Что-то такое неопределённое отталкивало их друг от друга, угнетало даже при коротком общении.

Витька Зверев, без шапки, с замёрзшим лицом красно-фиолетового цвета, в мятых брюках, обходил каждого и звонил в дверь нахально-длинным звонком.

— Привет, сволочь, — здоровался он с вышедшим приятелем, делая особый нажим на последнем слове. — Костик письмо прислал. Думай до вечера. Я пошёл.

Витька обошёл всех троих и ничего другого, кроме этих слов, не говорил. Ребята всем видом растерянно выражали удивление. Вечером собрались у Зверева в подъезде.

Друг в друга особо не вглядывались, но каждый отметил про себя, что бывшие друзья изменились, словно не виделись целый год. Витька Зверев, то и дело сплёвывая, поставил ногу на ступеньку, с прищуром посмотрел и спросил:

— Знаете, кто мы? — потом достал тетрадный листок с неровными краями и стал читать.

Письмо Кости было написано бодрыми словами, но сквозило от него такой тоской, будто сыростью и плесенью из картофельного подвала.

— Напиши, что с вагонами давно уже завязали, — сказал Валерка, когда Зверев дочитал письмо.

— Это ж сколько времени пройдёт, пока с Костей снова встретимся, — ужаснулся Серёга. — Надо написать, что не забыли его. Страдает ведь человек... Надо написать, что не забыли...

— Раскудахтались, ишь вы, — угрюмо проворчал Витька. — Спохватались! Написать, написать... а что раньше не писали? Что Костя о нас думал, представляете? А мы тут гитары конструируем... с девчонками балдеем...

Валерка с Сергеем заикнулись, было, что собирались написать, но адреса не знали, у родителей Кости спросить стеснялись.

— Стеснялись! Ишь вы, какие совестливые! — опять трубным голосом возопил Витька и вверх по лестничной клетке понеслось эхо его голоса.

— А сам-то, — огрызнулся Шурик, — такой же. Костя сидит, а ты гуляешь.

— Ты меня с собой не равняй. Я... Я, может, и сейчас согласен... Мне, может, совесть жить не даёт.

— Я, предположим, тоже согласен... — оцетинился ещё больше Шурик, не отрывая глаз от Витьки.

— Ты?! — Зверев, как всегда перед дракой, сжал и разжал пальцы, но потом сунул руки в карманы, присел на ступеньку и, уже миролюбиво, предложил. — Давайте обсудим по-хорошему: виноваты мы или не виноваты.

— Как? — не понял Валерка. — Чего?

— Перед Костиком, говорю, виноваты, в долгу мы перед ним?

— А-а, — протянул Валерка, — ясно, по гроб жизни.

— Ему судимость эта всю жизнь покалечит. Он в загранку хотел матросом устроиться. Теперь, наверное, не разрешат... У меня вообще чувство такое, что Костику, по моей дурости, ногу или руку оттяпали.

— Надо письмо Костику написать, — сказал Валерка. — Потом и посылочку можно ему туда послать.

По лестнице между ребятами пробежала спустившаяся сверху кривоногая собачонка. Шурик отшвырнул её ногой и собачонка, кувыркнувшись, залилась оглушительным писклявым лаем. Наверху хлопнула дверь.

— Пошли отсюда, — Витька быстро поднялся и махнул всем остальным. — Зачем нужно было животину обижать? Нам ещё скандала не хватало.

Когда вышли из подъезда, Валерка объявил:

— Знаете, что я придумал? Давайте купим Костику классный мотоцикл. Как раз к его возвращению и купим.

— На какие шиши? — спросил Шурик скептически.

— Придумаем что-нибудь, — пожал плечами Валерка.

— А что — здорово, — заулыбался Серёга. — Чётко Агафон придумал: мотоцикл — мечта Кости. А заработать можно на разгрузке кирпичей или ещё чего там. В свободное время. Как думаешь, Витёк?

Витька неопределённо пожал плечами. Идея не его и согласиться с ней сразу ему не позволяло достоинство. Но, раз он её не отвергает, значит, был согласен.

— То апельсины, то чеснок выгружали, — хмыкнул Шурик, — а теперь на кирпичи перешли... Где его взять-то — свободное время?

— Ох, Костик и обрадуется, — Серёга продолжал растягивать в улыбке губы, оглядывая друзей. — Придёт и обалдеет от радости...

— Он уже балдеет... тама, — буркнул Витька. — Когда перед кем-то совестно, всегда стараются или забыть его, или откупиться подарками. Закон жизни.

— Так что ж, выходит?... — помрачнел Серёга. — Жить-то как? Сам же говорил, Зверь?..

Витька выгреб из кармана семечки наполовину с табачным крошечком, стал кидать по одной семечке в рот.

— Я, в общем, не против, — сказал он. — Можно мотоцикл. Костя,

конечно, рад будет... Я вот только думаю, — Витька, что-то решив, сбросил с ладони семечки и махнул рукой. — Короче, я категорически согласен.

Лупились обмороженные носы, саднили лопнувшие мозоли, ныли отбитые кирпичами ногти, от мешков с мукой стирались подушечки пальцев. Теперь глаз натренированно отмечал не рефрижераторы с чесноком, а отогнанные в тупик, под разгрузку, вагоны с цементом, кирпичом. Валерка Агафонов, назначенный казначеем, со всей серьёзностью вёл счёт заработка каждого в специальной тетрадке, разлинованной на четыре графы. В графе под буквой «Ш» выходила самая маленькая сумма. Шурик оправдывался наступившей сессией, огромными «хвостами» и уверенно обещал к лету догнать остальных.

Дни летели незаметно. И сами дни сделались до предела заполненными, казалось странным, что раньше можно было умирать от скуки, сидеть часами вместе и ни о чём не говорить. Теперь же разговоров: где и сколько работали, кто что выгружал, как шла работа, сколько заплатили и многое другое, вроде бы мало интересное, но общее для всех дело, с важной для каждого целью. Раз в неделю Валерка объявлял общую сумму и ребята горделиво переглядывались, мол, не «додики» какие, могут, если надо, и своим горбом деньгу заработать. Побольше бы времени — ещё больше б заработали.

К апрелю было накоплено сто тысяч рублей. Потом случилась драма: Агафонов-старший, в запое, выскреб из Валеркиного тайника все деньги до копейки. Валерка винился перед ребятами, скрипел от злости зубами и почём свет поносил папашу. Всем было обидно до невозможности, но, жалея страдающего во весь голос, ограбленного казначея, только поддакивали.

— Пусть подавится, — плюнул Шурик. — До его совести разве докопаешься. Будем считать, что деньги гавкнулись стопроцентно, забудем о них и начнём всё с нуля.

— Да, — поддержал и Витька, — не вешаться же из-за этого... Жалко, конечно, свои ведь, кровненькие. Но ничего, ещё успеем заработать. Расскажем потом Костику, вот посмеётся...

Жизненная круговерть несла новые, большие и маленькие радости и печали. Несмотря ни на что, однако, «мотор» для Костики, как задача, как долг занимал первейшее место по важности. Может, от того, что уставали от работы, мало тянуло на разные приключения. Удивительно для самих себя благополучно закончили учебный год. Витька Зверев выбрался, наконец, из своего восьмого класса с двухлетним сроком обучения и устроился на судоремонтный завод.

После смены Витька вымылся в душе и, с лёгким сердцем, усталой походкой шёл к проходной. Заводская аллея была ещё пуста, лишь

навстречу, от проходной, стремительной походкой чуть не бежала женщина, в которой Витька признал мать Кости. Витька опустил глаза к асфальту, поравнявшись с ней, шёпотом поздоровался.

— Костя приехал! Отпустили его раньше срока... за хорошую работу и поведение! — Костина мать говорила, радостно захлёбываясь. Витька поднял глаза, увидел счастливое лицо, праздничную косынку на шее. — Вот, бегу отпроситься с работы... У-ух, аж запыхалась вся...

Напугав вахтёров, Витька большими скачками пролетел через проходную, впрыгнул на подножку автобуса и затоптался на месте от нетерпения. Как же с мотоциклом? Надо, хотя бы, мотороллер купить, на мотороллер денег хватит... Во дворе никого из ребят не было. Зверев заскочил на квартиру к Валерке, потом к Серёге — никого, как назло. «Куда же они задевались? — запсиховал Витька и закрутился кругами по двору. — Срочно надо брать деньги и бежать в магазин за мотороллером, иначе никакого сюрприза не получится».

Он сел на лавочку под детским «мухомором», посмотрел на Костино окошко. В это время из-за угла дома бесшумно выкатил блестящий голубенький мотороллер. За рулём, отталкиваясь, как на самокате, ногами от земли, сидел долговязый, чем-то знакомый парень с короткой стрижкой и оттопыренными ушами. Парень смотрел на Витьку и улыбался, скаля зубы. За его спиной виднелись довольные, хохочущие физиономии Серёги и Валерки.

Ночь без особых происшествий

Рассказ-хроника

По пустому коридору с деревянными половицами гулким эхом отдавались шаги. Капитан Жуков остановился напротив и спросил, прищуривав круглые, чёрно-блестящие, будто открытые баночки с гуталином, глаза:

— Дежуришь?

Каёмов на секунду задумался, что ответить на столь банальный вопрос. И ответил коротко «да», стараясь придать лицу и голосу бодрость, резкость и ещё что-то такое из суперменских характеристик, присущих лихому, опытному оперативнику.

— Тебя ещё так и не аттестовали?

— Нет, — дрогнувшим голосом ответил Каёмов на второй банальный вопрос заместителя начальника отдела.

— Ну-ну, — произнёс Жуков и под его ботинками заскрипели половицы. — Я вот что тебе скажу, — обернулся он. — Твоя мечта — скакать по крышам домов с пистолетом и вопить восторженным голосом: «Ни с места, руки вверх, ваша карта бита!» — навряд ли когда осуществится. Привыкай работать с бумажками. А то, насмотришься, блин, детективов — хрен потом нормально работать заставишь.

Погрустневший, склонив к плечу голову, Каёмов смотрел на цыганское лицо капитана и виновато молчал. Полгода уже отирающийся в стажёрах и всё ещё не аттестованный на офицера, сменивший профессию авиационного инженера на «романтическую» жизнь сотрудника угрозыска, заблудившийся на туманной границе умозрительных представлений и конкретной реальности, Каёмов теперь тоскливо слушал советы «привыкать работать с бумажками». И не верил этим советам. Потому что давал их ему почти его ровесник, уже дослужившийся до звания капитана, ходивший в авторитете среди

«зубров» угрозыска, имеющий на рёбрах отметину от хулиганского ножа, а на плече — морщинистую круглую лунку пулевого ранения и, по той же причине — орден на парадном кителе. Не за работу ж с бумажками все эти отметины, авторитет и ордена.

Красное старинной кладки трёхэтажное здание районного отдела милиции напоминало своими архитектурными рудиментами утрюмо насупившегося старика. Одно за другим гасли окна на этажах и, казалось, озлобленный на всё окружающее, старик постепенно успокаивается, затихает его бурчание, глаза застилает сонное безразличие к бешеному, беспорядочному миру вокруг.

У дверей райотдела покуривали, перекидываясь редкими фразами, трое из дежурной смены. Майор Васильченко, дежурный по отделу — широкоплечий, рослый, но в очках с толстыми стёклами, так портящими весь его богатырский вид. Участковый уполномоченный Галиев — тоже в форме, с маленькой звёздочкой на погоне, да и сам Галиев с виду очень худенький и застенчиво-незаметный. Третий, в штатском костюме — лейтенант ОБЭП Козлов, похожий на красивого артиста в роли отрицательного персонажа.

Во дворик вышел капитан Жуков, пристраивая на смоляные, пружинистые, как проволока, волосы форменную фуражку.

— Петрович, я домой, — сказал он, приметив майора Васильченко. — Если что — я на месте.

— Если что — тогда конечно, — кивнул с улыбкой Васильченко. — Пока-то тихо, а там уж, как получится. Стихия...

— Стихия-то стихия, но, чтобы без висячек. С нераскрытыми у нас и так перебор. — Жуков оглянулся назад и подошёл поближе к дежурному по отделу. — Каёмов с вами дежурит? Присмотри уж, Петрович, чтобы парень опять чего-нибудь не наколбасил. Его б энергию, да в разумное русло.

Васильченко, Галиев и Козлов понимающе усмехнулись.

— Ну, не нравится ему по мелочёвке работать, — Васильченко развёл руками. — Подавай ему крупняк, преступление века. И чтоб прям главаря мафии за ухо в кабинет прокурора притащить. Не меньше.

— Это ж полнейшим идиотом надо быть, — тоном явного презрения высказался Козлов. — Вчера, рассказывали, что он отчебучил. Простой угон мотоцикла превратил, по материалу, в грабёж с применением насилия. А угонщика-то нет, его надо установить и найти.

— Вот-вот, — добавил Васильченко. — Искать-то ему. А что мелочиться из-за простого угона? По грабежу оно... престижней.

— Почему, идиот? Диплом у человека, — робким голосом вставил Галиев. — Просто он очень работать хочет. Устанет — и будет, как все.

— Пока он устанет, других инфаркт хватит, — скривил губы Козлов. — Тут не диплом, тут талант нужен. Для оперативной работы.

Жуков покачал головой и пошёл к поджидающим его жёлто-синим «Жигулям».

Оставшиеся у подъезда поговорили немного об уехавшем Жукове. Козлов сказал, что их замнач прямо рождён для того, чтобы работать в угрозыске: крутой мужик, злой и мудрый.

— Если мудрый, то не может быть злой, — заспорил Галиев.

— А при нашей жизни, если не дурак, обязательно обозлишься...

Под лёгким ветерком шуршали ветками деревья, падали на асфальт первые жёлтые листья. Вечер был прохладным, с сыростью, но не хотелось расходиться по кабинетам, где надоевшая обыденность казённой обстановки сама по себе навевает усталость, а за предстоящую ночь дежурства сделается просто до чертиков обрыдлой.

Из дверей выбежала с бумажкой в руках дежурная по пульту связи девушка-сержант в не по-уставному укороченной юбке.

— Борис Петрович! — помахала она бумажкой. — А на Пионерской, 22 — семейный скандал с хулиганством.

— Ты как докладываешь? А? — майор Васильченко принял строгий вид. — Будто какую сплетню сообщаем... А на Пионерской скандал с хулиганством, — пискляво передразнил он сержанта. — И вообще. Кто тебе позволил покидать своё место? Я ж тебя предупредил, раз пришла на службу в таком безобразии, — майор чиркнул ладонью по нижней кромке своего кителя, — так сиди и с места не поднимайся, не раздражай мне тут личный состав... Ох, Сорока, ну, Сорока...

Сержант по фамилии Сорока независимо мотнула короткой причёской и убежала обратно в дежурку. Васильченко взглянул на Козлова с Галиевым, потом задрал голову, посмотрел на окна второго этажа.

— Каёмова, что ли, послать, — вслух поразмыслил он. — Дело пу-
стяковое, разберётся он там один, а?

Галиев быстро слетал наверх, позвал Каёмова. Тот предстал перед майором с уже готовым выражением решительности на лице, с плотно сжатыми губами и вздёрнутым подбородком.

— Ну, вылитый камикадзе перед последним заданием, — хмыкнул в сторону Козлов.

— Вот что, Иннокентий, там это... возьми адрес у Сороки. Дело несложное — семейный скандал, разберись, посмотри по обстановке, если нужно, оформишь протокольчик. Не торопись, не спеши. Так, чтобы всё аккуратненько и вежливо, — проинструктировал Васильченко.

Каёмов развернулся, придерживая звякающую в кармане куртки мелочь, побежал к выезжающей из ворот дежурной машине.

— Адрес!.. — крикнул ему вслед Васильченко. — Возьми! А, чтоб тебя... Не торопись!

Каёмов, опять бегом туда-обратно, вернулся с адресом, запрыгнул в машину.

— Что-нибудь серьёзное? Такая спешка? — поинтересовался шофёр, притормаживая у светофора. — Может, мигалку включить?

— Давай, — коротко распорядился Каёмов, не оборачиваясь и глядя с каким-то напряжённым вниманием куда-то вперёд.

По указанному адресу в коммунальной квартире на три семьи из восьми человек Каёмов застал обстановку полнейшего домашнего разора: стоял хай, как на потревоженном птичьем базаре, плакали дети, в ругательном диалоге слились в унисон визгливые женские голоса, под подошвами хрустели осколки посуды.

— Всем спокойно! Всем оставаться на местах! — сунув правую руку в карман с мелочью, левой показывая удостоверение, Каёмов прошёлся по разорённой жилплощади. Остановил подозрительный взгляд на мужчине в разорванной майке, прижимающем к носу окровавленную тряпочку. — Кто вызывал милицию?

Из тени коридорчика выступила женщина с чёрной чёлкой до глаз, в кофте из мохера нежно-жёлтого, цыплячьего цвета.

— Пройдёмте на кухню, снимем показания. Остальных буду вызывать в порядке очереди, — голосом с хрипотцой объявил Каёмов.

Васильченко толкнул рукой широкую дверь из толстого стекла, на которой красными буквами нарисовано: «Дежурный помощник начальника РОВД». Под надписью имелась маленькая рамочка, куда вставлялась бумажка с фамилией дежурного. Как на прилавке магазина: «Вас обслуживает продавец такой-то». Из кабинета дежурного выходила другая дверь, в помещение для задержанных. Оттуда слышались звуки азартного футбольного репортажа. Васильченко заглянул за дверь: плотненький круглолицый сержант, похожий на колобка, облокотившись на обшарпанный письменный стол, с застывшей улыбкой блаженства, сжимал в руках маленький телевизор.

— Наши выигрывают?... Оно и видно.

Васильченко вернулся в кабинет дежурного, посмотрел через прозрачную плексигласовую стенку в каморку оператора связи. За пультом телетайпа сержант Сорока увлечённо наяривала косметической пилочкой по своим ногтям. Васильченко хотел было напугать Сороку, стукнуть по плексигласу кулаком, но передумал. Прошёл на своё место под большой цветной картой города, расстегнул китель, сел в просторное кожаное кресло на крутящейся ножке.

Будто только и дожидаясь этого момента, звякнул телефон городской АТС. Майор Васильченко плавным движением протянул руку к трубке и так же плавно, округлённым движением, поднёс её к уху.

— Слушаю. Дежурный по райотделу майор... Кто?! Нет, мамаша! Светленьких шестнадцатилетних девочек мы сегодня ещё не задерживали... Пожалуйста.

Васильченко покрутился на кресле, потом, что-то вспомнив, вынул из ящика стола журнал регистрации происшествий. Листая его страницы, услышал доносившийся с улицы шум голосов. Распахнулась стеклянная дверь, вошёл рослый милиционер и стал пропускать мимо себя подростков пятнадцати-семнадцати лет. За пятым по счёту парнишкой шествовал, точно римский полководец в триумфе, командир патруля наружной службы старшина Гарбузов. Грузный, с седеющими волосами, командир патруля вытянулся перед дежурным по райотделу, выпятил вперёд живот, скошенной буквой «Г» приставил ладонь к козырьку фуражки.

— Товарищ майор, при пар-тур-лировании...

— А, давай короче, — отмахнулся от уставных формальностей Васильченко.

Старшина сменил стойку «смирно» на «вольно», схватился за локоть левой руки и жалующимся голосом начал доклад:

— Идём мы, как положено, маршрутом по Кольцевой улице, глядим, смотрим, значит, в садике у кафе толпа пацанов друг друга мутузят. Сначала думал — драка. Потом гляжу, смотрю, то есть, у них это... транс-парт— ранты... лозунги, одним словом. Я сначала свистел, свистел, культурно призывал к порядку. Я понимал, тут не простая драка — политическая, а они, стервецы, прямо увечат друг дружку на моих глазах и никакого внимания к окружающему общественному порядку. Ну, мы, после того, как я посвистел, влезли в кучу, стали их немножко того, успокаивать... Кто-то меня шибанул прямо по костяшечке, — старшина поморщился болезненно и потёр локоть. — Вот, кой-кого доставили, для принятия, так сказать, соответствующих мер наказания. Эти ихние... плакаты на палках я там, у кафе, в укромном местечке пока сложил. Может, что такое в них, неприличное...

Васильченко поднялся, прошёл вдоль шеренги доставленных.

— Вот эти, спереди двое, — монархисты, за царя, значит, — пояснил старшина Гарбузов. — А те трое несли флаги с черепами, называются анархисты, те вообще ни за кого...

Из пятерых только один парнишка выглядел растерянным и подавленным. Остальные всем своим потрёпанным в столкновении видом и взволнованными лицами выражали презрение к насилию и готовность к любой жертве за идею.

— Так-так. Допрыгались, доигрались в революцию — теперь в тюрьму. Всё — как в кино... Довольны, орёлики? — Васильченко испытывающим взглядом обвёл всех пятерых. Парнишка с растерянным лицом позабыл про рассечённую губу, с которой он беспрестанно слизывал сукровицу, и кровь из ранки извилистой струйкой потекла по его подбородку. Высокий парень в чёрной ветровке с надорванным рукавом отвернул голову в сторону и ухмыльнулся, покачиваясь на каблуках. — Сейчас — в тюрьму, потом — этап, потом — кандалы и

каторга: прощай молодость, прощай дискотека и эта, как её... видеобары с коктейлями через макаронину...

Затрезвонил один из стоявших на столе дежурного телефонов. Майор Васильченко взял трубку, ответил кому-то два раза «так точно» и захлопал по карманам, разыскивая авторучку.

— Галиев! — положив трубку, громко крикнул Васильченко. — Ах, вот ты... Этого вон, с разбитой губой, отпусти. Пусть ведёт сюда отцов всех этих гавриков. А их самих куда-нибудь размести пока, чтобы не сбежали и под ногами не путались. — Эй, Сорока! — крикнул он уже в операторскую. — Ты там следи за телетайпом. Сейчас должны свежую ориентировку из управления передать.

Ещё один телефон на столе разразился настырными трелями.

— Так-так... Подождите, гражданин, как это... пропало? Что, дверь взломана? Может... Я понимаю, вы не кричите, не кричите... Ладно, гражданин, сейчас выезжаем!

Майор Васильченко крикнул и недовольно дёрнул щекой. По внутреннему телефону вызвал Козлова. Тот явился в плаще, с зонтиком, оглядел дежурку и спросил про Каёмова.

— Нету ещё Каёмова, — буркнул майор. — Ты поедешь и следователь. Дуйте на трамвае, тут недалеко. Вроде бы — кража, а может быть, и нет. Разберётесь сами...

Во дворе затормозила машина. Донёсся визгливый женский голос, приближающийся всё ближе и ближе. Содрогнулась стеклянная дверь и в дежурку порывисто, с несмолкаемыми гневными восклицаниями, ворвалась женщина в пушистой кофте из мохера нежно-жёлтого цвета. За ней, едва поспевая, Каёмов со стопкой исписанных листков.

— Вас тут всех для чего посадили? — женщина, с ходу — в карьер, надела на Васильченко. — Вы как смеете?!.. Я... что вам?! Я вам такое напишу — век не отболтаетесь... Ишь вы!..

— Спокойно, спокойно, спокойно! Нас ещё не посадили. Мы, слава Богу, пока ещё на свободе... Расскажите по порядку, — Васильченко достал носовой платок и вытер со щеки брызги слюны.

Женщина орала с настроением возмущения, удивительно насколько не меняющимся. Васильченко покосился на Каёмова, стоящего с невозмутимо-нейтральным лицом, и вдарил кулаком по столу.

— Ты что такое натворил?! Законов не знаешь?!

Каёмов вздрогнул и инстинктивно втянул голову в плечи. Женщина в кофте мгновенно успокоилась, обернулась, со злорадством посмотрела на Каёмова.

— Садитесь, миленькая гражданочка, сюда. Нате вам бумажечку. Пишите. Напишите всё, как было... — Женщина, улыбаясь, прищёптывая: «ишь вы», отошла с авторучкой и листком бумаги к маленькому столику у дверей. Васильченко, как бы между прочим, обратился

вполголоса к недоумевающему оперуполномоченному. — Ну, что там за история? Кто, что, в чём суть-то?

— Два соседа подрались, — со вздохом ответил Каёмов, придвигая поближе к майору стопку собранных им объяснений. — Я во всём разобрался. Вон сколько бумаги исписал.

— Она на тебя сейчас вдвое больше напишет, — кивнул майор Васильченко на доставленную. — Значит два соседа подрались, а в милицию ты эту тётю притащил? А соседи-драчуны что сейчас делают, дальше друг друга увечат? Тебя туда для чего посылали, спрашивается?

— Я во всём разобрался с полной объективностью, — возразил уже оправившийся от смущения Каёмов. — Соседи уже помирились, смотрят футбол по телевизору... А эта вот, Семёнова, в их коммунальной квартире постоянно всех провоцирует. Начинаются разборки, ругачки, скандалы. Сначала женщины сцепятся, потом и мужики вмешиваются, и — пошло-поехало, типичная гражданская война. А Семёнова всех перессорит, а потом бежит в милицию или в домоуправление жаловаться на соседей. У неё тактика такая.

— Тактика, — хмыкнул Васильченко. — С людьми надо уметь работать. На одних бумажках далеко не уедешь, будешь десять лет стажёрских полторы тысячи рублей получать. Со своей тактикой... Иди пока, почитай ориентировки у Сороки.

— Я ж уже читал, Борис Петрович...

— Иди, ещё почитай. Эта — свежая.

Каёмов зашёл в операторскую, спросил у Сороки ориентировку и сел переписывать в блокнот сообщаемые для розыска перечень и приметы похищенных вещей.

— Ты что такой тоскливый? — спросила Сорока, наливая в чашку чай из электрического чайника.

— Я — тоскливый? Совсем даже наоборот, очень весёлый.

— По-моему, как мне кажется, ты начинаешь разочаровываться в работе. Она тебе уже не нравится? Совсем не то, как ты её себе представлял, да?

— А тебе нравится твоя работа? — вместо ответа спросил Каёмов.

— А что в ней может нравиться, — хмыкнула Сорока и обвела глазами операторскую.

— А что ж тогда ты тут работаешь?

— Мне надо, — прищёлкнув языком, игриво ответила сержант в мини-юбке.

— Ну-ну, — Каёмов спрятал блокнот в карман куртки, отхлебнул из чашки чай. — У меня за пять месяцев работы такая мешанина в голове образовалась. Вот и ты даже заметила. И жена мне говорит, что я какой-то придурковатый сделался. Чёрт её знает, может, я привык к определённости, так сказать, к честности цифр и формул. Есть рас-

чѐт, есть чертѐж — всё определённо, всё именно так и никак иначе. А тут... Что от меня требуется, никак не разберусь. И эти все люди, такие...

— Каёмов, быстро сюда! — раздался тревожный окрик майора.

У дверей дежурной части, прислонившись спиной к стене, прижимая к животу ладони, стоял бледный парень лет двадцати. Из-под ладоней на светло-жѐлтый линолеум пола капала кровь.

— Посади его на стул, — велел Васильченко, сам набирая номер «скорой помощи». — Требовали денег, ударили ножом. На углу Садовой и Будѐнновской, недалеко отсюда. Приметы помнишь: какие из себя, во что одеты? — уже у раненого спросил дежурный по рай-отделу.

— Освободите место, — сказал Каёмов всё ещё находившейся здесь гражданке Семѐновой.

Та поднялась со стула, с жадным любопытством смотрела на раненого парня, на брызги крови на полу, на горячившегося дежурного. Выглянул из-за двери одетый в плащ с капюшоном Галиев и кивком головы позвал за собой Каёмова.

— Я сейчас, следователя вызову! — добавил им вслед Васильченко. — Работайте там оперативней, а для подробного разбирательства подозреваемых направляйте сюда... Сорока! — крикнул майор в операторскую. — Вызывай на связь 12-го, передай: пусть Козлов остаѐтся там, следователя срочно нужно в отдел. У нас тут грабѐж с подрезом... Гражданка, вы ещё здесь?! — удивился Васильченко, поймав в поле зрения оторопело стоящую с листками в руке Семѐнову. — Идите, идите домой, там попишете. Ради Бога...

Васильченко передал сообщение дежурному по городскому управлению и глубоко вздохнул, переводя дух. Посмотрел на раненого парня, скрюченно согнувшегося на стуле. Налил из графина стакан воды, поднёс парню. Тот поднял затуманенные глаза, взял стакан липкими от крови пальцами, выпил, не отрываясь, и, скривив лицо, застонал.

— Потерпи немножко, сейчас «скорая» подъѐдет. Отправим тебя в больницу. Родители, жена — есть? Куда им сообщить, чтоб не волновались?

— Нет. Я в общаге живу, — глухим голосом ответил парень.

— А, ну, ладно. Ничего, найдѐм этих гадов, получают они по заслугам. Не беспокойся, — успокаивал бодрым голосом Васильченко. — Ты их хорошо запомнил? Опознаешь этих двоих?

— Не-е... там, вообще-то, один был...

— Ты же говорил, что двое на тебя напали? — удивился майор.

— Не-е, один. В пиджаке который, в полосочку... А второй, наверное, просто мимо проходил.

Майор Васильченко сомневающе качнул головой, посмотрел на

парня уже другими, не сочувствующими глазами, сказал голосом с более жёсткими интонациями:

— Ладно, разберёмся.

Прибыла «скорая помощь». Врач и медсестра осмотрели раненого, залепили пластырем чернеющую на животе треугольную дырочку, сказали, что ранение не опасное, не проникающее, но потерпевшего заберут в больницу на обработку.

— Ну, мы тебя сегодня ещё навестим, — в виде прощания пообещал раненому Васильченко.

Только отъехала «скорая», в дежурку с весёлым лицом и портфелем под мышкой вошёл следователь Гаврюшин, уса́тый молодой человек в забрызганных грязью туфлях и брюках.

— Какое ранение? — первым делом осведомился он, не убирая с лица ироничной улыбки. — «Скорая» его увезла?

— Угу, — невесело буркнул Васильченко. — Ранение не проникающее... А как там у вас?

— А никак, — следователь бросил свой портфель и показал на испачканные брюки. — Загубил почти совсем новый костюм, чёрт. Со всех сторон дом обошли, по пожарной лестнице пробовали, чуть не загремел в помойку... Ну, хоть бы какие следы проникновения. Посторонние не могли — уверен на девяносто девять процентов. Если бы кто так тонко и пробрался, что следов не найдёшь, то он бы одними золотыми коронками не ограничился... Ни черта там, наверное, нет никакого криминала. А дед, этот заявитель, просто от склероза забыл, куда свои червонные зубы заховал.

— У тебя вечно криминала нет.

— Чего у меня нет, так это — приличного костюма.

— На дежурство форму надо носить, а не пижонить в единственном костюме.

— В форме я от собственного отражения в зеркале вздрагиваю.

— Хватит шуточками перебрасываться, — посуровел Васильченко. — Видишь вот, покушение на грабёж, да ещё с ранением... Висячка из всего этого запросто может получиться.

— Может, — без улыбки поддакнул Гаврюшин. — Я тебя, Петрович, совсем обрадую: это не покушение на грабёж, а — чистейшей воды разбой. Вторая часть.

— Ну? Разбой! — Васильченко почесал подбородок, представляя, как будет выглядеть в отчётности за его дежурство нераскрытый разбой. — Это уж ни в какие ворота... вообще.

— Разумеется, — Гаврюшин пригладил усы, пряча под пальцами улыбку. — И если ещё останется нераскрытой кража зубных коронок — не дослужить тебе до пенсии, товарищ майор. А вот и... Слышите? — Гаврюшин поднял указательный палец. — Ещё один всплеск, как вы говорите, социальной стихии.

С улицы доносился разноголосый шум, ругань, команды, обиженные причитания. Помещение дежурной части наполнила, втекая через двери потоком прорвавшейся канализации, разношёрстная-разнопёрая толпа, видом отдельных личностей бесспорно показывающая от противного эволюцию человека от обезьяны — и именно от обезьяны, а не от какого другого животного.

Бродяжки мужского и женского пола, старые и ещё не старые, родственно схожие меж собой чем-то неуловимым, какой-то общей национальной чертой неизвестного для этнографии племени, только-только приобщившегося к цивилизации. Собранные патрулём на вечерних улицах и городских задворках для отправки в приёмник-распределитель, где вымоют, подстригут и накормят, расспросят о прошлом, проверят рассказанное, оформят документы. После этого их, с громадными хлопотами, будут стараться где-то разместить и к чему-то пристроить, чтобы жили они общенормальной, правильной жизнью, как все. Но они, продержавшись мгновение, точно почтовые марки без клея, слетают с назначенного им места, расползаются-разбегаются снова назад, к своей «нормальной» жизни, с однодневными птичьими заботами и мечтами.

Знакомая по многим дежурствам, сцена вызывала у Васильченко иногда смех, иногда раздражение. Но всегда удивляло, казалось странным, почему эти божьи птички так болезненно переживают, насильственно лишившись ночлега где-нибудь в тёмном подъезде, на собранных в кучу половичках или на перине из стекловаты, под трубами теплоцентрали в пропахшем квашеной капустой подвале. Будто бы их может ожидать что-то более худшее.

Бомжи, несмотря на усилия милиционеров, направляющих их в помещение для задержанных, растеклись по кабинету дежурного. Они возмущались, выкрикивали многочисленные причины, по которым наивно можно было поверить, что их подобрали случайно. Кого-то ждут из магазина дочка с зятем и грудная внучка, кто-то ночевал в подъезде потому, что поссорился с женой. Один костлявый испитой мужчина в несоразмерно длинном плаще кричал, что он инженер, отставший от поезда.

— На место! — как на непослушную псину, кричал майор на толпу бомжиков. — Разберёмся: кто инженер, а кто — муж с грудной внучкой... Всех проверим по адресному бюро. Лишних нам не нужно. Ах, чтоб вас!..

К Васильченко протолкался в блестящей от дождя куртке радостно-возбуждённый Каёмов. По его лицу было видно, что из него прямо рвётся наружу какое-то известие.

— Ну? — сердито спросил его Васильченко.

— Короче говоря, по улицам никого подходящего по приметам не встретили. Один мужчина — там он прогуливался с собачкой — со-

общил нам, что видел с полчаса назад парня, выходящего со двора частного дома...

— Ну и?.. — нетерпеливо перебил его майор. — Что ты всё вокруг да около.

— Так вот, этот парень по приметам похож на нашего потерпевшего. И он шёл, сгибаясь и держась за живот, — Каёмов выкладывал своё сообщение с загадочной недоговоренностью, будто приберегал козырную карту для последнего хода, отчего майор опять вспылil. Каёмов обиделся и по-мальчишески надул губы. — Что вы кричите, Борис Петрович! Ну, проверили мы тот двор, одна из квартир заперта. На крыльчке — капли крови и ручка двери липкая... Галиев там остался, в засаде. — Слово «засада» он вымолвил со сладостным умилением, как имя любимой женщины, и повторил ещё раз: — Мы с ним в засаде будем, пока кто-нибудь там не объявится.

— Это уже кое-что, — дежурный по отделу благосклонно посмотрел на Каёмова и по-дружески спросил: — А ты-то чего прибежал?

— Может, оружие выдадите, товарищ майор? А если там целая бандитская «малина»? Всякое может случиться...

— Что? — Васильченко прищурил глаза за очками. — Ору-жи-е?

Каёмов по интонации быстро догадался, что вопрос об оружии решён отрицательно, кивнул и быстрой походкой покинул дежурку.

— Слышал? — спросил Васильченко у Гаврюшина, понуро сидевшего на подоконнике и пощипывающего кончики усов. — Оружие ему выдай. Такому орлу выдай оружие, пальба будет стоять до самого утра.

— Ковбой, — усмехнулся Гаврюшин.

— Спать, что ли, захотел? — Васильченко посмотрел на Гаврюшина. — Глаза вон, как у кролика, красные.

— Захотел, — признался Гаврюшин и потёр глаза.

— Ты же говорил, что можешь двое суток не спать?

— Могу, — с усмешкой, в тон майору, ответил Гаврюшин, — но мои вторые сутки уже кончаются.

— Попей чайку, — посоветовал Васильченко. — Чую, скоро работа тебе будет.

Зазвонил городской телефон. Васильченко взял трубку, представился. Гаврюшин проследил за выражением его лица — лицо оставалось спокойным: видимо, ничего страшного. С усталым вздохом Гаврюшин оттолкнулся от подоконника, направился в операторскую.

— Сержант Ласточка, смирно! — сказал он, подходя к Сороке и бесцеремонно забирая у неё из рук стакан с чаем. Сорока посмотрела ледяным взглядом снизу вверх и возмущённо фыркнула. — Давай закурим, что ли?

— Я не курю, — Сорока с вызовом тряхнула короткой причёской.

— Я в этом нисколько не сомневаюсь, хотя неоднократно видел тебя курящей. Но для меня одна сигареточка найдется?

— Нет у меня сигареточек. Вон, у Туранова спросите.

Гаврюшин постучал пальцем по плексигласовой стенке сержанту, командующему бомжами в комнате для задержанных.

— Туранчик-баранчик, дай закурить.

Похожий на колобка, сержант обернулся с видом, полным достоинства и значительности. Слов не расслышал, но по жесту понял, чего от него хотят, показал на пачку «Явы» на своём столе.

— Петрович, а что у тебя за пацаны там сидят? — спросил Гаврюшин, выходя с зажжённой сигаретой из владений сержанта Туранова.

Майор Васильченко хлопнул себя по лбу:

— Ох, ты! Совсем забыл, закурился. Это их за драку доставили. Вызвал родителей, да что-то никто не является... А ну-ка, давай их сюда.

Четвёрка драчунов выстроилась перед дежурным, теснясь друг к дружке плечами и хлопая глазами, будто вытащенные на дневной свет совы. Поникий вид монархистов и анархистов, по всей вероятности, удовлетворил майора. Он хмыкнул и сказал, сурово блестя очками:

— Так как вы достигли возраста ответственности, без последствий ваша демонстрация, конечно, не останется. На каждого составлен протокол. Понятно? — Все четверо мальчишек покорно закивали. — А теперь — кышь по домам!

За стеклянной дверью возник Козлов с раскрытым зонтом над головой. Чертыхаясь, складывая зонтик, он направился к столу дежурного, протянул майору тетрадный листок, исписанный разнокалиберным почерком.

— В гробу я видел такие дела. Без транспорта, под дождём шлёпаешь по городу, как будто по своей нужде...

— Ну, вот, никакой кражи, оказывается, нет, — повеселел Васильченко, прочитав написанное на листке. — Заявитель в письменном виде приносит извинения за беспокойство. Просто-напросто его бабка перепрятала дедовы сокровища, состоящие из двух золотых коронок, в более надёжное место.

— Что и подразумевалось некоторыми проницательными людьми, — развёл руками Гаврюшин.

— Ты сюда — пешком? — с лёгкой улыбкой спросил Васильченко Козлова и протянул ему листок с адресом. — Ну, а теперь на машине давай, по этому заявлению. Хулиганство в женском общежитии... Ты — парень смазливый, к женскому полу равнодушен. Как в мать — тебе.

— Да что всё я, — запыхтел недовольный Козлов. — Передохнуть не даёте. Пускай, вон, Каёмов едет, пофигуряет перед девочками...

— Давай-давай, — подталкивая Козлова в спину, Васильченко вышел с ним во дворик райотдела. Постоял с полминуты, подышал пахнущим прелью сырым воздухом, спешащей походкой вернулся обратно.

Следователь Гаврюшин, сидя, дремал на стуле, в печальной позе сестрицы Алёнушки. Васильченко принялся заполнять журнал регистрации происшествий, между делом пытаясь расшевелить Гаврюшина шутливыми подначками. Однако Гаврюшин на подначки не реагировал, буркал в ответ что-то сонно-невразумительное.

Хлопнула дверь. В дежурную часть, поддерживаемый с двух сторон Каёмовым и Галиевым, вошёл мужчина в зелёной болоньевой куртке и домашних шлёпанцах. Из-под мокрой, прилипшей ко лбу чёлки смотрели пустые, по-пьяному бесстрашные глаза. Оперативники приставили доставленного к стене и Галиев направился к столу дежурного для доклада. Доставленный, спиной по стене, сполз до самого пола и уселся на корточки.

— Гражданин Лобанов, живёт — Лесная, 8, прописка есть, работает на вагоноремонтном, дважды судим, — скороговоркой доложил Галиев, точно камердинер своему хозяину — о прибытии важного гостя. — Очень злоупотребляет спиртными напитками, жена ушла. Соседи говорят — плохой человек...

— Кто говорит? Кто говорит-то?! — Лобанов скосил глаза на Галиева и попытался приподняться. — Ты мне скажи, кто на меня такую грязь льёт!

— Ты вот что, Лобанов, ответь: зачем человека ножом пырнул? — спокойно и будто без интереса спросил Васильченко. — Ведь нехорошо, правда?

Лобанов посмотрел из-под чёлки на майора и отрицательно замотал головой.

— Не-а... Никого я не пырнул... ножом.

— А отвёрткой?? — спросил Гаврюшин со своего места.

— И отвёрткой... никого не пырнул, — тягуче возразил Лобанов. — Вообще я никого ничем не пырнул.

— Потерпевший перед смертью прямо указал на тебя, Лобанов! — Васильченко поднялся с кресла, застегнул китель на все пуговицы, поправил на поясе кобуру, будто бы прямо в сей миг собрался зачитать приговор и тут же привести его в исполнение. — Ты признаёшь, Лобанов, что факты — вещь железная? Признаёшь, а?

Лобанов напряг все мышцы на лице, наморщил узкий лоб, в глазах проявилось затравленное выражение.

— Что... перед смертью? Он что... того... умер?

— Ну! — прикрикнул Васильченко.

— Не может быть. Я, вправду, не хотел... Он же — дружок мой, гуляли у меня вместе...

— Зачем деньги у него требовал?! Где нож или... чем ты там его ранил?

Лобанов не ответил. Он совсем ослабленно опустил задом на пол, закрыл ладонями глаза. Губы его скривились и мелко задрожали.

Присаживаясь опять на своё кресло-вертушку, Васильченко растегнул китель и кивнул Гаврюшину.

— Давай, занимайся.

Следователь пропустил вперёд себя задержанного и повёл его по коридору в свой кабинет.

— Как говорил один мой старый знакомый: «Так и запишем в протоколе», — улыбнулся Каёмову майор Васильченко. — Учись, пацан, ловить момент истины.

— Ещё задания есть, товарищ майор? — с бравым пристуком каблуков Каёмов сделал шаг вперёд и влюблённо посмотрел на дежурного.

— Тьфу-тьфу, слава Богу, пока тихо. Идите, ребятишки, обсушитесь. Социальная стихия даёт нам передышку.

Старые, в деревянном корпусе настенные часы, сомкнув стрелки на цифре «12», обещающе зашипели, собираясь возвестить боем наступление полночи. Но, пошипев, они бессильно тренькнули и перешли на обыкновенное тиканье. Васильченко, склонившись над журналом учёта происшествий, почёсывая переносицу кончиком авторучки, формулировал в уме фразы, которыми нужно зафиксировать в журнале криминальные события, произошедшие за его дежурство. Запись должна быть такой, чтобы на минимальное количество слов приходилось максимальное количество фактов, с обязательным перечислением времени, места, способа, субъекта и объекта посягательства.

Из операторской вышла Сорока и скучаяще прошлась по кабинету.

— Вот до чего этот Гаврюшин вредный, товарищ майор, — неизвестно с чего пожаловалась она. — Вечно шуточки, подковырочки какие-то глупые.

— Угу, — занято буркнул Васильченко.

— Пол надо вымыть, товарищ майор, грязь ужасная, — посоветовала Сорока.

Светлый линолеум на полу дежурной части действительно, особенно у дверей, был заляпан отпечатками грязных подошв, брызгами запёкшейся крови, откуда-то взявшимися клочками бумаги, окурками. Майор вторым «угу» согласился и с этим.

— Вроде бы образованный человек, интеллигент, а ведет себя с женщинами совсем некультурно.

— Кто? — не отрываясь от журнала, спросил Васильченко.

— Да про Гаврюшина я говорю...

— А-а, ничего. Молодой ещё, пройдёт.

— Вот, Каёмов — сразу видно, что интеллигентный человек. Вежливый, обходительный. Рассказывал мне сегодня, как он инженером работал. С формулами, чертежами там всякими. Так интересно. Настоящий культурный интеллигент...

— Кто? Гаврюшин, что ли? — рассеянно переспросил Васильченко.

— Какой Гаврюшин, Борис Петрович?!. Я вам про Каёмова...

Васильченко разозлённо бросил авторучку, крутанулся на своём кресле в сторону Сороки.

— Ты что привязалась ко мне со своими интеллигентами! Не видишь, я занят... Это тебя из-за короткой юбки на интеллигентов потянуло или наоборот?

Сорока обиженно фыркнула, в любимой своей манере встряхнула короткими волосами и танцующей походкой удалилась в операторскую.

— Ишь ты, тут, — Васильченко проводил её взглядом, похмыкал над какими-то своими мыслями, принялся разыскивать затерявшуюся авторучку.

Вошли Гаврюшин и заметно протрезвевший Лобанов. Прямо от дверей Лобанов с упреком спросил:

— Зачем вы, товарищ майор, сказали, что Колька умер?

— Иди, иди туда, — Гаврюшин завернул Лобанова в комнату для задержанных. Подошёл к Васильченко. — Петрович, машину надо.

— На место происшествия поедешь?

— В больницу, к потерпевшему. Кое-что не вяжется пока.

— Что не вяжется? Он же сознался, что пырнул? Давай-давай, быстрее возбуждай дело, мне пора в управление сводку передавать. Всё ж раскрыли... разбойное нападение.

— Да не совсем, чтобы так... И не так, чтобы совсем, — туманно выразился Гаврюшин, потирая утомлённые глаза.

— Езжай, разбирайся, коли у тебя — «не совсем», — разрешил майор. — Постарайся, Володь, побыстрее. Вдруг ещё что-нибудь на нашу голову свершится.

— Пять минут, — пообещал Гаврюшин.

Закончив заполнять журнал, Васильченко посмотрел на часы и поднялся с кресла со стариковским побряхтыванием. Прогулочным неторопливым шажком походил по кабинету, заложив руки за поясницу. Обратил внимание на измызганный линолеум, покачал головой и заглянул в комнату для задержанных.

— Туранов, выдели-ка одного трудолюбивого гаврика мне полы вымыть.

Сержант Туранов, туго обтянутый кителем, как апельсин — кожей, заполнял протоколы на бездомную братию. Перед ним на столе были расставлены стеклянные поллитровые банки, в которые складывалось содержимое карманов задержанной публики.

— Товарищ майор, тут у меня один говорит, что отстал от поезда. Живёт, говорит, в городе Щучинске. Это аж в Забайкалье где-то. Говорит, инженер — и никаких документов.

— В спецприёмнике разберутся, — не утруждая себя такой проблемой, отмахнулся Васильченко от вопроса сержанта. — Что это у тебя тут такое? — и Васильченко вытащил двумя пальцами из одной из банок круглую серьгу белого металла с маленьким зелёным камушком посередке. — Это чьё?

Туранов взглянул на номер банки, потом — в свои бумажки.

— Это имущество Бриллиантовой. Дешёвка, наверное, товарищ майор. Из алюминия.

— А может быть, золото с платиной, — подмигнул ему Васильченко. — И камушек, видишь, малюсенький какой. Из стекла таких маленьких не делают. Изумруд... Ты говоришь, Бриллиантова? Ишь, какую себе фамилию подходящую придумала. Где она?

Туранов выкликнул командирским баском фамилию, но лишь после третьего окрика с задней скамьи отозвался сонный женский голос:

— Ну-у, чего-о?

— Иди сюда, тебе говорят, — прикрикнул сам Васильченко.

Спотыкаясь через ноги собратьев, к майору нехотя подошла брюнетка лет сорока, когда-то, наверное, лет пять назад, красивая женщина, смуглолицая, с тонкими чертами, теперь же: бесформенно оплывшая, как сгоревшая свечка, с синюшным пятном под левым глазом, с распухшим носом.

Она мельком взглянула на серьгу, согласно кивнула.

— Ну, моя. А что?

— Где взяла?

— Муж-штина подарил...

— А вторая где?

— Такса. Сколько заработала — столько и заплатили. — Женщина взяла со стола металлическое пресс-папье и приложила его к левому глазу. — Если б ваша мусорка не подъехала, может быть, и вторую получила бы...

— Кто? Ты его знаешь?

— Первый раз видела. На большом рынке он меня встретил. Обещал ещё прийти, но тут меня подмели — и вся любовь. — Бриллиантова, будто расстроившись от воспоминаний, высморкалась в воротник кофты.

Васильченко вернулся к своему столу, позвонил дежурному по управлению. Переговорив, радостно потирая ладони, вышел в коридор и крикнул Каёмова.

— Гражданин майор, где можно набрать воды, чтобы заняться наведением чистоты в вашем негостеприимном заведении?

Майор Васильченко удивлённо обернулся. Позади него с ведром и шваброй в руках тянулся по стойке «смирно» отставший от поезда инженер из города Щучинска.

Прогромыхав по коридору, в дежурку вбежал Каёмов: в незашнурованных туфлях, с курткой в руках и с тревожно блуждающими глазами. Васильченко аж вздрогнул и сказал с упрёком:

— Что ты — как с печки упал? Кошмар какой приснился?

— Я думал, что случилось...

— Ничего не случилось. Повезёшь сейчас одну ханыжку в Заводской отдел. У них по краже проходит серёжка, которую обнаружили у этой дамы. По крайней мере, с описанием в ориентировке сходится. Сорока! А ну-ка там, запроси двадцатого, где его черти носят... Ну, этот Козлов — такой волынщик, как уедет куда, так хоть письма ему пиши: как, мол, твоё здоровье...

Каёмов захихикал, зашнуровывая туфли, потом спросил:

— Как там наш Лобанов, раскололся?

— Насчёт Лобанова следователь сомневается. Что-то не всё в том деле вяжется, — с неохотой пояснил Васильченко.

— Да что ж сомневаться-то. Своими руками его брал — махровый бандюга, козе понятно, — небрежным тоном знатока, для которого не существует проблем в его деле, заявил Каёмов. — Будем разводить мерихлюндии всякие, преступность утопит всех нас в своей мутной волне...

Инженер из города Щучинска принёс ведро с водой, замочил тряпку и, вздыхая вслух «ох-ох», начал смывать с линолеума следы прошедших событий.

— Что вздыхаешь? — улыбающийся майор перевёл взгляд с разглагольствующего Каёмова на инженера со шваброй.

— Да вот, мысленно рассуждаю, какие только случайности в жизни не случаются. Кто бы мог предвидеть такой поворот судьбы? Интересно бы только знать: божественный ли перст указал мне сие унижение как смирение гордыни в душе, либо тут происки дьявольского воинства.

— Ты же говоришь, что инженер, — с прищуром под очками, спросил Васильченко. — Материалист, а в Бога веришь?

— Ох, — опять вздохнул «бомжик». Он опёрся о швабру и сказал, благостно закатив глаза: — Все мы — инженеры, милиционеры — несмышлёные куры, которых высшая, непостижимая для нашего ума сила разводит в огромном, размером в целый мир, курятнике...

— Вы, правда, инженер? — с удивлением спросил Каёмов.

— Правда, — скромно потупил глаза «бомжик».

— А как же вы докатились до такой жизни? — Каёмов показал пальцем на грязный линолеум.

— Представьте себе, отстал от поезда. Без документов, без денег. Чужой город... Подходит милиция: спрашивают, есть документы? Я говорю, какие документы?..

— Что ты его слушаешь, — вмешался Васильченко. — Подобрали его в нашем районе. До вокзала час езды. Ин-же-нер!

— Вот, если вы тот, за кого себя выдаёте, объясните... Ну, например... назначение логарифмической линейки. — Каёмов со значительностью посмотрел на майора.

— Пожалуйста, — быстро согласился инженер из Щучинска. — Но, боюсь, моё чисто научное объяснение будет вам непонятно.

— Почему же, — коварно улыбнулся Каёмов. — Объясняйте, я пойму. Я тоже инженер, по летательным аппаратам.

— Э-э... я, к сожалению, по другому профилю, по сельскохозяйственному... Пол чистый, — обратился он к майору. — Можно отдыхать?

— Валий, отдыхай... товарищ инженер, — разрешил Васильченко.

«Бомжик» хихикнул, вытер руки о подкладку плаща и юркнул за дверь, во владения сержанта Туранова.

Васильченко расслабленно потянулся, сидя в кресле, широко зевнул, потом снял очки, протёр стёкла.

— Засыпает город, — меланхолично произнёс он. — По себе чувствую. Как в городе тихо — и меня в сон тянет. Примерно с третьего часа ночи, по моему опыту, наступает затишье. Во сне правопорядок не нарушают.

— Полночь — самое время для убийств. Когда нет лишних свидетелей, — с высоты своего сыщицкого опыта заявил Каёмов.

— Тыфу ты, чёрт, — Васильченко аж передёрнуло. — Типун тебе на язык, какие убийства... Ага, вот и Козлов-дорогуша, собственной персоной. Наверное, уже у себя дома побывал, поужинал?..

— Вы думаете, там так легко было разобраться? — взъершился Козлов. — Вам отсюда всё просто кажется...

— Каёмов, бери ту мадаму с серьгой, вещдок и быстренько, мухой, туда-обратно, — распорядился Васильченко. — Ты, Козлов, не бурчи. Иди, подреми пару часиков, потом меня подменишь, посидишь на моём месте, посмотришь, как раз, что отсюда кажется.

Каёмов уехал, Козлов ушёл отдыхать к себе в кабинет. Васильченко, зевая, походил по дежурке. Заглянул к Сороке: та, прикорнув у пульта, прикрывшись плащом, то ли спала с открытыми глазами, то ли витала в своих девических мечтах. Майор зашёл в комнату для задержанных. Тут уж угнетённое паспортной системой население храпело, сопело, присвистывало, будто средней величины оркестрик исполнял оригинальное музыкальное произведение. Лишь сержант Туранов, среди сонного царства сохраняя бдительность, часто-часто моргал глазами и курил одну за другой сигареты, чтобы нейтрализо-

вать табачным дымом густой запах прелых носков и немых, наверное, со дня крещения тел.

Васильченко вышел во дворик райотдела. Моросил мелкий дождик, брызгая мелкими капельками в лицо. Тихо, хорошо, людей нет...

Из-за поворота вырулил, разбрызгивая лужи, жёлто-синий «уазик». Из кабины выбрался Гаврюшин, выплюнул истлевший до самого фильтра окурок.

— Ну, что, возбуждать будем? — пропуская следователя вперёд себя, спросил Васильченко.

— Нечего там возбуждать, — ответил на ходу Гаврюшин. Он напрямиком направился в комнату задержанных, окликнул Лобанова. — Можешь идти домой. Но, смотри мне! Сам видишь, до чего докатился. Понял? Бросай такую жизнь...

Лобанов, со всем соглашаясь, сказал «до свидания» и быстро, чуть ли не бегом, рванул к выходу.

— Что это ты? — заволновался майор.

— А, всё это — туфта. — Гаврюшин опустил на стул около двери и достал из своей папки два бланка протоколов. — Нет тут никакого разбоя.

— Сам же говорил, что разбой?

— ...Вместе пьянствовали, потом подрались между собой. Лобанов ткнул потерпевшего стамеской. Тот разозлился, пригрозил его посадить, но по дороге к нам взял да передумал. Наврал чёрт-те что про каких-то незнакомцев... Еле от него в больнице правды добился... Вот, стервец, накрутил.

— И что ж теперь? — озадаченно протянул Васильченко.

— Будет медицинское заключение по ранению. Может, впоследствии возбудим дело за нанесение телесных повреждений. Потом видно будет.

— Хм, а что ж тогда мы волновались? — неизвестно кого спросил Васильченко.

— Работа такая, — устало улыбнулся в ответ Гаврюшин.

— Ну, ничего. Хуже было бы, если наоборот, — махнул рукой майор. — Такая-сякая она — стихия, — и он с опаской посмотрел на затаившиеся телефоны.

— Разрешите? — в дежурную часть вошли два прилично выглядевших молодых человека. У одного из них, одетого в плащ белого цвета, алела на щеке свежая царапина, спина и рукав плаща были испачканы грязью. Оба парня решительно направились к столу дежурного.

— Мы хотим написать заявление, — сказал вежливо вибрирующим голосом парень в белом плаще. Его товарищ щёлкнул вынутой из кармана авторучкой, показывая готовность немедленно приступить к этому делу.

Васильченко заёрзал в кресле.

— О чём, собственно, заявление, молодые люди?

— О привлечении к ответственности одного человека, — сказал тот, что с авторучкой.

— Он меня ударил, — добавил другой и показал пальцем на щеку. — Некто Ковальский. Вы его, вероятно, знаете: прожжённый картёжник, ранее судимый...

— А вы сами кто будете? — недружелюбно поинтересовался Васильченко.

— Коли это имеет какое-либо значение — студенты, — с холодной вежливостью ответил товарищ пострадавшего, прищёлкивая кнопкой авторучки. — Кстати сказать, будущие юристы.

— Как же так, граждане студенты и будущие юристы, вы оказались в одной компании с прожжённым картёжником некто Ковальским?

— Мы были в ресторане, просто отдыхали, слушали музыку... — спокойно, но с нотками раздражения начал объяснять пострадавший. — Я пригласил на танец девушку из-за соседнего столика. Как потом оказалось, подругу этого Ковальского. — Когда мы с ним, — парень показал на своего товарища, — вышли из ресторана, к нам подошёл Ковальский, нецензурно оскорбил нас и ударил меня вот сюда, — он показал на свою царапину, — возможно, кастетом. Я упал... Теперь вам всё понятно, товарищ дежурный?

— Откуда вы знаете его фамилию? Он вам показал свой паспорт?

— Нет, товарищ майор, — улыбнулся стянутыми губами пострадавший. — Просто, посещая этот ресторан, так, краем уха слышал кое-что об этой личности.

— Вы часто бываете в ресторане? — с наигранной, в тон собеседнику, вежливостью поинтересовался Васильченко.

— Это в каком же ресторане? — тоже спросил со своего места Гаврюшин.

— В «Парусе», — машинально ответил парень с царапиной, а потом обернулся и с презрением оглядел Гаврюшина. — Товарищ майор, почему в наш разговор вмешиваются ваши клиенты? Вы их держите для консультаций?

Гаврюшин, усмехаясь, посмотрел на Васильченко.

— «Парус» закрылся три часа назад. Пешком от него до райотдела полчаса ходу... Получается, что бедные ребятки два с лишним часа размышляли — подавать заявление или не подавать?

— Да, действительно, ребята, шли бы вы домой. Хорошо подумайте, решите окончательно, завтра приходите... Сейчас вы выпивши... Никуда этот некто Ковальский не денется, — начал уговаривать настырных заявителей Васильченко.

— В конце концов, что вы за мужики, — добавил Гаврюшин. — Здоровые лбы испугались мозгляка Ковальского. Бежите в милицию

жаловаться... Тут-то вы вон как на меня окрысились. Не страшно, потому что милиционеры вокруг, оберегут, в случае чего. А в кабке разок щёлкнули по челюсти — вы и разнюнились. Я не намного старше вас, но совет дам мудрый. Если гнилая душонка — не танцуй с чужими девчонками. Чревато, как говорится, последствиями.

— Что-то не пойму, товарищ дежурный, — уже с явным высокомерием проговорил друг пострадавшего, — ваши консультанты консультируют и нас?

— Это — следовательно, — по-простому объяснил Васильченко. — И он дело говорит. Шли бы вы домой, граждане...

— Так-так, — многозначительно, как подводя итог, сказал сам пострадавший. — Значит заявление от нас отказываются принимать. Плюс... Плюс к этому ещё и пропагандируют самодеятельность в сфере действия закона. Самосуд — идеал справедливости, по-вашему? Мы уходим! — парень поднял воротник плаща, медленным шагом пошёл к выходу. У порога обернулся. — До завтра, товарищи милиционеры.

Когда студенты ушли, Васильченко переглянулся с Гаврюшиным и в озабоченности почесал подбородок.

— Сынки, видать, чьи-то...

— Угу, — согласился Гаврюшин, поднимаясь со стула и потягиваясь от ломоты в спине. — Золотая молодёжь... Ну, Петрович, я домой. Моё время истекло, и так лишнее передежурил. А завтра на работу... Тяжёлый день намечается, хоть выспаться успеть... Дай, Петрович, машину, до дому доехать, а?

— Пешком пойдёшь, для здоровья польза.

— Ну, спасибо. Благодарность ваша, товарищ майор, не знает границ.

— На здоровье. Иди, с Богом.

Васильченко посмотрел на часы, начиная раздражаться на долго отсутствующего Каёмов. Майору уже мерещилось, что этот оглашенный стажёр увязался в погоню за каким-нибудь выдуманым им мафиози, разобьёт машину или сотворит ещё какое «чэпэ» на голову своего начальства. Но вскоре мимо окна прогудела машина, заезжающая в гараж, и через минуту появился собственной персоной Каёмов.

Сдержав собирающиеся сорваться с языка упрёки в долгом отсутствии, Васильченко недоумевающе вгляделся в своего подчинённого. Тот прошаркал, будто с размягчёнными коленными суставами, к столу дежурного, положил на стол расписку. С пристызывающим выдохом опустил рядом на стул, утирающимся движением провёл по лицу ладонью, склонил голову набок.

— Ничего больше, товарищ майор? — не шевеля губами, спросил Каёмов.

— У меня-то ничего... А что ты такой вдруг смурной? — с подозрением и лёгким испугом произнёс Васильченко. — Заболел, может?

— Притомился что-то... — Бессильно склонённой головой Каёмов напоминал перегруженную плодами ветку, которая вот-вот должна хрухнуть от непосильной тяжести.

— А-а-а, — протянул майор. — Ну, сейчас самое время — собачья вахта. Да ты ещё с непривычки.

— Как будто в одиночку вагон кирпичей разгрузил.

— Бывает. Это от избытка впечатлений. Так сказать, психическое отравление. Всё это с непривычки... Иди, Иннокентий, покемарь, пока оперативная обстановка позволяет. Четыре часика осталось нашего времени. Бог даст, всё так спокойно и закончим.

— Ничего себе, спокойно, — голосом лунатика, без всякого выражения чувств, выговорил Каёмов. Шаркая мокрыми туфлями по недавно вымытому и уже опять затоптанному слякотными следами линолеуму, Каёмов на подгибающихся ногах вышел из дежурки.

Настенные часы ажурными стрелками показывали половину пятого. По стеклу монотонно барабанил дождик. Кончалась очередная дежурная ночь. Обычная ночь. Ночь без особых происшествий.

Больше никому

С подвизгивающим скрипом открылись дверцы большого, как гараж, металлического шкафа. Следователь Благовский достал с верхней полки восемь тощих папок с уголовными делами, перенёс их на свой стол. Сел и включил настольную лампу.

Свет настольной лампы создавал особую рабоче-таинственную атмосферу. По молодости лет Благовский любил таинственность и считал её необходимым атрибутом своей профессии. Пока не было его соседки по кабинету — пожилой, сварливого характера тётки в майорском звании, Благовский чувствовал себя самостоятельным, вполне опытным криминалистом, который и без пугающих его самоду окриков из-за соседнего стола: «А ну, кончай врать! Говори правду, а то мигом в камеру упеку!», сможет разобраться во всех тонкостях психологии подозреваемого. Поэтому он старался приходить на работу пораньше на час-полтора, чтобы хоть это время побыть без опеки грозной наставницы.

Благовский взял из стопки верхнюю папку, раскрыл и стал читать, потирая пальцами виски для стимуляции умственной деятельности. Тем временем за заиндевевшим окном медленно светлело. Из коридора стали доноситься топающие, шаркающие, цокающие шаги. И вот рывком открылась кабинетная дверь, вошла фигура в рыжей мохнатой шубе, пуховом платке, с лицом уже с утра чем-то озабоченной женщины.

— Опять глаза портишь, — сказала майор Нина Степановна и щёлкнула выключателем верхнего света. — Что вот в такую рань притащился, не знаю. Ещё насидишься над бумажками, вся жизнь впереди...

Теперь уж по-настоящему начался рабочий день.

Немного погода навелался следователь Гурычев, пижонистый брюнет с залысинами на лбу и чертами лица, характерными для отрицательных персонажей. Он имел привычку по утрам обходить все кабинеты, будто был ответственным за соблюдение трудовой дисциплины.

— Благовский, ты не забудь, что сегодня на выездах. А то опять утащишься куда-нибудь, а меня из-за тебя дёргать будут. Понял? — голосом старшего младшему объявил он.

— Понял, — кивнул Благовский, занято листая свои бумаги.

После того, как ушёл Гурычев, Нина Степановна решила высказаться по вопросу воспитания молодых кадров.

— Вот что, — с набитым печеньем ртом и прихлёбывая чай из большой фаянсовой кружки, сказала она. — Ты, на самом деле, кончай эту свою беготню. Твоё дело вот — авторучка и телефон. Приучайся, я тебе говорю, к усидчивости. Это самое главное в нашей работе.

Благовский не стал возражать. Ума и опыта для этого ему уже хватало.

— И вообще, что ты сидишь, бумажки перебираешь? — прожевав печенье, возмутилась Нина Степановна. — Где работа? Работы не вижу... Почему люди не вызваны?

— Вызваны, — кротко отозвался Благовский, сдерживая вздох. — Сейчас пойдут люди...

И люди действительно скоро пошли непрерывной чередой. Раздражённые обязанностями свидетеля очевидцы уголовных деяний, враждебно-гордые подозреваемые и обвиняемые, придавленные горем их родители, самоуверенные представители общественности, красноречивые до неуместности адвокаты и немногословные, себе на уме, оперативники из угрозыска. От писанины заныла рука, потом в голове начали путаться номера уголовных дел и действующие в них лица.

— Вот ты зря сразу вызываешь такую кучу народа, — опять недовольно заметила Нина Степановна. — Создаёшь перед дверями ненужное столпотворение.

— Ай-яй-яй, что творится. Работа бьёт ключом... — видимо, довольная царящим столпотворением, сказала, входя в кабинет, начальница следственного отдела Вера Аркадьевна, полная женщина с приятным лицом и высокой причёской. Она положила на стол Благовского несколько исписанных листков. — На, Юрочка, прими к своему производству небольшой материалчик. Кража шубы из универмага. Задержанная сидит в дежурной части...

— Слышь, Вер, — перебила её Нина Степановна, поддёргивая под крышку стола чулки. — В воскресенье у моего Серёжки день рождения. Где б мне колбаски и ещё чего-нибудь достать?

После обеда случилась дорожная авария и Благовского усадили на место происшествия. Лишь к вечеру он вернулся в свой кабинет.

Не успел он раздеться, как милиционер из дежурной части привёл к нему ярко раскосмеченную тушью, губной помадой и лиловым кровоподтёком под глазом девчонку лет семнадцати, с ещё чисто детским взглядом, но уже с выражением на нём повидавшей кое-что в жизни женщины.

— Что же вы обязанности свои не выполняете, — упрекнул Благовского милиционер. — Она у нас сидит без всякого документа уж целый день. Мы лично не собираемся из-за кого-то нарушать законность...

— Садись, — сердито приказал Благовский доставленной и покосился на Нину Степановну — одобрит ли та выработанный по её инструкциям тон. — Кто это тебя? — Благовский показал на синяк под глазом задержанной.

— Продавщицы в универмаге, — хлюпая носом, ответила девчонка и поправила падающие на лицо спутанные длинные волосы. — Зар-разы, злые, как с-собаки... Вешалками меня бить начали. А сами какие...

— Но-но, не выражайся... — Благовский разгладил бланк протокола и начал задавать вопросы по анкетной части. — Так, значит, в детдоме жила? Сирота? Родители умерли, что ли?..

— Да не умерли. Мотаются где-то, — задержанная неопределённо как-то махнула рукой. — А может, уже и умерли... Чёрт с ними.

— Ну, а сейчас где обитаешь? — постепенно смягчающимся голосом продолжал спрашивать Благовский.

— У тёток живу в пригороде. То у одной, то у другой... Они меня долго терпеть не могут, начинают злиться. Так я по очереди у них, пока у одной живу — другая успокаивается...

Нина Степановна уже сложила в шкаф свои дела, фаянсовую кружку и пачку рафинада, оделась и собралась уходить. Однако у самых дверей всё-таки остановилась и сделала Благовскому последнее наставление:

— Ты не рассусоливай, не рассусоливай. Допрашивай по делу, оформляй задержание и иди домой. На каждую ханыжку сердце не трать, подорвёшь здоровье — и пенсия не нужна будет.

После ухода наставницы Благовский почувствовал себя так, будто снял весь день жавшие ноги ботинки. Он включил настольную лампу, повертел в пальцах авторучку и тоном пронизательного сыщика задал следующий вопрос:

— Ну, а как же так нехорошо с шубой получилось, Чернова Аня, красавица писаная?

— Да вот так, — улыбнулась задержанная и развела руками. — Что ж мне — всю жизнь в этой детдомовской поддегдаловке ходить? — она для убедительности подёргала за пуговицу короткого для неё, изрядно потёртого демисезонного пальто. — Другие расфуфырятся во всё иностранное — и им можно...

— Так то ж не ворованное. Заработать надо! — Благовский покачал головой, показывая своё изумление. — Заработай — и покупай, что хочешь. Ты работаешь где-нибудь?.. А почему не работаешь?

— А не нра-вится мне ничего, — Чернова презрительно мотнула спутанной причёской, положила ногу на ногу и ладонями сдвинула повыше юбку на коленях. — Я замуж хочу. Чтобы, значит, жить в семье, чтобы за детьми ухаживать, чтобы муж красивый-красивый был и меня любил кош-шмарно. Ну и, конечно, чтобы водку не пил.

— Это правильно, — согласился Благовский, всё крутя меж пальцами авторучку. — Но ведь, пойми, ты же совершила преступление.

Чернова испуганно посмотрела и два раза хлопнула носом.

— Почему — преступление?.. Другим, значит, можно, а мне нельзя?

Она сложила корабликом ладони, ткнулась в них лицом, громко заплакала, навзрыд, дрожа всем телом и даже стул под ней жалобно запищал.

— Вот этого я не люблю, — растерянно пробурчал Благовский. Он на самом деле не любил, когда его клиентки прибегали к такому непроцессуальному способу защиты. Пусть иногда, очевидно, не искренние, но эти слёзы смущали его до подавленности, выбивали из рабочего образа, будто надавливали на какой-то там нерв, отчего сразу слабели все мышцы.

Благовский налил в стакан из чайника Нины Степановны тёплой воды, подал своей подследственной.

— Меня никогда никто не жалел... У меня в жизни одни только несчастья, — вытирая рукавом перемазанное размытой косметикой лицо с опухшим носом, пожаловалась Чернова. Она взяла стакан и выпила всю воду до капельки. — Я вам ещё вот что скажу, — уже с таинственностью в голосе проговорила она. — Два дня назад... я в этом же магазине стибрила кофточку. Так мне эта кофточка понравилась — ужас. А денег-то у меня — сами понимаете. А стоит она шестьдесят рублей... Обалденно мне идёт, вот тут такие двойные пуговицы, а вот тут такой узенький бантик...

— Ну и где же сейчас эта кофточка? — мрачно спросил Благовский.

— Дома, где ещё-то... Я вам её обязательно принесу. Уж если становиться на честный путь, так полностью и окончательно. Вы правильно говорили, что в честном труде человек становится, это... благородней...

— Я этого не говорил...

— Но всё равно. Это ж так?

— Так, — кивнул Благовский. — Но перейдём, наконец, к делу, давай допишем наш протокол.

Уже полностью успокоившись и сонно жмурясь, Чернова равнодушно пробежала глазами исписанные листки, поставила в нужных местах свои закорючки.

— Всё?

— Пока всё. Вот я тебе выпишу на завтра повестку и жду тебя с той самой кофточкой, у которой бантик. Понимаешь, конечно, что похищенное нужно возвратить...

Благовский собирался ещё прочитать небольшую лекцию о том, как чистосердечное признание влияет на смягчение вины. Но Чернова, забрав повестку, без всяких слов прощания шмыгнула за дверь.

— Юрий Ильич! — начальница следственного отдела, чем-то очень удивлённая, вошла утром в кабинет Благовского. — Я что-то не пойму, Юра, а куда подевалась вчерашняя девица, которую я поручила тебе? Её нет среди задержанных.

Благовский поднял на начальницу серые глаза и, уже чувствуя, что сделал что-то не так, простодушно ответил:

— А я её отпустил. Она сегодня явится ко мне и принесёт ещё раньше украденную кофточку.

Вера Аркадьевна развела руками, показывая, что у неё нет слов.

— Как же, явится она к тебе... Ты разве не разобрался в её личности: кто перед тобой? Она — без определённого места жительства, нигде не работает. Её место до суда — в следственном изоляторе... Вы слышали, Нина Степановна, что Благовский отмочил? Он, видите ли, её отпустил...

Нина Степановна душой уже участвовала в разговоре и на вопрос начальницы быстро-быстро закивала.

— Ну, что сказать, ну, что... Глупый. О себе не думает. А вот как не явится эта воровка — с кого будет спрос, почему не избрал необходимую меру пресечения?

— А она не явится, — категорично, металлическим голосом заявила Вера Аркадьевна.

— Конечно, не явится. Нужно больно ей за нашего Благовского беспокоиться... Да, извиняюсь, Вер, ты не забыла, что я у тебя просила?

— Помню, помню... Ох, Благовский, беда с тобой, — вздохнула Вера Аркадьевна. — Если, даст Бог, явится твоя воровка — сразу оформляй арест.

Благовский не стал возражать, да и что можно было возразить. То, что он разбирается в людях не хуже их и знает, кому можно верить, а кому — нет. И то, что не поверь он этой заплаканной девчонке, которая ещё так мало видела доброго в жизни, та совсем разочаруется в справедливости и хороших людях, превратится в потерянного для общества человека. Но это, как, разумеется, скажет многоопытная Нина Степановна, — «высокая материя, и отношения к работе не имеет».

Благовскому вдруг стало скучно, захотелось уйти домой и лечь спать. В настенном радиоприёмнике пропикало двенадцать часов — время, указанное в повестке Черновой... На каждый стук в дверь Благовский с надеждой в глазах поднимал голову — но в кабинет входили совсем другие люди: усатый брюнет с приторно-ласковыми манерами, подозреваемый в мошенничестве; прикидывающаяся идиоткой продавщица из пивного киоска; чересчур эрудированный в законе двадцатилетний спекулянт, — а девчонки с симпатично-наглой мордашкой, расцвеченной синяком, всё не было.

Потом зашёл из соседнего кабинета следователь Тюрин, вечно всеми недовольный мужчина с большой круглой головой. На этот

раз он, как во внутреннем монологе, бурчал себе под нос обвинения в адрес городской АТС и отечественных телефонов.

— Дай-ка я от тебя звякну, — сказал Тюрин, сядя на стол Благовского. Он нервными рывками закрутил диск, будто специально издаваясь над телефоном. — Ты что это, коллега, вчера кого-то из-под стражи отпустил? — между прочим спросил он. — Да?.. О, чёр-рт! — Тюрин, разозлясь, кулаком вдарил по звякнувшему аппарату. — И зачем ты это сделал, а? Тактика такая, что ли?..

— Низачем. Просто пожалел, — сквозь зубы процедил Благовский, глядя на близкий к глазам залоснившийся карман тюринского пиджака.

— Не-по-нят-но, — по слогам произнёс Тюрин, продолжая мучить телефон.

После «коллеги» Тюрина наведался как всегда франтоватопарадный Гурычев с незажжённой сигаретой в губах.

— Так-так, — с усмешкой сказал Гурычев, поддёрнув брюки и присаживаясь напротив Благовского. — Значит мы — гуманисты, благородные души...

— Некогда мне, — насупленно буркнул Благовский, понимая, что из-за этого любителя насмешек он надолго станет объектом ехидного остроумия.

— Ах, некогда... Из-за большой занятости ты объявляешь амнистию своим клиентам. Вон оно что, понятненько...

Уже под конец рабочего дня опять зашла Вера Аркадьевна. Остановившись у дверей, она, едва сдерживая смех, спросила:

— Не была твоя?

— Нет, — твёрдо ответил Благовский. — Не приходила.

— И не придёт, — сказала начальница с ямочками на щеках. — Этого следовало ожидать.

— Может, завтра... Заболела.

— Не глупи, какое «завтра»? Она смеётся сейчас над тобой. И другим рассказывает. И те тоже смеются... А завтра она, вполне возможно, новую кражу совершит или двинет в гастроль по стране — и ищи ветра в поле. Таким кралям, как она, везде и стол, и дом найдётся.

— Ну, объявлю её в розыск, — подавленно, всем своим видом соглашаясь с доводами начальницы, сказал Благовский.

— Ишь, ты, какой хват... в розыск. Понесёшь материалы на розыск, а тебе скажут: сам отпустил — сам и разыскивай...

— Ну, и разыщу, — уже злясь на психологическое давление, с вызовом сказал Благовский. — Адреса её теток у меня есть. Вот выберу свободное время и поеду.

— И поезжай, — невозвращающе произнесла Вера Аркадьевна, пожимая плечами. — Если от твоей мамзельки ещё след не простыл.

И она посмотрела на Благовского так, как смотрят на взрослых детей, продолжающих верить в живого Деда Мороза.

В окна бились снежные заряды, метель бесновалась, будто в сказочном мультфильме. Ужасно не хотелось подниматься в воскресенье в шесть часов утра и по такой сволочной погоде тащиться чёрт-те куда. Но винить за всё это, кроме себя самого, было некого, и Благовский, ругая только себя, закутавшись в шарф по самые брови, вышел из дома и, подгоняемый попутным ветром, зашагал к электричке.

Через два часа он оказался на самой окраине городской географии и по живым указателям разыскал красное кирпичное здание местного отделения милиции.

— А-а, Чернова. Знаю, — сказал дежурный капитан со шрамом на переносице. — Фигура примелькавшаяся... Но где её искать — ума не приложу. Гуляет девчушка по всему посёлку, давно уж пора её на короткий поводок.

Из уважения к товарищу из центра дежурный выделил Благовскому в помощь пожилого участкового в звании младшего лейтенанта и транспортное средство — вытрезвительский «луноход».

Со стариковским кряхтением младший лейтенант влез в кабину, а Благовский устроился в каркасной будке со скользким, как намыленным, полом и густо-кислым невыветрившимся запахом местных алкоголиков. На поворотах сила инерции начинала швырять Благовского по будке из угла в угол. Он перепробовал все положения, ощупал в поисках опоры стены и потолок, но в этом салоне, приспособленном лишь для лежащих пассажиров, совершенно не за что было держаться. Когда машина наконец остановилась и Благовский, держась за травмированную коленку, спрыгнул на снег, он почувствовал себя маленькой букашкой, которую долго трясли в спичечном коробке.

Чтобы разыскиваемая Чернова сразу обнаружилась по первому же адресу, это слишком невероятно, и поэтому Благовский не очень-то расстроился, когда ни у одной, ни у другой тётки не оказалось их гулявой племянницы. Младшая тётка — худая и замороченная своими заботами, в рваном под мышками платье — вроде бы искренне объяснила, что не видела Аньку уже больше месяца. Потом поправилась, что дня три назад Анька заскакивала к ней на полчаса, поела жареной картошки и, как молодая козочка, поскакала дальше. Старшая тётка — бой-баба с борцовской фигурой, с усиками на губе, находилась в объявленной войне с участковым по поводу разных взглядов на самогоноварение и поэтому она, не обращая никакого внимания на Благовского с его вопросами, азартно собачилась с младшим лейтенантом, пока тот, плюнув, не выбежал из её квартиры. Тётка без церемоний вытолкала вслед Благовского.

— Ну, вот, что с ними поделаешь, — безысходно сказал участковый, сняв шапку и вытирая платком дымящуюся лысину.

— Может быть... засаду организуем? — не очень уверенно предложил Благовский.

— Засаду?.. Это, конечно, дело, — надевая шапку, кивнул младший лейтенант. — Если кого стоящего хватать. А из-за этой киски, думаю, мне руководство не позволит транжирить служебное время.

— А не служебное время?

— Не служебное? — участковый с прищуром посмотрел на Благовского. — С этим ещё сложнее... Ты мне вот что скажи, начальник, с какой стати ты её отпустил? Уликов не было — или что?

— Пожалел, — со злостью, кривя губы, ответил Благовский. — Кто ж знал, что она такая...

— Вон оно-то чего, — непонятно что уясняя для себя, протянул участковый. — А то мне Анькины товарки рассказывают, будто в городе в Аньку влюбился до смерти следователь, она теперь за него замуж собирается, и теперь ей всё до фени...

— Что?! — Благовский побледнел от возмущения и даже топнул ногой. — Я... в неё... замуж?

— Болтают. Девчонки — что с них взять, — рассудил младший лейтенант, открывая дверцу кабины. — Садись, что ли, со мной, — пригласил он. — Уместимся. Только вот шинэлку бы мою не помять. Заедем ещё в один адрес, может, там эта шалавушка гуляет.

К пяти часам вечера по посёлку расползлись сумерки. Усталый, с промокшими ногами, потерявший одну из перчаток и пряча замерзшую руку за пазухой, Благовский брёл по узкому переулку, высматривая номера засыпанных снегом частных домов. Закончивший своё дежурство участковый оставил ему ещё несколько адресов, по которым иногда захаживает такая публика, как Чернова Аня. Но посоветовал лучше приехать в следующее воскресенье или ждать звонка, когда Анька сама приплывёт в руки местной милиции. Разупрямившийся от всё возрастающей злости на свою коварную и неуловимую подследственную, Благовский сказал, что будет искать, пока не найдёт или пока не свалится от усталости.

На доме № 69 не было никакой нумерации, но по идее — это и был тот самый дом: неухоженный двор, развалившееся крыльцо, оконная рама с фанеркой вместо стекла и громкая музыка внутри.

Благовский не стал стучаться, да и стука всё равно б не услышали — такое упоённое веселье сотрясало одноэтажное строение. В просторной комнате, свободной от мебели и полной людей, человек восемь дружно топали, подпевая орущему магнитофону: «Девушка Надя, чего тебе надо...». В накуренной дымке под потолком раскачивался в такт прыжкам грязно-красный абажур.

На Благовского никто не обратил внимания. В основном здесь присутствовала молодёжь по восемнадцать-двадцать лет, некоторые постарше, а в углу за столом сидел с жидкой бородёнкой дядька в предпенсионных годах. Приглядываясь, Благовский подумал, что

на воровской шалман это не похоже, на развратный притон — тоже: слишком открыто и весело, скорее, какая-то полуподпольная диско-тека на любой вкус. «Если Аньку и тут не найду, так хоть погрёюсь немного».

Он снял шапку, оттянул от подбородка шарф, прошёл к дальней стене и сел на свободное место рядом с бородатым мужиком.

— Здорово! — сказал мужик, вкось посмотрев на Благовского. — Что-то я тебя не знаю? Закурить есть?

— Я из города. Некурящий, — коротко ответил на все вопросы Благовский, выискивая глазами среди танцующих и сидящих у стен свою подследственную.

— С города... да ещё некурящий... Что это тебя сюда занесло?

— А тебе что?

— Э-э, я, земляк, люблю молодёжь, — бородатый улыбнулся, хлопнул густо татуированной рукой Благовского по колену. — Хожу специально посмотреть, как они веселятся, как девчушки попками вертят. Сижу, смотрю и свою молодость вспоминаю, будто мне тоже двадцать и я ещё в полном развитии... Я, земляк, много нагулялся, много натерпелся. Как пошёл в восемнадцать по указу от сорок седьмого, так вот только три года как ни от кого не прячусь. Любуюсь теперь на чужую молодость.

— И уму-разуму, наверное, молодёжь учишь? — хмыкнул Благовский.

Бородатый усмехнулся, убрал свою ладонь с его колена.

— А что их учить? Они и сами сейчас на всё горазды, умнее моего... Насмотрелся на этапах: волчата — любого матёрого загрызут.

— А Чернову Аньку не знаешь? — нейтральным голосом поинтересовался Благовский.

— Чернову? Девчонку, что ли?.. Нет, не знаю, — замотал головой мужик. — Спроси их кого-нибудь, — и он сам позвал одну из танцующих: — Эй, Анфиска! Вон, гражданин из города спрашивает какую-то Чернову. Не знаешь таковскую?

— Аньку-то? — разгорячённая пляской Анфиска подошла поближе, сдувая прилипшие ко лбу волосы. — Так она только что была...

— Где? — не сдержавшись, Благовский аж приподнялся с табуретки.

— А, вон, говорят, она к тётке за самогонкой побежала, — всё отдуваясь, по-свойски объяснила Анфиска. — А ты кто ей? Не её жених из города?..

— Ага! — резко сказал Благовский. — Он самый, жених. Сейчас на свадьбу её повезу.

После яркого света Благовский заплутался в тёмных сенях, опрокинул наполненное чем-то ведро. Ругаясь в голос, нашёл наконец дверь на улицу.

— Эй! — окликнул его вышедший на крыльцо бородастый. — Ты знаешь, где её тётка живёт?

— Знаю, — спешаще отозвался Благовский.

— Ну, тогда иди вот здесь, через огород. Там овраг перейдёшь и сразу у её дома окажешься. Так в пять раз короче.

Благовский развернулся на сто восемьдесят градусов, крикнул бородатому «спасибо».

— На здоровье, — негромко буркнул тот, закуривая папиросу.

Пробираясь по снежной целине, Благовский как-то мимолётно подивился, где же Анькины следы и как она вообще могла тут пройти, по такому глубокому снегу. Прочертив своим телом борозду по овражному склону, он спустился на самое дно извилистого длинного оврага — и только тогда понял, что завяз окончательно, хоть кричи: «На помощь!». Рыхлый снег доходил почти до подмышек, где-то под ним журчала вода, противоположный склон был крутой и высокий, с нависшими глыбами глины. Крепчал к ночи мороз, на тёмном небе отчетливо желтела луна. Благовскому вспомнился его тёплый кабинет, настольная лампа и рыдающая Чернова. «Вот это меня обдурили», — чуть не кусая себя от злости, подумал он.

Но он всё-таки выбрался из оврага, набрал снега и в ботинки, и в карманы, и за пазуху пальто, разорвав на коленях брюки, перемазавшись в глине по самую макушку. На той стороне действительно была улица с уже знакомым пятиэтажным домом, в котором обитала усатая Анькина тётка.

«Эх, попади ж она мне в руки... — мстительно размечтался Благовский. Голова у него кружилась от хлынувшего в кровь адреналина. — Брехливая соплячка, наглая воровка... невеста нашлась, тоже мне. Я тебе устрою предварительное следствие...»

Тётка-самогонщица жила на третьем этаже. На узкой неосвещённой площадке, между вторым и третьим этажами, Благовский, как точно наведённая на цель ракета, столкнулся лоб в лоб со своей подследственной, прижимающей к груди две завернутые в газету поллитровки.

— Ну, вот, — с усталой радостью выдохнул он. — Вот ты и попалась.

Для пущей гарантии Благовский крепко взял Чернову за плечо. Анька сначала игриво захихикала, потом разглядела в полумраке, кто это такой — пылкий ухажёр, и, испуганно растерявшись, проговорила:

— О-ой, это вы-ы... За мной, что ли?

Благовскому хотелось разразиться грозной ругательной речью, составив её из всех тех хлёстких выражений, что насобиравал он за свою двадцатипятилетнюю жизнь. Но кое-какие качества характера мешали ему это сделать, а других желаний у него в эту минуту не было и поэтому он некоторое время молчал, сопел и цепко сжимал пальцами рукав Анькиного пальто.

— В тюрьму потащите, да? Ну, и пожалуйста... — Анька, конечно, расстроилась, но изображала несломленное хладнокровие. — Напу-гали, подумашь...

— А то куда же! Во дворец бракосочетаний тебя? Невеста...

Тут Анька смутилась, опустила глаза и закачала, как ребёнка, при-жимаемые к груди две поллитровки с самогонкой. Смирненным голосом она попросила отнести бутылки «ребятам, которые давали деньги».

— Щас! — на весь подъезд рывкнул Благовский. — Где твоя краде-ная кофта, паспорт — и живо едем в город!

Кофта оказалась плодом Анькиной фантазии, паспорт, к сча-стью — на квартире у усатой тетки, которая, по случаю и под настрое-ние, высказала Благовскому от имени народа своё мнение о работе правоохранительных органов. Ровно в полночь Благовский, держа свою подопечную на расстоянии не далее вытянутой руки, погрузили-ся в последнюю электричку.

— И плакать бесполезно. Меня теперь этим не проймёшь, — за-полняя протокол задержания, осипшим от усталости голосом пре-дупредил Благовский, заметив, что Чернова со всё сокращающимися интервалами начала хлюпать носом. — Распишитесь вот и вот тут, и пожалуйста в камеру, дорогая невеста.

Сонный сержант огромным, как у Буратино, ключом открыл тяжё-лую дверь. Обнимая свёрточек с вещами, Чернова испуганно остано-вилась на пороге, перестав вдруг всхлипывать, посмотрела в тёмное, со сводчатым потолком нутро камеры, которая, казалось, не имела дальней стены и напоминала подземный ход, ведущий неизвестно куда. Около самого порога валялись на полу две скрюченные фигу-ры, непонятно по каким признакам определённые для содержания в женской камере.

— Ну, вот и всё. Нагулялась — теперь отдыхай, — злорадно и одно-временно облегчённо, с чувством выполненного долга сказал Благо-вский.

Анька обернула к нему какое-то отрешённое лицо, с широко рас-крытыми сухими глазами.

— Давай-давай, — поторопил сержант-ключник.

Анька сделала несколько мелких шагов и дверь за ней закрылась с мягким звуком хорошо смазанных петель.

Благовский вернулся к столу, за которым выписывал протокол, забрал свою авторучку, паспорт задержанной и тут увидел пакет с пирожками, купленными в вокзальном буфете. Он взял пакет в руку, с пару секунд подумав, попросил сержанта отпереть камеру.

Луч света от раскрывшейся двери упал на сидевшую у стены Аньку. Та быстро вскинула голову, посмотрела на Благовского с надеждой и мольбой, как, наверное, смотрит наверх упавший в колодец котёнок.

— На вот тебе, — положив у её ног пакет с пирожками, тихо сказал Благовский. — Подкрепись, если хочешь.

Выйдя из помещения дежурной части, Благовский столкнулся в коридоре с «коллегой» Тюриным, в рубашке, без пиджака, тащившим откуда-то надувную подушку, решив, видимо, коротать ночное дежурство в лежащем положении.

— Ба-а, тебя каким ветром? — очень удивился «коллега», и от этого его постоянно недовольное лицо стало более-менее похожим на лицо нормального человека.

Благовский объяснил — каким ветром.

— Разыскал, значит. А вообще-то ты, коллега, большой лопух, — вместо похвалы сказал Тюрин, осматривая Благовского с ног до головы. — Смеются же все над тобой. А ты страдаешь от жизненной naивности, от собственного, искажённого идеализмом, мировосприятия.

— Всё верно, — натянуто улыбнувшись, устало махнул рукой Благовский. — Еле на ногах стою.

— Вот-вот, — обрадованно, что с ним соглашаются, добавил Тюрин и, расставив пошире ноги, перехватив в другую руку подушку, приготовился к большой речи. — Будешь умней на будущее. Больше уж никому просто так не поверишь...

— Больше никому... больше никому, — согласно закивал Благовский.

Печально-категоричная фраза — «больше никому» — занозой застряла в сознании и Благовский не мог никак уразуметь сам для себя, почему он её произнёс. Или он так решил на самом деле, или, просто, чтобы быстрее отвязаться от «коллеги».

Позёмка колючим снегом шлифовала скользкие тротуары, качались деревья и от фонарей по сутробам расплзались жуткие тени, будто кто-то крался рядом, выбирая самое тёмное место для нападения. Благовский быстро шагал по полночно-безлюдной улице и еле сдерживал желание оглянуться назад, посмотреть: чей это тяжёлый взгляд буравит ему спину. Он оглянулся раз, другой — потом ускорил шаг, затем побежал всё быстрее и быстрее, как только мог, на скользком, бугристом тротуаре.

Балерина

Зарезали балерину Вечную. Вечная — это её фамилия по второму мужу. Балериной она была в девическую пору. Лет пятнадцать тому назад вытанцовывала в группе кордебалета на подмостках областного оперного театра за восемьдесят рублей в месяц. Зарезали её кухонным ножом, испачканным в селёдке. Колотая рана в области сердца. Совсем мало крови — и мгновенная смерть.

Труп лежит на полу кухни. На белой со следами штопки кофточке — засохшее пятно бурого цвета, зелёная юбка в клетку и спущенные до колен капроновые чулки... Так записано в протоколе. Протокол дописали, балерину завернули в лоскутной половичок и увезли в морг.

Расследование шло точно по методике. Просто, основательно и с той опытностью, которая позволяет плотнику вгонять в доску гвозди с одного удара, а следователю — обнаруживать преступника с третьего взгляда на место происшествия. Времени прошло не так уж много, но уже предшествующие события, специфически называемые обстоятельствами преступления, выстроились в логическую цепочку.

Нервно возбуждённый хозяин квартиры: седой и высокий, борodka клинышком, которому для пушего сходства с Дон Кихотом не хватало помятого тазика на голове, рассказал всё очень подробно и почти без наводящих вопросов. Рассказал, во сколько собралась у него на квартире «компашка мальчиков и девочек», перечислил всех пофамильно, даже тех, кто просил не упоминать его. Упомянул и некоего Сашу, которого сам хозяин и пригласил на вечеринку, поскольку Саша когда-то оказывал ему некоторые услуги, а совсем недавно, вернувшись из длительной командировки, хотел маленько поразвлечься. По словам хозяина квартиры, были и мужья с жёнами, и просто — мужчины с дамами. Всех их, насколько стало ясно, объединяла высокая любовь к искусству. Все собравшиеся, за малым исключением, в прошлом — слуги Мельпомены, а некоторые — и по сей день. Собрались просто так, без веской причины, поговорить, пообщаться. Убитая была без мужа. Мужа своего она вообще не уважала, тот у неё — слесарь или токарь, и в искусстве ни бельмеса. Сама же она без него, то есть без искусства, жить не могла. Когда-то, три или

четыре года, числилась балеринкой, потом вышла из формы, списали её за профнепригодность. Банальнейший случай. Затем, естественно, муж, семья, дети... житейские волны, мутная заводь. А она всё жила в тех трёх годах своей молодости.

— Это кажется странным, наверное? — хозяин квартиры склонил голову к плечу и постарался заглянуть в глаза следователю. Тот на вопрос никак не среагировал, и тогда, помолчав пару секунд, хозяин попросил разрешения выразить своё умозаключение о вероятном убийце. Ему разрешили. — По-моему, тут замешан мужчина. С которым она выходила на кухню. Н-да, по-моему. Женщина тут ни при чём, поскольку женщина может решиться на убийство только из-за ревности и, что тоже допускаю, из-за зависти. Но Вечная не из тех, к кому ревнуют или кому завидуют. Она — особа тусклая, блёклая, фигурка... эм-м, тощенькая. И, знаете ли, даже запах от неё какой-то такой... неприятный... иногда, — свидетель сморщил нос. — Вы, конечно, поинтересуетесь, почему же она была вхожа в нашу компанию? Я отвечаю: из жалости. Для Вечной поговорить о театре, об артистах, о постановках... — это всё. Единственное, что осталось из её интересов... я уже говорил. Лиши мы её этого — она бы пропала. Ничего другого у неё не было. На работах она долго не задерживалась, не имелось у неё ни прилежания, ни квалификации какой-нибудь. Последнее время она, кажется, где-то в магазине уборщицей пристроилась, и раньше — в том же духе... Извините, я отвлёкся. Вероятный преступник, по-моему, тот, кто выходил с Вечной на кухню. А на кухню с ней выходил Саша. Больше никто... Только, если можно, в протокол мои слова об этом не записывайте. Должны меня понять: я живу один, натура у меня творческая, впечатлительная...

Под утро в кабинет к следователю ввели Сашу, снятого с пригородного автобуса. Следователь, измученный борьбой со сном и преступностью, взглянув на доставленного слипающимися глазами, без труда признал в нём типичного представителя постоянной клиентуры, из-за которой он и страдал хроническим недосыпанием и, кажется, язвой желудка.

— Давно на свободе?

Доставленный, ища сочувствия, вздохнул:

— Ещё недели нету...

— И не будет, — без сочувствия пообещал следователь.

В молчаливом ответе — «ещё посмотрим» — Саша обнажил под верхней губой рандолеву коронку и без разрешения плюхнулся на стул у дверей. Шумящие в его крови пары алкоголя придавали бойкости и пока что оберегали сознание от страха перед наступающими последствиями.

— Это что? — сунув под нос Саше снятую с него рубашку с брызгами крови, спросил следователь. — А это что? — он показал ему и

его брюки в мелких ржавых пятнышках. — Твои отпечатки на ноже. Будешь брыкаться или поговорим, что лучше в твоём положении: сто вторая статья или сто третья?..

Саша кисло улыбнулся и сказал:

— Пиши.

То ли от постепенно наступающей профессиональной деформации личности, то ли от каждодневного перенапряжения, следовательно не чувствовал ни такой уж острой жалости к убитой балерине, ни такой уж жгучей ненависти — к её убийце. В глубине души он даже радовался, что всё сходится так просто, всё стыкуется по шаблону криминалистики; вот, допишет сейчас протокол, вынесет постановление на арест и уедет домой спать.

Крупным почерком следователь записывал слова подозреваемого, облекая их в канцелярские обороты. Подозреваемый языком владел легко, разбирался в нюансах квалификации преступных деяний и поэтому к трагической развязке подходил постепенно и осмотрительно, выделяя обстоятельства, которые, по его мнению, могли смягчить вину и из безмотивного убийства сделать убийство по так называемым «уважительным причинам»: ссора, ревность, обида.

— Я, гражданин следователь, вообще психовый. По этой своей болезненной слабости и сел первый раз за хулиганку. И вчера — тоже нервничать стал. Сами поймите: только что освободился, охота на полную грудь вдохнуть воздуха свободы... А она мне всё про какое-то там «Лебединое озеро», то это «Озеро»... или не то. Не по-ихнему, вишь ты, что-то в том «Озере». Этот седой бобёр Венька пригласил, я и пошёл, думал, что артисточки там, балериночки, то-се. Короче, сами понимаете, наказание честно отбыл, могу теперь — как все. Я же мужчина, в конце концов. А?

— Ближе к делу, — буркнул следователь.

— Я и хотел это самое... ближе... — Саша спрятал под пятернёй гадливую улыбочку. — Там все парочками были. Одна только эта, убитая, без хахаля. Я не стал портить товарищам настроение и согласился на то, что другим не надобно. Учтите это, гражданин следователь: против общества не пошел, не нарушал порядок, держался благородно. Правда, кусочек не ахти какой лакомый, хоть я с голодухи. Вы бы сами посмотрели — белая моль. Ах, да... вы ж видели... Так я о чём? Да, прошу учесть...

— Короче! — следователь постучал по столу пальцем и посмотрел как можно строже на зубоскалившего убийцу.

— Всё, понял. Значит так. Когда сидящие за столом дядечки и тёточки закатывали друг перед другом глазки, сжимали пальчиками височки и талдонили, как попугаи: «Ах-ах, бездарно, бездарно», я раскрыл перед этой приютской курицей свою богатую и огромную, как сейфы Госбанка, душу. На жизнь пожаловался, слезу пустил...

Поймите меня правильно, гражданин следователь, у меня были самые добропорядочные намерения. Я хотел позвать её к себе или пойти к ней, если можно. Ничего такого аморально-криминального у меня и в мыслях не было. Чистый душевный порыв истосковавшегося по ласке человека. Ну, что я — не живой, что ли!.. Попрошу эти фразы как-нибудь поприличней записать в протокол. Суд учтёт.

— Уч-тё-ёт, — протянул следователь, разминая пальцы. — Дальше что?

— Ну, она сидела рядом со мной и я спросил её в духе повестки дня, сам не знаю, какой меня чёрт за язык дёрнул: «А любите ли вы театр?». Она так обалдело на меня посмотрела, раскрыла рот, потом закрыла и тихо прошептала: «Очень». У нас, как говорится, завязалась дружеская беседа. Она рассказывала, как она плясала в балете, а я ей — как пел в хоре. Потом у меня заболела голова от такой тоски. Сижую, сам себе наливаю и глотаю, чтобы, значит, от головной боли. Слушал-слушал её лепет, затем говорю: «Пошли на кухню, там поговорим откровенно, тут не та обстановка, не так поймут». Она сразу согласилась, я её особо и не уговаривал. Попрошу это тоже отметить.

Подозреваемый сменил в своём повествовании декорации и теперь рассказывал о том, что происходило на кухне. Следователь конспектировал наиболее существенное из его показаний, но, несмотря на большой опыт, никак не мог понять, куда клонит его собеседник.

— Вы не подумайте, что я грубо с ней или чего такого. Терпел сколько мог, все её эти... душещипательные рассказы. Но... Я, значит, у неё под кофточкой шебуршусь, а она, как с трибуны, костерит какого-то там своего начальника, который её из театра уволил. Вишь ты, не захотела переспать с ним. Я — то-сё, штучки-ручки, а она у меня на плече сопли пузырями пускает, о несправедливости лепечет. А я уж об этой справедливости, во... сколько наслышан. — Сашка большим пальцем чиркнул себя по кадыку. — Эх, думаю, какому дурню ты, крысёнок костлявенький, понадобилась, кто на тебя позарится. Может, конечно, в девочках она посмазливее была. А сейчас на неё только голодный зек, да и то на безрыбье, глаз положит... Ну, сил моих просто не было: я с неё капрон спускаю, а она толкается, не мешай, мол, да всё про свой театр. Да то-то она умела, и это-то у неё выходило, и тот-то её хвалил, да этот-то ручки ей целовал... Ну, сейчас, думаю, она мне ещё и танец маленьких лебедей сбацирует. Бешеная какая-то попалась. Я два года на свободе не был, женское тело ладонью пощупал — а она... Тьфу, чувствую, в псих впадаю, аффект, значит, на меня находит. Ну, и вмазал её слегка... Не-е, хотел вмазать, сдержался. Так просто замахнулся, от психу своего. Провались, говорю, ты, курица такая-сякая, со своим театром, кому ты там нужна была, если ноги кривые. Она глазами зыркнула, подбородок задрала — и из кухни. Пропал, думаю, вечер зазря. Ножик тут под рукой

оказался, на столе лежал. Я его хватя и ей в грудь... наставил. Просто припугнуть, без намерения, показать, что очень я того... переживаю. Ножик в руках держу и объясняю ей, что она нехорошо поступает: сама, дескать, заманила, губы помазала, а я же — живой мужчина, два года на свободе не был. Зачем же убегать? Но та взъерепенилась, мордочка злая, глазами такими на меня смотрит... как ведьма, аж не по себе. А тут в кухню какой-то мужик из гостей вошёл, нас увидел, губу отклячил с перепугу, развернулся и обратно. Эта, дура ненормальная, ка-ак дёрнется и прямо на ножик-то и напоролась...

— Сама?

— Как есть, сама, клянусь родителями. Жалко, никто не видел. Свидетели бы были, что я ни при чём.

— Ну, и дальше?

— А что дальше? Пропал вечерок, подумал. Положил балерину на половичок и тихо ушёл. Шум поднимать не стал, всё равно бы не так поняли.

— Погиб, значит, человек из-за любви к искусству? — спросил следователь и покачал головой.

Подозреваемый тоже покачал головой, потом то ли вздохнул, то ли зевнул и сожалеюще, будто балерину переехал трамвай, сказал:

— Неосторожная она была. Из-за своего балета, считай, на нож и прыгнула. Обиделась. Так-то она не против была...

Следователь передвинул подозреваемому протокол: прочитать и подписать. Тот внимательно пробежал каждую строчку и вернул листки.

— Так и допишите в конце: что потерпевшая погибла от любви к искусству.

Следователь холодно посмотрел на него и молча, щелчком пальца, подтолкнул подозреваемому авторучку.

Пока его ночной собеседник выводил на страничках протокола свои автографы, следователь утомлённо опустил ресницы. И тут перед глазами, как полусон-полуявь, предстала худенькая балерина в накрахмаленной пачке. Под неслышимую музыку она медленно кружилась на цыпочках по лоскутному половичку с ржавеющими пятнами запёкшейся крови.

Следователь вздрогнул, как будто его толкнули в плечо. Часто-часто моргая, он обвёл взглядом стены своего кабинета, точно впервые оказался здесь, и с досадой на себя самого подумал, что у него вот нет такого прошлого, которое стоило бы будущего.

Седьмой этаж, квартира справа

Из внезапно набежавшей тучи сплошной стеной ливанул дождик, тутие, как верёвки, струи зашумели в листьях деревьев, застучали по тротуару. Мгновенно образовались пузырящиеся лужи, запахло сыростью. Прохожие с быстрого шага перешли на бег, прикрывая головы газетками, сумками, портфелями.

Через полминуты пиджак Капустина промок и обвис на плечах бесформенным куском материи с двумя пуговицами спереди. Однако ж настроение Капустина от этого нисколько не испортилось, он даже не прибавлял шагу и как воистину счастливый или глубоко занятый своими мыслями человек был спокойно безразличен к такого рода неудобствам. Сам себя он, вероятно, не назвал бы так уверенно счастливым и мысли его в данный период скакали без всякой системы, как выпущенные на свободу зайцы. Просто чертовски устал, сказал бы он сам себе, ну и, в некотором смысле, доволен законченной работой...

Зелёный глаз светофора, отражаясь, множился в зеркально блестящем асфальте. Опережая Капустина, справа и слева люди побежали по «зебре» через широкое полотно дороги. Асфальт заблестел красным, и Капустин дисциплинированно приставил ногу, остановившись на осевой линии. Вдруг позади него по-аварийному истошно завизжали тормоза, раздался испуганный вскрик и чьи-то руки толкнули Капустина в спину.

Протолкавшись к окружённому зеваками «такси», он увидел у правого крыла машины сидящую на асфальте девушку. Длинные подвитые волосы спадали ей на лицо и она, громко всхлипывая, держалась обеими руками за левый бок. Над ней стоял водитель такси и, несмотря на растерянный вид, энергично переругивался с наседавшими на него пешеходами.

Таксист склонился к потерпевшей и, уговаривая, попытался поставить её на ноги. Рядом оказалась высокая девушка в джинсах и серебристом плаще. Она, оттолкнув водителя, принялась громко жа-

леть пострадавшую, гладила её по плечу, убрала ей с лица волосы, поправила юбку.

Капустин протолкался к машине, заинтересованно спросил:

— Серьёзная травма, встать сможете? «Скорую» вызвать?

Пострадавшая девушка, придерживаясь за подругу и водителя, поднялась и осталась стоять на одной ноге. Морщась, осторожно оперлась и на вторую, и, уже без всхлипывания, ответила Капустину:

— Могу... ничего страшного, наверное, нет...

— А что ж они на красный несутся, — обозлённо сказал таксист. — Я вёл по правилам. Хорошо, что успел тормознуть — а то б задавил и ничё мне не было.

Длинноволосая девушка взяла протянутый ей подругой платок и, вытирая лицо, совсем успокоенно сказала:

— Всё нормально, гражданин. В самом деле мы и виноваты: спешили очень.

Тут она с улыбкой попыталась сделать шаг, но сразу же ойкнула, схватилась за ногу и опять захныкала.

— Ну, вот, — обернулся к собравшимся уже было уходить Капустин. — Надо в больницу, на рентген. И запишите себе на память номер такси и фамилию водителя. — Таксист при этом согласно кивнул. — Можете и мою записать как свидетеля.

— Спешим мы очень. В больницу потом, — кривя губы, объяснила пострадавшая. — До свадьбы, даст Бог свадьбу, заживёт...

— Я отвезу, если надо? — предложил таксист. — Далеко?

Девушка в плаще назвала улицу и Капустин про себя отметил, что это в соседнем от него микрорайоне.

— А как же нам подниматься? Там седьмой этаж и лифт не работает, — с хныканьем пожаловалась пострадавшая своей подруге.

— Всё устроим, — категорично сказал Капустин и открыл дверцу машины. — Мне, во-первых, по пути. Во-вторых, сам промок до нитки. А в третьих... просто приятно прокатиться с красивыми девушками.

Колёса такси мягко шелестели по мокрому асфальту и с шумом прорезали глубокие лужи. С переднего сиденья Капустину кокетливо улыбнулась пострадавшая.

— Меня зовут Аля, — протянула она расслабленную ладошку, как для поцелуя.

— Александр Сергеевич. Саша, — пожал ей руку Капустин. И повернулся к девушке в плаще. — А вас?

— Меня — Галя... А что это вы так серьёзно: Александр Сергеевич?

— Привычка, — хмыкнул Капустин.

— Как Пушкина. Того тоже Александром Сергеевичем величали, — вставил таксист.

— А кем вы работаете? — спросила Аля. — Вы так напугали шофёра, что тот даже перестал ругаться на нас. Наверное, в ГАИ, да?

— Такая уж у меня привычка. Привык вмешиваться во всякие неприятности и заварухи...

— Вы, скорее всего, врач... или что-то в этом роде, — твёрдо заявила Аля и, кивком головы откинув назад волосы, посмотрела прищуренными глазами.

— Начальник уголовного розыска... в некотором плане, — улыбнулся Капустин.

— Ба-а-а, Галья! С каким человеком мы подружились.

Роясь в своей сумочке, Галя сбоку посмотрела на Капустина, оценила его профиль и недоверчиво мотнула головой:

— Заливает мальчик. С виду он какой-нибудь токарь-ударник и по совместительству активный дружинник... Начальник уголовного розыска, ха. Он в тебя, Алька, влюбился — вот и завирает.

Капустин в душе подсадовал на себя, что не к месту ляпнул о своей работе и даже завысил свою должность. На деле он только исполняющий эти обязанности на время отпуска своего начальника.

— Во-первых, действительно, я соврал, а во-вторых, можно было с тем же успехом представиться лётчиком или бродягой-геологом, — по привычке разложил на «первое-второе» Капустин.

— Закурить есть? — захлопнув свою сумочку, спросила Галя.

Капустин порылся по карманам. Нашупал под футляром походной электробритвы размокшую пачку сигарет, но тут же передумал её вытаскивать, извиняюще развёл руками.

— А с чего это вы, Галя, решили, что я уже влюбился в вашу подружку?

— А то нет. В неё каждый второй — с ходу, — с ревнивой злостью ответила Галя, прикуривая предложенную водителем сигарету. — Но тебе до Алечки, как до вершины Казбека. Не та фирма, дядя.

— Между прочим, в свободное время я занимаюсь альпинизмом и установил много всяких-разных рекордов. Может быть, слышали фамилию — Эдельвейский? Вот я он и есть: Александр Сергеевич Эдельвейский.

— Что-то знакомое, — кивнула Аля.

— Так вот, мне покорялись вершины и похлеще Казбека.

«Выносливый я всё же человек, — сказал Капустин самому себе. — Две ночи практически не спал, а смотри-ка, болтаю, как ни в чём не бывало».

Такси по указанию Али въехало во двор и остановилось у крайнего подъезда. Капустин протянул водителю два рубля.

— Альпинисты, особенно знаменитые, много зарабатывают, — сказал таксист, пряча деньги. — Выздоровливайте, девочки.

Обхватив Капустина за шею, Аля запрыгала на одной ноге к подъезду.

— Лифт, конечно, как всегда не работает, — захныкала она. — И вам,

Александр Сергеевич, придётся нести меня до самого седьмого этажа... И кому я такая нужна, одноногая. Вот вам, например, не нужна же такая инвалидная подружка? Бр-р, вы такой мокрый. Как лягушка...

Лифт не откликнулся на вызов. Девушки стояли в ожидании и смотрели на Капустина.

— Ну, что ж, раз попросился вам в помощь, придётся помогать до конца, — вздохнул он. — Как бы поудобнее вас пристроить на своих плечах?

— Хочу на руках, — капризно сказала Аля, — как в загсе.

— Давайте, как в загсе, — без энтузиазма согласился Капустин, перехватывая девушку за талию и под колени. — Вот так. Похоже?

— Похоже, — ответила с усмешкой Галя. — Юбку поправь, невеста, а то всё твоё приданое нараспашку.

«Эх, доберусь до дома, в ванную сразу, потом плотненько поужинаю — и спать, спать до следующего вечера», — погрузился в свои мысли Капустин, не обращая внимания на разговор девушек. Целая серия прокатившихся по району квартирных краж, остававшихся нераскрытыми на протяжении четырёх месяцев, по счастливой случайности вдруг, звено за звеном, цепочкой потянулась через несколько городов — и вывела сначала на одну преступную группу, а затем и на вторую группу домушников-гастролёров. Счастливая случайность. «Случайно» мелькнувший золотой шпих после целой горы просеянной породы. «Счастливая», потому что после первой горы, а не после второй, третьей, четвёртой...

За последние дни свезли из разных мест всех подозреваемых по этому большому делу. Кого из Вологды, кого из Сочи, где фартовые гуляки поднимали дым коромыслом, швыряя направо и налево наворованные деньги, чем и навели на свой след краснодарских оперативников. Другого скупердя доставили из города Владимира с целым чемоданом похищенного имущества: более крепкого доказательства и не пожелаешь, так как по этим вещам сделали привязку к шести квартирам. Пожалел ворюга о своей любви к уникальным предметам. Вот так: по кусочкам, по словечкам сложили, точно мозаичную картинку, основные обстоятельства преступления. Сразу же, как говорится, по горячим следам, в одну напряжённую неделю удалось провести всю работу по раскрытию. Правда, приходилось спать по два-три часа на стульях в кабинете, обедать-ужинать на ходу... Но зато какой «глухарь» удалось столкнуть с «мёртвой точки». «Нет, всё-таки положительная отдача в работе намного нейтрализует усталость, — подумал Капустин. — И прав был я, когда предложил не отзывать майора из отпуска. Начальник, который научил своих подчинённых хорошо трудиться, может спокойно отдыхать...»

— Ух, — облегчённо вздохнул Капустин. — Седьмой этаж.

— Нам направо, — проворковала Аля и показала на обшарпанную

дверь с косо привинченной ручкой, с болтающимся шнуром от электрозвонка. — А вы сильный, — благодарно улыбнулась она. — Зайдёте к нам, хоть обсохнете немножко.

Галя три раза, с продолжительным интервалом, стукнула в дверь.

— У вас кто там, бабушка с дедушкой? — осведомился Капустин.

— У нас там мальчишки, бедные и голодные, — с серьёзным видом ответила Галя, — и которые не любят посторонних.

— Тогда мне лучше самому быстренько спуститься вниз по лестнице...

Дверь приоткрылась на небольшую щелку, затем распахнулась на всю ширь. «Мальчик» лет за тридцать, с худым лицом, с блестящими чёрными глазами навывкате, от встречи с девушками, вероятно, очень обрадовался. Он присел в восторге, хлопнул ладонями по коленям и ладонью об ладонь.

— Ха, вот вы шустро... Ах, вы, наши лапусеньки, — он полез целоваться с Галей и Алей и тут, заметив Капустина, вытянул вопросительно губу.

— Это наш спаситель, — проходя в коридор, объяснила Галя. — Вытащил нас из-под машины, вернее, не нас, а Альку. Видишь, она скачет, как подстреленный воробышек. Приехал с нами на такси и Алька пригласила его к нам.

— Кто такой? — спросил он опять же у Гали.

— Альбатрос — странник морей, — самостоятельно представился Капустин и нахально протиснулся мимо парня в прихожую. — Биография хранится в секретном месте... О чём будем говорить дальше?

Дело в том, что это лицо с чёрными навывкате глазами показалось Капустину очень знакомым. И не просто когда-то встречались: знакомство с ним было связано с какой-то уголовной историей. Только вот с какой и когда?

Восемь лет оперативной службы выработали привычку не оставлять на потом непроверенных подозрений, и капитан Капустин, как пишут в милицейских детективах, моментально забыл о промокшей одежде, о ждущей его дома жене, тёплой ванне, ужине... Почти так. По той же самой привычке он принял положение «боксёрской груши», то есть надел маску простоватого увальня, эта маска будет безответно принимать на себя удары, пока не раскроется тактика и возможности противника.

«Вспомню и уйду», — решил Капустин. В памяти, как на листах фототеки, замелькали лица всякого рода романтиков уголовного уклона. «Ба-а, да он в дымину пьяный, — отметил Капустин, наблюдая, как «знакомый», шатаясь от стены к стене, направился по коридорчику на кухню. — Или накурился какой-нибудь гадости. Одно определённо: в театре и в библиотеке мы с ним не встречались. Интересно, помнит ли он меня?»

Капустин вошёл в комнату. За столом, бедным закуской, но обильно уставленным водкой и коньяком, сидели двое мужчин. У одного из них на коленях примостилась Аля и с характерной хныкающей интонацией рассказывала о приключившемся с ней несчастье. Тот, улыбаясь, поглаживал её по спине. Второй перочинным ножом вскрывал консервную банку и, увидев вошедшего, недоумевающе посмотрел на первого.

— Всем привет от капитана дальнего плавания, — Капустин развязно помахал рукой.

— Это что за придурок? Откуда вы его притащили? — агрессивно спросил гладивший Алю.

— Она вон пригласила, — кивнула на подружку Галя. Сама же, как опоздавшая хозяйка, суетилась у стола, нарезала хлеб, открывала банки.

— Армянский коньяк... Раз, два, три, четыре... Пять звёздочек, ух ты! — безмятежно удивился Капустин. — Дорогой же, наверно, побешеному? Я один раз пил такой. Давно, правда.

— Ты с какого корабля, капитан? — ухмыльнулся второй мужчина. Он сидел, вальяжно развалившись, в красивом сером костюме с жилеткой, с распушенным на груди узлом галстука.

Галя на эти слова презрительно махнула рукой:

— А-а, какой там капитан... Мелет, что на ум взбрѣдет: то чемпионом каким-то, то начальником уголовного розыска назовѣтся...

— Во-о как! — живо встрепенулся сидевший с Алей. — Попал, как в копеечку. Тут тоже все начальники по уголовному розыску собрались.

Капустин плюхнулся на стул, смущѣнно закрутил в руках консервную банку, разглядывая её этикетку. Не поднимая глаз, объяснил:

— Да чо там, ляпнул так, для юмору. Люблю, чтоб смешно было. Откуда ж я знал, что это... к вам попаду...

— Ну, ладно, хлопни стакашку и валяй отсюда, — грубо приказал тот, что был в сером костюме. Но потом добавил, уже помягче:

— Сам видишь, мы с девушками, нельзя посторонним.

— Пускай сидит, — закапризничала Аля и отошла от своего мужчины. — Пускай. Он мне нравится. Потому что он в меня влюбился с первого взгляда. И он почти спас меня, вот.

Мужчины захохотали. Галя взяла бутылку коньяка и ножом, которым нарезала хлеб, струганула по бутылочной пробке. Пододвинула Капустину залапанный стакан, налила доверху.

— Пей, Александр Сергеевич.

Сзади подошла Аля и потянула за воротник.

— Снимай, Сашенька, пиджачок, не бойся. Они тебя не тронут, пусть только попробуют. Я им, знаешь, как дам...

Под новый взрыв хохота Капустин в самом деле собрался было освободиться от мокрого пиджака, но вдруг вспомнил, что подмыш-

кой висит пустая кобура — «босоножка», быстро отпустил лацканы пиджака и схватился обеими руками за стакан. Сделал подряд два глотка, будто отхлёбывал горячий чай. Изобразил мину блаженства.

— Пускай клифт на мне высыхает. Я горячий, он быстро просохнет. — Капустин, растягивая губы в улыбке, обвёл глазами комнату. Голые стены, облепленные журнальными картинками. Потолок в каких-то тёмных разводах, в углах паутина. «Интересно, навевается ли сюда участковый?» — подумал он и, продолжая играть «боксёрскую грушу», восхищённо уставился на одну из картинок с обнажённой красавицей. — Красота-а!

— Ты где зарплату получаешь? — спросил мужчина в костюме. Он налил водки в четыре стакана, потом отвернул рукав сорочки и посмотрел на часы.

— А где дают, там и получаю, — ответил Капустин, не поворачивая головы. «Не зря руку задержал, когда сдавал оружие дежурному, — подумал Капустин. — А может быть, и к лучшему — без него: хоть за пистолет не переживаешь и мозги без оружия быстрее крутятся...»

— А когда не дают, что делаешь?

Вместо ответа Капустин кивнул на его часы.

— Котлы у вас, гражданин начальник — «Сейко-спорт». Пять сотенок с доставкой, как говорится, на дом. И никакая зарплата не сравнится. «А гулянка эта тут неспроста, — по ходу продолжал размышлять Капустин. — Питьё богатое... смех у них какой-то нервный, спешат, на часы вон поглядывает. Или эти рябчики что-то уже натворили, или к чему-то готовятся... Это какой же район? В сегодняшней ориентировке по этому району, вроде бы, ничего не было... Хотя при чём тут район, у себя под боком они не наследят. В Заречном районе вчера была кража со взломом из продовольственного магазина, но там — мелочь, а этот, в жилетке, видать, рискует лишь по крупному...»

— Хося! — закричала призывно Галя. — Хозяин, иди к нам! Ты что там, опять чёртика в духовке увидел?!

«Хося-Хозяин». В памяти как будто нажали на нужную кнопку и перед глазами Капустина всплыла чернявая измождённая физиономия на фоне зарешечённого окна в служебном кабинете начальника районного ОУР. «Хося, Хося, как же я тебя сразу не признал. Больше года, наверное, не встречались. Щёки твои ещё больше ввалились, глаза ещё больше выпучились... Вот и вспомнил, но уходить, пожалуй, рановато».

Хося вошёл лунатической походкой, взял со стола открытую бутылку пива и сел у балконной двери.

— Всё нормально, — сказал он. — Я сегодня в норме.

Капустин заметил, что Хося искоса рассматривает его: вероятно, тоже вспоминает-тужится. А, возможно, уже и вспомнил, и делает какие-то выводы. Два Хосиных приятеля, энергично двигая челю-

стями, шарили вилками по банкам и тарелкам с закуской. Девушки грызли шоколад.

— Ангел пролетел, — грустно объявила Аля. — Когда внезапно наступает тишина, говорят, что ангел пролетел.

— Откуда тут ангелам-то взяться, — краем губ улыбнулась Галя. — Если бес какой-нибудь — ещё понятно. А то — ангел.

Чтобы не пить лишнего и не вызывать своим молчанием вроде бы затухших подозрений, Капустин принялся рассказывать Гале и Але анекдот из матросской жизни, нарочно путаясь в словах и давясь от смеха. Галя выслушала со скучающим выражением и даже не улыbnулась, Аля немножко похихикала.

— Я схожу, отмечусь, — шепнул Капустин и кивнул на коридор.

Он прошёл в туалет, закрылся на хлипкую щеколду и, весело на-свистывая, закурил подмокшую сигарету. «Подходящее место для шахматного короля в цейтноте», — с внутренней усмешкой подумал Капустин. Он осмотрел свои карманы: удостоверение, перочинный ножичек, электробритва, бумажник с тремя рублями, записная книжка, карандаш. «А что если Хося уже рассказывает своим друзьям, что капитан дальнего плавания — капитан из уголовного розыска? Да, в кино, конечно, подобного рода истории заканчиваются с победным результатом. Почему-то фильмы с печальным исходом не снимают, как будто в жизни иначе и не бывает».

Капустин осмотрел стены, привстал на цыпочки и, засучив рукав, сунул удостоверение в вентиляционную отдушину. «Теперь осталось только написать духовное завещание... Если эти ребятки сотворили что-то крупное, очень мало шансов, что они не будут рисковать и дальше. Скрывая одно преступление, в страхе преследования можно совершить гораздо более тяжкое деяние — не одному мне это известно. Ох, ты, — Капустин от стрельнувшей в голове мысли перестал на-свистывать, — а не на их ли совести касса центрального универсама, под пятьсот с лишним тысяч рублей, двое тяжелораненых?..»

Несколько дней назад все работники городского аппарата внутренних дел были подняты по тревоге из-за дерзкого разбоя. Четверо преступников с ружейными обрезами за три минуты до приезда ин-кассаторов взяли дневную выручку крупного универсама. Действовали быстро и жестоко, при попытке лишь сделать шаг выстрелили в работницу универсама, а уходя — в попытавшегося схватиться за кнопку оповещения сержанта милиции. Исключительно дерзкое, редкое в практике преступление.

Капустин и его группа не были задействованы в работе по этому делу, поскольку вплотную занимались в то время своими «домушниками». О случившемся он вкратце узнал из оперативной информации да из разговора своих сотрудников.

«Ну, этим терять нечего, если это они и есть», — напряжённо ре-

шил Капустин. Он кинул окурок и стукнул кулаком по ручке спуска воды.

— Эй, ты, капитан! — прикрывая дверь, услышал Капустин развязный голос Хоси.

Хося сидел на кухне, тянул из стакана пиво и покуривал маленькими затяжками сигарету.

— Ты держишься так, будто в твоих руках — моя жизнь, — серьёзно, уже без маски, сказал Капустин. Он присел на табуретку напротив Хоси, положил руки на стол. — Рассказал, поди, корешам своим, о нашем знакомстве.

Хося пустил в потолок струю дыма.

— Предположим, что так, гражданин начальник. А? Завели тебя девочки на огонёк?

Капустин равнодушно хмыкнул:

— Совсем ты обкурился своей гадости и не понимаешь элементарных вещей. Я же здесь не случайно, глупышка, неужели не ясно?

Наглое выражение на чахлом хосином лице сменилось чуть заметным испугом. Он поставил стакан, напряжённо спросил:

— Брать приехали? Брешешь... Для чего ж тогда маскарад?..

— Сколько раз повторять: не моё, а твоё дело — отвечать на вопросы... Помнишь Колю Телескопа с его антикварным барахлом? Ну? — заулыбался Капустин. — Почему ты на свободе разгуливаешь, а не сидишь за соучастие полный срок, надеюсь, не забыл? Телескоп не забыл. Ты тоже, не прикидывайся.

Хося прислушался к голосам из большой комнаты и зашептал, заметно нервничая:

— Ну, ясно, ясно. Я тут ни при чём, на мне дел нету. Живу тихо, иногда дружки приходят — и ни в каких аферах не замешан. Сказал, что завязал, значит, завязал.

— Допустим, что так, — согласно кивнул Капустин. — Это хорошо, что ты помнишь, как добровольно выдал чемодан с краденными иконами. Обыск, вероятно, дал бы отрицательные результаты, но ты решил чистосердечно раскаться и указал, где спрятан чемодан Телескопа... Это тебе зачлось... Вспоминаю, как был взбешён твой дружок-подельник. Кажется, ты тогда жил где-то в пригороде? Откуда эта квартира?

— Обменял, — буркнул Хося.

— Как всё просто, — Капустин закрутил головой. — Так я тебе и поверил. На какие шиши, как говорится, и каким образом? — Хося опустил глаза, ткнул окурком в блюдо. — Это во-первых. А во-вторых, — продолжил резким голосом Капустин и — внезапно перешёл на шёпот, — если я намекну этим твоим гостям, как ты избежал отсидки... сам понимаешь. Не хотел я, Хося, тебя зря пугать, но ты своим настырным поведением...

— Понятно, понятно, — перебил Хося, тоже шёпотом. — Пошутил я, ничего я им не сообщил о вас...

«Хороши шуточки», — подумал Капустин, поводя лопатками с прилипшей к ним мокрой рубашкой, точно хотел проверить, не приставлен ли к его спине нож.

— Кто они?

— Тот, в галстук — «в законе», рецидивист. Всё по кражам. В чёрной рубашке — Витька, бывший карманник, но стал слаб на руку.

— Девчонки — из блатных?

— Галья, зовут — Карий Глаз. Убила мужа-алкаша, получила два года, но после зоны пошла под откос. Сама в дела не встречается, так, живёт с кем-нибудь, пока того не посадят. Алька — просто молодая дурочка, ищет благородного рыцаря, но спит с каждым встречным...

— И что они обмывают? — стараясь не выдать интереса, спросил Капустин.

— А вы разве не..?

— Тихо, тихо. Я тебя спрашиваю, тебе-то известно?

— Ну, да, — Хося потупился, как напавший школьник. — Ограбили центральный универмаг.

— Разбой на пол-«лимона», двое убитых, — добавил Капустин. — Знаешь об этом?

— Н-нет, — обомлел Хося.

— Соучастником не являешься, случайно?

— Я... совсем нет. Вот приходят, пьют — всё. Вы что, гражданин начальник, соучастником по такому делу? Сами знаете, что за такие дела...

— Куда они спешат?

— Н-не знаю, — завилял Хося, но Капустин пристукнул по столу и Хося скороговоркой прошептал. — Рвать сегодня вечером хотят. За ними должна приехать машина...

— А где ещё двое из их шайки? — с тактической хитростью спросил Капустин. — Тоже скажешь, что не знаешь?

— Был с ними парень... по имени Серёжа. Но где сейчас — точно не знаю. Третий ихний, Васька Клоп, должен пригнать грузовик с каким-нибудь барахлом в кузове, который бы шёл на междугородку. Они, — Хося показал на стенку, — хотят в нём закопаться. Но это самое... гражданин капитан, они со мной планами не делились. Это, в общем — личная смекалка. Они за бухарика меня принимают, считают, что я совсем ничего не всасываю... Я, клянусь чем угодно, совершенно в стороне.

— Ясно. Ну, мы с тобой договорились? — заулыбался Капустин и поднялся с табуретки. — Ты, кстати, на улицу не собираешься?

— Они второй день меня из квартиры не выпускают, — извиняюще сказал Хося. — А что? Здесь опасно оставаться? Будете стрелять?

— Возможно, что и постреляем, — подтвердил Капустин. — Поэтому сиди на кухне и в комнату не показывайся. — Засунув руки глубоко в карманы брюк, он покачивающейся походкой пошёл по коридору.

За столом, видимо, уже немало выпили. На полу валялось несколько порожних бутылок, сизый табачный дым повис над столом и не хотел улетучиваться в открытую балконную дверь. Мужчина в чёрной рубашке, которого Хося назвал Витькой-карманником, что-то громко рассказывал, Аля заливалась смехом, как припадочная, остальные молчали.

— Пей, капитан. Где ты бродишь, — окликнул Капустина тот, что в костюме. Его галстук распустился ещё больше и болтался уже не под горлом, а на самой груди.

Капустин сел, покачал головой, когда ему пододвинули стакан с коньяком, и попросил «простенькой, беленькой».

— Наливай сам, — сказала Галя, — не в ресторане.

— Полный наливай, — добавил мужчина в костюме, который, судя по всему, руководил в этой компании.

«Так-то надежней, — удовлетворённо отметил Капустин, — а то неизвестно, какой гадости они мне в стакан подсыпали». Он пододвинул к себе тарелку с толсто нарезанной колбасой, обхватил стакан ладонью, изобразил движением, как будто выпил всё до капельки, и, выпучив глаза, замотал головой.

— Пей ещё, — велел Витька. — Догоняй нас.

Прожёвывая колбасу, Капустин согласно кивнул:

— Сейчас, перекурю малость и догоню.

Он не спеша, разминая в пальцах сигарету, вышел на балкон. Несколько раз глубоко вдохнул свежий, пахнущий дождём воздух. Посмотрел на соседние балконы, заглянул вниз. Где-то рядом, в двух кварталах отсюда, светился огнями его дом, до которого он всё никак не доберётся. Улицы были малолюдны, с темного неба продолжал моросить мелкий дождик.

Чтобы перескочить на другой балкон, нечего было и думать, вниз без подручных средств тоже не спуститься. За спиной пьяная компания стучала посудой, о чём-то громко переругивались Галя с Алей. Капустин опустил на валявшийся под ногами мокрый пластмассовый ящик из-под бутылок. Достал из кармана записную книжку и карандаш.

«Товарищ, нашедший эту записку! По чрезвычайному, важному делу прошу немедленно позвонить, — Капустин крупными цифрами написал номер телефона дежурной части своего райотдела, — и сообщить, что капитан Капустин ждёт группу для задержания и находится на улице Зелёной, напротив магазина «Мебель», в девятиэтажном доме, въезд со двора, первый подъезд, седьмой этаж, квартира справа...»

— Капитан! Где ты там?! — донеслось из комнаты.

— Сашок! — запищала Аля. — Иди скорее, меня тут обижают...

Капустин поспешно поднялся, пряча в кулаке записную книжку. Вялым голосом отозвался:

— Иду. Что-то того... в головушибануло...

Он облокотился на перила и, закрывая спиной записную книжку, вырвал из неё листок. Достал бумажник из белой кожи, вложил в него записку, пожалел, что пропадёт этот подарок жены к его тридцатилетию в руки плохого человека. — «Ну, да что там, снявши голову, по волосам не плачут». Оглянувшись, не смотрят ли из комнаты, Капустин широко размахнулся и швырнул бумажник вниз, стараясь попасть им на середину тротуара. Бумажник шлёпнулся рядом с бордюром дороги, но под светом фонаря, и отчётливо белел на чёрном асфальте.

Капустин вошёл в комнату.

На диване, пыхтя и смеясь, Витька боролся с сопротивляющейся Алей. Увидев Капустина, он обратился к старшему:

— Налей ему, Палыч, ещё. Да пускай он топает отсюда.

— Хватит, — внимательно посмотрев на Капустина, ответил тот. — Подойди сюда, капитан, — он указал на стул рядом и достал из-под ног большой портфель из жёлтого кожзаменителя. — Просьба к тебе есть. Вот, — старшой ткнул ногой портфель, потянул за конец будто мешающий ему дышать галстук и, развязав узел, кинул галстук в угол комнаты.

Капустину стало понятно с первых слов, что его просят отнести жёлтый портфель по написанному на сигаретной пачке адресу. Однако ж, злясь на непонимающий вид сидящего перед ним, главарь продолжал растолковывать задание:

— Ну, вот же, объясняю тебе, дубина, ключ от квартиры. Откроешь дверь, поставишь портфель на кухне — и уходи спокойно. Но, повторяю, приходи в десять-двенадцать часов, чтобы никто тебя не видел... Понял, нет? Я ж тебя не воровать заставляю, а, наоборот, вернуть забытый хозяином портфельчик. Хочу сделать сюрприз. Как, нет? Дам тебе за это полсотни. Согласен?

Капустин подумал и, с улыбкой, отрицательно мотнул головой.

— Не-е. Сотню.

— Ты что, спятил? За что сотню?!

— А вдруг там мина, — Капустин кивнул на портфель.

Старшой переглянулся с Витькой, со злостью, опрокинув банку консервов, поставил на стол портфель и раскрыл его перед Капустиным.

— Смотри, дурила, где тут какая мина!

Капустин деловито заглянул внутрь. Порылся рукой в содержимом. Первое, что бросилось в глаза, это бумажные надорванные кольца с надписанными авторучкой цифрами: «100», «300», «500». Потом два или три мешка защитного цвета с какими-то бирками. На дне портфеля тускло поблёскивал кургузый ствол обреза.

— А это зачем? Это я не возьму, — надув обиженно щеки, Капустин начал вытаскивать обрез из портфеля, будто ненужную покупку.

— Стой! — рывкнул на него старшой и затолкал обрез обратно. — Даём сотню. Всё, по рукам? Не забудь, завтра утром. Проверим. Бери деньги и уматывай, — он достал из кармана две купюры пятидесятирублёвого достоинства, протянул Капустину.

Капустин, улыбаясь, почёсывал переносицу, будто всё не решаясь. Он и в самом деле колебался: покидать квартиру или дожидаться здесь, когда сыграет записка. Как развернутся события, если он покинет эту шайку, ещё неизвестно; да и брать их на улице — не обойтись наверняка без пальбы.

— Сомнительно что-то, — Капустин взял деньги, свернул их трубочкой, сунул в кармашек пиджака, но тут же передумал и переложил деньги в задний карман брюк. — Подумать надо маленько. А то я один раз вот так же согласился и... Пойду, покурю на балконе, подумаю...

— Чего думать-то! — рывкнул лежащий на диване Витька. — Гони его, Палыч, в шею. Деньги взял — пускай проваливает!

— Ну-ну, ты! Тихо, — прикрикнул на него Палыч. — Пускай подумает. Сотни с неба не падают. Пускай чуток подумает.

Выйдя на балкон, Капустин сразу отыскал глазами то место, где упал бумажник — бумажника уже не было. «В чьих руках моя записка? Чего ждать? На что решаться?» Он почувствовал озноб по всему телу. Это было знакомо ему по многим случаям, когда требовалась мобилизация всего запаса сил, опыта и смекалки, когда, как у канатоходца, допускаются только тщательно выверенные движения. Повторных попыток не даётся.

С сигаретой в зубах Капустин вернулся в комнату, сел верхом на стул, обхватив левой ладонью его спинку. Достав из кармана деньги, кинул их на замусоренный стол. Витька и Палыч с недоумением уставились на него.

Капустин, держа в поле зрения обоих и вроде бы ни к кому не обращаясь, сказал:

— На Серёжку след наводите. Пришили бедолагу?

— Ты что-то знаешь, парень? — посмотрев тяжелым взглядом, с угрозой спросил Палыч и стал медленно приподниматься со своего места.

— Я знаю всё, — жёстко ответил Капустин. — И позвольте представиться без дураков: капитан уголовного розыска Капустин Александр Сергеевич... — он, не договорив, быстро вытащив из-под себя стул, вскочил и швырнул стул под ноги кинувшемуся на него Витьке. Тот споткнулся, всей массой грохнулся на пол, чуть не повалив стол. Капустин отступил два шага назад к балконной двери, выхватил из кармана пиджака футляр с электробритвой, сжал его в руке, как кирпич. Лежавшая на диване Аля свернулась в клубок и тихо, видно имея по этому делу опыт, завизжала.

— Пику, Витя, — проговорил сквозь зубы Палыч, замерев в напряжённой, готовой к прыжку позе.

В комнату вбежала Галя и, увидев поднимающегося с пола Витьку и стоящего наготове Капустина, бросилась между ними. Витька перехватил её за руку, выругавшись, швырнул на диван.

— Кого приволокли на хвосте, дуры!.. Прибыю! — он замахнулся на лежавших крест-накрест Галю и Алю.

— Я — сам по себе, а они для отвода глаз. Не дёргайся, — сдерживая учащённое дыхание, спокойным голосом сказал Капустин. — За вами слежка уже двое суток, вы и не замечали, заперлись тут и думаете, что от всего мира отгородились. Ей-Богу, как страусы, — он через силу улыбнулся. Поднёс к губам футляр бритвы и, полуобернувшись к балконной двери, с расстановкой произнёс: — Второй, второй... Я — первый. Всё идёт по плану. Продолжайте наблюдение. Ждите подхода грузовика. Клопа пропустите и действуйте по плану. Всё. — Капустин кивнул на балкон, обращаясь к Палычу: — Вот, старшой, можешь убедиться: конвой уже давно у дверей, а ты всё фарт обмываешь... Как же так? И это с твоими-то четырьмя судимостями...

— С тремя, — хрипло поправил Палыч и обтёр лоб ладонью.

— Я имею в виду и эту судимость. Куда уж теперь от неё... Спокойно, спокойно, не напрягайтесь так.

Скрипнул диван — Витька грузно опустился на него и обхватил голову руками. В тишине хлюпала носом Аля, с гулким стуком разбивались об пол капли коньяка из опрокинутой на столе бутылки. С улицы доносилось треньканье далёкого трамвая.

«Если хороший человек уже сообщил в райотдел, — подумалось Капустину, — то Семён Савельевич сейчас собирает опергруппу. На дорогу им минут пятнадцать-двадцать... В это время надо занять чем-то своих разбойников. Хоть кроссворд с ними решай».

— Женщины могут удалиться на кухню, — сказал Капустин. — А вам... я пока задам домашнее задание. Эй, Галя, спроси-ка у хозяина, есть ли в этом доме чистая бумага?

— Нету, — огрызнулась та из коридора.

— Нет так нет, — Капустин, как дрессировщик на арене, не выпуская из виду своих подопечных, подошёл к стене, сорвал две больших фотографии обнажённых девиц. Одну кинул Витьке, другую — Палычу. — Домашнее задание под названием «Явка с повинной». Во-первых, сами знаете, учтётся судом. Во-вторых, критически посмотрите на себя со стороны. А в-третьих, скоротаете время и отвлечётесь от нехороших мыслей... У дверей, между прочим, на посту три милиционера — но проверять мои слова не советую: при таком случае, как ваш, стреляют без предупреждения. Объяснять — почему так негуманно, наверное, излишне. И вообще, по-моему, длинный срок лучше короткой смерти. — Капустин разломил пополам свой карандаш. — Приступим...

— Много говоришь, начальник, — утрюмо отозвался Палыч. Он взял брошенный ему карандаш и повертел его, как незнакомую вещь.

— Как же нас засветили? Разрешите узнать? — спросил Витька, покусывая нижнюю губу. — Теперь-то сказать можно... закончен бал, погасли свечи.

— Когда выполните домашнее задание, тогда отвечу на интересные вопросы.

— Не изгаляйся, начальник, — буркнул Палыч. — Мы тебе не бакланьё с угреватыми лобиками... — он заскрипел стулом, поворачиваясь к Капустину.

— Сидеть! — крикнул в предчувствии недоброго Капустин.

И тут, совершенно неожиданно, словно сигнал с инопланетной цивилизации, раздался стук в дверь. Два коротких стука и один длинный. Палыч, Витька, Капустин — все трое замерли в крайней степени напряжения, не замечая друг друга. Стук повторился. Витька с Палычем вопросительно уставились на Капустина и тот, крепко сжав в пальцах футляр электробритвы, крикнул, чтобы кто-то с кухни открыл входную дверь.

Послышался шум открываемой двери, потом мужской голос, шаги по коридору — и в комнату вошёл приземистый круглолицый мужчина в блестящей кожаной кепочке. Войдя, он изумлённо посмотрел на Капустина и медленно перевёл взгляд на Палыча, будто спрашивая объяснения.

Палыч молчаливо смотрел на вошедшего несколько секунд, после этого хмыкнул и спросил с явной усмешкой:

— Ну, Клоп, как дела?

— Всё в порядке, — ответил тот, бегая по сторонам глазами. Он подтащил к себе стул и сел, продолжая недоумевающе осматривать каждого из присутствующих, но, проявляя удивительную выдержку, не проронил ни одного слова.

— Значит всё в порядке? — переспросил Палыч. — А как там во дворе, в подъезде — тихо?

— Тихо, — кивнул Клоп, — пусто, как по заказу. А что?

— Пусто, говорит? — Палыч повернул голову к Капустину.

— Ясно, что пусто, — кивнул Капустин. Он вдруг почувствовал, что абсолютно не представляет своих дальнейших действий. — А вы хотели, чтобы вашему Клопу на каждой лестничной площадке честь отдавали? Ну-у, это же так примитивно, ребята...

Капустин каким-то боковым зрением перехватил, что Витька с Палычем обменялись взглядами. Витька заскрипел диванными пружинами, сунул руку в карман и, словно по согласованному знаку, одновременно со своим сообщником, резко вскочил с места. Блеснуло лезвие финки.

— Ха-ах! И-ия!

Витька, сжав колени, схватился руками за пах. По-собачьи завизжал и замотал головой от боли. Палыч без звука, от удара по сонной артерии, ткнулся лицом в стену и по ней медленно сполз на пол. Нож с коротким широким лезвием остался лежать в десяти сантиметрах от туфель Капустина.

Капустин потёр зудящее ребро ладони. Несколько дней безрежимной жизни, но реакция, смотри-ка, не подвела.

— Садитесь, гражданин Клоп, — спокойно обратился он к третьему сообщнику, замершему в стойке охотничьей собаки, однако так и не успевшему сделать и шага.

В комнату вбежала Галя с написанной на лице радостью, но, увидев своих дружков в неприглядном положении, сникла и повернула обратно.

Бдительно держа в поле зрения всё ещё корчившегося Витьку, Капустин быстро нагнулся за финкой, сунул её себе в карман, и тут... увидел валяющуюся на полу, у ног Палыча, вылетевшую из футляра электробритву. Он было шагнул, чтобы подобрать свою «рацию», но в это время, как почувствовав, зашевелился Палыч, и Капустин поспешно отступил назад, к балконной двери.

За его спиной шумел вечерний город, перед ним притихли три опасных преступника, рвущиеся в этот город и взбешённые возникшим препятствием. Капустину уже казалось, что в этой квартире на седьмом этаже он находится чуть ли не целый месяц. В голову назойливо лезла мысль, что его записка просто-напросто выброшена на асфальт и бессмысленно ожидать какой-либо помощи.

В испачканном мелом костюме, с туманными глазами, Палыч прошёл к столу, шупая горло, сел на табуретку. По всей вероятности, он увидел электробритву, но не придал ей значения. Его напарники: Витька — бледный и злой, шипевший сквозь зубы ругательства, и Клоп, притихший на стуле у выхода в коридор, — смотрели на своего патрона и с надеждой, и, одновременно, с ненавистью. Палыч, в свою очередь, исподлобья взглянул на Капустина и хрипло проговорил:

— Что же ты, начальник, не вызываешь свой конвой? По-моему, пора уже. Мы сейчас и ручки за спиной сложим, давай, командуй... — он с издёвкой скривил губы и Капустин мрачно подумал, что в его положении остаётся только выбежать на балкон и заорать благим матом: «Караул, убивают!». — Ну, чо, капитан, где ж твоё радио?.. Радио у тебя на батарейках или от сети работает, а? — уже явно куражился Палыч.

— Оно работает на чём угодно. Но, поскольку ваша аудиенция подходит к концу, отвечу, как обещал, на беспокоящий Витю вопрос: как вышли на ваш след... — в глазах всех троих при этих словах вспыхнул явный интерес. — ...Вот, ваш авторитетный кореш, — продолжал Капустин и показал пальцем на Палыча, — припрятал награбленные вами деньги у своего дружка-барыги... А адресочек этот

был давно уже засвечен. И он должен был знать об этом, если трезво рассуждать... Отсюда мы и начали, как говорится, плясать, и плясали вплоть до сегодняшнего вечера. — Капустин выдумывал прямо на ходу, и единственной предпосылкой для всего этого умопостроения послужила догадка, что в данной квартире не может быть денег, похищенных из универсама. Потом возникло предположение, что их нет и в машине, на которой прибыл Клоп. А, скорее всего, деньги спрятаны в укромном месте, выбранном именно Палычем.

— А-а, гад! — закричал Витька. Он психованно сгрёб рукавом со стола тарелки, стаканы и потянулся пятернёй к Палычу. — Говорили же тебе, говорили!

Клоп нервно подскочил на стуле и с досадой стукнул кулаком по колену.

— Ну-ну, прекратите, — не очень настойчиво прикрикнул Капустин. Он вытер лоб и прислонился к подоконнику.

Витька, беснуясь, подбежал к Палычу, потряхнул его за грудки. Тот вывернулся, угрожающе замахнулся кулаком, крикливым голосом стал что-то объяснять. Оттолкнул продолжающего наседавать Витьку, пнул ногой валявшуюся на полу электробритву.

— А это что? Брешет он всё, брешет, дура!..

Толкаясь и наскакивая друг на друга, как два распетушившихся мужичка, они как-то постепенно, незаметно оказались рядом с Капустиным. Капустин попытался протиснуться между ними и балконной дверью, на свободное оперативное пространство, и вдруг, от неожиданного удара в живот и подставленной сзади подножки, грохнулся на пол, ударился головой о дверь. Зазвенело и посыпалось стекло.

«Купили, будто лопоухого мальчишку». Капустин ужом закрутился под тяжестью насевших на него Витьки и Палыча. Их руки шарили по его карманам, залезли за пазуху, тянули за ремень кобуры. На ноги навалился кто-то третий, видимо, Клоп, наконец-то решившийся на активные действия.

— Давай верёвку! — закричал Палыч.

Чей-то голос ответил: «Сейчас!», — и Капустин почувствовал, как сразу ослабли сжимающие его объятья.

Воспользовавшись этим, он резко вскочил с пола, напряжился, готовый к дальнейшей схватке — и тут увидел заполнивших комнату милиционеров, а впереди всех — его непосредственного начальника майора Шевелёва в штатском костюме «для торжественных случаев». Капустин сконфуженно хмыкнул, стряхнул с ладоней впившиеся осколки, протянул майору руку.

— Я, значит, пришёл к тебе в гости, чтобы поздравить с удачным завершением одного дела, — улыбаясь, сказал майор, — сижу у тебя дома, дожидаясь. Оказывается, ты тут в одиночку уже другое дело довершаешь. Да, к тому же, и на чужой территории... Ну, Александр

Сергеевич! Объясни ребятам, что тут сделать, и поехали под моим конвоем домой. В конце концов.

Капитан Капустин поискал глазами свою электробритву, увидел предназначенную для текста явки с повинной фотографию, на изнаночной стороне которой чернели лишь два слова — «чистосердечное признание», и с улыбкой, осуждающе покачал головой.

Следствие по делу друга

Летние бархатные вечера, манящие, как звуки танго, заставляют острою грустью почувствовать, что скоро кончится твоя молодость, что ты — женатый, семейный человек и официальное лицо, с серьёзной должностью и что по всем этим статусам тебе нельзя того, что можно просто молодому человеку.

Время уже подходило к десяти вечера. Но Владимир Рудиков — заместитель районного прокурора, не спешил домой и сидел в своём служебном кабинете с таким выражением лица, которое бывает, когда обращаешься взглядом внутрь самого себя.

Прошедший день отзывался усталостью, однако Рудикову хотелось не спокойного дивана перед телевизором, ужина на кухне и рассказов жены о её новых открытиях в психологии сослуживцев. Рудикову в этот летний вечер хотелось закатиться куда-нибудь на лоно природы с друзьями и незнакомыми девушками. Там развести костёр, жарить шашлыки, знакомиться с девушками... Всегда в такие минуты он задумывался над этическим вопросом: «Почему ему это нельзя?». И в большинстве случаев сам оправдывал себя другим вопросом: «А что в этом такого страшного?».

На столе зазвонил телефон. Рудиков вялым движением поднял трубку.

— Ну, что, согласен? — раздался в трубке громкий, жизнерадостный, как у эстрадного конферансье, голос. — Поехали, старичок, разведемся. Девочки уже все истомились. Прямо плавают на глазах... Ну?

Рудиков побарабанил пальцами по крышке стола, переложил трубку к другому уху.

— Не знаю даже, Игорёк. Работы — завал. Да и дома обстановка с прошлого раза напряжённая...

— Короче, мы подъезжаем, — перебил мямлящего Рудикова жизнерадостный голос. — Жди нас на углу.

Прожаживаясь в ожидании, Володя ощущал в себе какое-то внутреннее неудобство от начавшегося процесса раздвоения личности, или, иначе сказать, перевоплощения. Из серьёзного, озабоченного чиновника нужно было переделаться в разбитного весёлого парня.

Откровенно для себя, ему были неприятны подобные актёрские этюды: он считал, что человек всегда должен оставаться самим собой. Но время и жизненные обстоятельства заставили убедиться, что большая часть людей, воспитанная массовым искусством, тяготеет к стандартным образам: если преступник — то, чтобы обязательно с перекошенной физиономией, волчьим взглядом; если прокурор — так, значит, строгое, благообразное лицо и пронзительные глаза. Пришлось подстраиваться под стандарт, потому что, как ни крути, люди верят больше своим иллюзиям, чем фактам. И те, кто приходит в его кабинет, и те, к кому приходит он. Так, оказывается, гораздо проще даже с собственной женой.

Игорь подкатил на своём разукрашенном, как новогодняя елка, «фиате». На заднем сиденье улыбались и дымили сигаретами две дамы, молодые, но которых девочками уже не назовёшь.

Рудиков сел впереди, полуобернувшись назад, уверенно и, вместе с тем, немного смущаясь, назвал дамам своё имя, задал два-три вопроса, вызвавшие у них смех. Всё стало на свои места, вечер выдыхал цветочный аромат, гремел автомобильный «Панасоник» — и сам автомобиль, словно сказочный серый волк, нёс своих седоков к живописному месту в сосновом бору, на жёлтый песок берега лесной речки.

В положенное время, утром, Рудиков был на своём рабочем месте. Он перевязал галстук, надел пиджак, оставленный вечером на спинке стула, посмотрел в зеркало как бы посторонним взглядом и придал лицу рабочее выражение. «Да, — подумал Володя, — кончается молодость. А как много хотелось бы успеть, чтобы не жалеть, когда она закончится...»

Зазвонил телефон и Рудиков поморщился, представив себя в роли оправдывающегося мужа.

— Привет, Вовик! — услышал он в трубке женский голос. — Я выведала твой телефонный номер. Ты за это на меня не сердишься? Ну, тогда извини за столь ранний звонок. Как себя чувствуешь? Лично я — ужасно, чертовски утомилась... Да и ты отчасти тоже в этом виноват, хи-хи...

Рудиков, сдерживая досаду, слушал глупую болтовню и машинально отвечал на дурацкие вопросы. Хорошо, что это пока не звонок от жены, но и ничего хорошего, что это вчерашняя знакомая. Наверное, выведала у Игоря номер, а ведь его столько раз предупреждали, не распространяться перед случайными красотками о должностях, фамилиях, телефонах. Сейчас весь разговор сведётся к какой-нибудь просьбе и ему будет трудно сказать «нет». Ещё несколько дней останется неприятное свербение какой-то обязанности перед бесцеремонной «девочкой». Однако игривый разговор закончился без каких-либо просьб, что означало, как Володя знал по опыту, бес-

корыстность отношений, а более сложный характер просьбы, о которой нельзя заявить вот так в лоб.

«Иждержки человеческого общения», — вспомнил Рудиков слова Игоря, вздохнул и от себя добавил: «Любишь кататься — люби и саночки возить».

Рудиков сходил к секретарше прокурора за своей долей почты и, вернувшись, решил позвонить Игорю на работу и переговорить с приятелем в духе рассерженного человека.

С Игорем Дзюгиным они были знакомы со студенческой скамьи. В то время их мало что связывало, так, формальные отношения студентов одного курса. Но как-то получилось, что за шесть лет, прошедших после окончания института, ослабили связи со старыми друзьями, будто каждому вместе с дипломом досталось по отдельной льдине, на которой дрейфуют они в житейском море, всё больше отдаляясь и теряя друг друга из виду. И какими-то судьбами с год назад на одной «льдине» с Рудиковым оказался Игорь Дзюгин. Оба, словно путешественники, уставшие от одиночества, боялись теперь расстаться на сколько-нибудь длительное время, встречаясь и перезваниваясь чуть ли не каждый день.

Дзюгин по распределению попал следователем в районный отдел милиции и был этим крайне недоволен. То, что на практике представляла из себя эта работа, только усилило первоначальное недовольство. Поработав пару лет, он выбрался на «гражданку», предоставив другим «вести незримый бой», и устроился на тихую, сидячую должность нотариуса.

Телефон нотариальной конторы долго не отвечал. Потом кто-то взял трубку и раздражённым голосом ответил Рудикову, что Дзюгин на работе ещё не появлялся.

«Хорошо живёт, стервец, спит спокойно после пикничка», — отметил про себя Рудиков, набирая домашний номер Игоря. Но и дома его не оказалось.

В кабинет вошла секретарша и положила на стол Рудикова, вдобавок к сегодняшней почте, ещё один пакет.

— Антон Иванович просил ознакомиться в первую очередь, — проговорила она официальным тоном.

— Куда ж я денусь, — буркнул Рудиков, — ознакомлюсь.

Сосредоточившись на служебных делах, он пододвинул к себе стопку бумаг, взял верхний пакет. Это был материал, присланный из милиции для возбуждения уголовного дела по взятке. На уголке сопроводительной бумажки косым почерком шефа резолюция — «изучить и решить вопрос». «Сейчас изучим... и решим вопрос», — сказал сам себе Володя, начав просматривать материал с последнего листа.

Ещё не понимая, в чём дело, он почувствовал пробежавший по сердцу холодок, — предощущение близкой опасности. Рудиков по-

вторно перечитал страницу — и тут уяснил, в чём причина. В качестве получателя взятки фигурировал некто «И.Д. Дзюгин», нотариус городской нотариальной конторы. Рудиков быстро перевернул листы материала, принялся читать с самого начала.

Опять вошла секретарша прокурора и надменно спросила:

— К вам посетительница просится. Пустить?

— Я занят, — отрезал Рудиков. — Пусть к Антону Ивановичу просится.

— Она говорит, что вы в курсе и сами заинтересованы, — процедила сквозь накрашенные губы секретарша. — Она говорит, что её фамилия Дзюгина.

— Да-а... — Рудиков растерянно потёр макушку. — Ну, пусть заходит.

Рудиков был знаком с женой Игоря. Это была высокая брюнетка с тонкими чертами лица и по-неврастенически невыдержанным характером. В точности как и предвидел он, та вошла в кабинет, сдерживая рыдания, тиская пальцами платочек, который то и дело прикладывала к уголкам глаз и смотрела, не осталось ли на платочке следов туши.

— Я всё знаю, — сочувственно мягко сказал Рудиков. — Как он так? Зачем? — Опустив глаза, он выслушал ответные всхлипывания и декларации о честности Игоря. Вежливо перебил: — Что ты, в самом деле, Анжела. Я же не чужой. Мне и самому тяжело от этой истории...

— Его арестовали утром, — супруга Игоря вскинула глаза. — Это что значит? Это значит... это всё, да? Надеяться не на что?

— Во-первых, не арестовали, а задержали предварительно. Ещё будет расследование, ещё, возможно, вскрыется какое-нибудь другое обстоятельство... — Рудиков неопределённо пожал плечами. — Разберемся. Лично я разберусь.

— Одна надежда на тебя, Вова. Ты ведь ему поможешь, да? — Анжела умоляюще заглянула снизу в лицо Рудикова. — Вы же друзья, Вова, — и она прижала к вискам пальцы с длинными полированными ногтями. — Ну, пусть, пусть у Игоря были на работе какие-то мелкие грешки — у кого их не бывает. Пусть выговор, пусть уволят. Но нельзя же сразу в тюрьму. Должен же действовать закон... Он ведь никого не убивал, не грабил?

— Да, — угрюмо кивнул Рудиков. — Его подозревают в получении взятки, нарушении порядка оформления нотариальных документов. Взятка — вещь серьёзная, тяжкий состав. Я ещё не знаю в деталях, но будет следствие и разберёмся, — Рудикову не хотелось ни успокаивать кого-либо, ни вообще даже разговаривать. Его самого одолевали мрачные мысли. — Извини, Анжела, я сейчас занят именно этим делом. Приходи дня через два-три. Или лучше — я позвоню сам.

Анжела поднялась, потом опять опустилась на стул, чуть приглушив голос, спросила:

— Я слышала, что за это бывает конфискация имущества. Как считаешь, может припрятать кое-что из барахла?

Рудиков в упор взглянул на неё и с некоторым промедлением ответил:

— Не знаю, не знаю... Делай, как считаешь нужным.

— Хорошо, — Анжела поднялась. — Значит, дня через два? Привет Ирише.

Привет для жены какими-то отдалёнными ассоциациями всколыхнул в памяти прошедшую ночь. Совсем небольшой промежуток времени, но точно мощным экскаватором копнули глубокую траншею между сегодняшним утром и прошедшей ночью на берегу лесной речки. Как фотография на память: смешливые бабёнки на бревнышке у костра, Игорь с шампурами в руках и звучащий из магнитофона жирненький, самовлюбленный баритон:

*...А лучше быть богатым — но здоровым,
и девочек роскошных целовать,
и миновать тюрьмы запор суровый,
и деньгами карманы набивать...*

Рудиков вздрогнул от телефонного звонка, как будто кто-то тайком пытался заглянуть в его мысли. Звонил из милиции начальник отдела по экономическим преступлениям, интересовался, что с их материалом по нотариусу.

— Не терпится отчётную палочку выставить, — слишком грубовато съязвил Рудиков. — У меня, наверное, и другие дела есть. Да, кстати: почему вы без возбуждения уголовного дела задерживаете человека?.. Ну и что?.. Ах, по мелкому хулиганству... Ну-ну. Злоупотребляете вы этим...

Начальник отдела — большой любитель иностранных терминов, уверенный в обоснованности своего материала, настырно наседал на зампрокурора.

— Ладно. Через час доставите ко мне вашего подозреваемого, — Рудиков, подчёркивая, что последнее слово должно оставаться за ним, положил трубку, не дослушав собеседника, который хотел ещё что-то уточнить об «интерпретации фактов».

Рудиков самым дотошным образом изучил материал о взятке и поймал себя на том, что читал материал с адвокатских позиций, выискивая в возведённой ограде из улик хоть малейшую лазейку. Доброкачественность, которую он всегда въедливо требовал от оперативных работников, теперь вызвала в нём раздражение. «Пошли уроки впрок. Постарались, как специально...» — и тут в его мыслительном аппарате что-то сверкнуло, заскрежетало, а потом заклинило на одном: «вдруг здесь всё подстроено специально».

С минуты две Рудиков просидел, обхватив голову руками. Он почув-

ствовал себя страшно утомлённым, больным, разбитым. За это время поступок Дзюгина, который только что расценивался им как неприятность, из которой надо выручать приятеля, сейчас уже не выглядел таким безобидным и даже пугал ясной связью между совершённым уголовным преступлением и им, заместителем районного прокурора. «Пальцем не пошевелю. Всё будет по закону». Отмахнувшись от тревожных мыслей, Рудиков занялся просмотром других бумаг.

Читал, читал — и опять будто неожиданно надавил на больной зуб, дёрнулся, скривившись от муторной внутренней боли, откинулся расслабленно на стуле. Подумал о себе: какой же он всё-таки негодяй, предатель, человек без принципов, тряпка... Верить такому, конечно, не хотелось. Кого уж уважать, как не самого себя — и Рудиков решил, что кидает его так, из одной крайности в другую, потому что от волнений перепутал ролевые маски и никак не вернётся в своё истинное состояние, словно тот сказочный калиф-аист, который забыл магическое заклинание. «Как было бы хорошо, если бы всё оставалось так, как было. И ничего бы этого не случилось», — совсем подетски помечтал Рудиков.

Верно говорят, что чужая душа — потёмки. Ну, как, каким образом, будь ты самым матёрым психоаналитиком, разберёшь, что у человека на уме, если этот человек сидит-молчит и никаких действий не производит. Бывают благородные мысли — и отвратительные поступки, бывает и наоборот. В мыслях мы — одни, в поступках, очень часто — совсем другие.

— Можно? — из-за приоткрывшейся двери показался, сверкая костюмом стального цвета, главнейший враг расхитителей и взяточников. — Я вместе с... — начальник ОБЭП кивнул себе за спину, — кх-м, с клиентом. Вводить?

— Нет пока, — тихо ответил Рудиков. — Пусть подождёт. Поговорим наедине.

Начальник отдела присел рядом, доверительно сообщил:

— Состав преступления де-факто. Никаких компиляций, прямо скажу. Все три эпизода взятки стабильно доказуемы.

— Да-да, — кивнул Рудиков. — Претензий по качеству материала у меня нет... Скорее всего, будем возбуждать дело. — Он подождал, может начальник ОБЭП расскажет ещё что-нибудь, но тот внимательно молчал, ожидая указаний. — Под стражу, я думаю, пока брать не будем, — вроде бы как советуясь, сказал Рудиков. — Материал сегодня же я передам следователю, держите с ним контакт. Всё.

— По моему мнению, конечно, лучше бы его закрыть, — неодобрительно проговорил начальник ОБЭП, видимо, от расстройства выразив свою мысль не иностранным словечком, а профессиональным жаргоном. — Напутает он нам на свободе. Такой, скажу вам, наглый тип, с усмешечкой всё, ехидничает. Что ж — коллега, юрист...

— Следователь сам решит. А сейчас пришлите этого, как его?.. — Рудиков заглянул в бумаги. — ...Дзюгина ко мне. До свидания.

Небритый, мрачно-возбуждённый, с курткой под мышкой, Игорь вошёл в кабинет.

— Привет! — Он с ходу кинул куртку на штырёк вешалки, прошёл к столу Рудикова и с кряхтением опустился на стул, на котором только что сидел начальник районного ОБЭП. — Ч-чёрт, проклятый радикалит. Повалялся вчера на травке. Все напасти скопом на мою голову, э-эх.

— Игорь, как же это так? — Рудиков хотел, чтобы его слова прозвучали возмущённо, но получилось, что они прозвучали виновато. — Я места себе не нахожу.

— Я-я... — перебил раздражённо Дзюгин. — Вот я действительно не нахожу. Ввалились утром, как к какому-то рецидивисту, чуть ли не под пистолетом вывели из квартиры, посадили в клетку...

— Не положено, — вставил Рудиков.

— Вовик, без тебя знаю, что не положено! Ты им докажи, попробуй! Ведут себя так, точно я уже осуждён по приговору суда. Устроили какие-то дурацкие перекрёстные допросы, всё старались внушить, будто им обо мне всё известно... Что они там хоть собрали? — Дзюгин осмотрел стол и протянул руку к лежащему перед Рудиковым материалу. — Дай-ка взглянуть.

Тот, помешкав, неуверенным движением придвинул Дзюгину стопку листов.

— Не положено, вообще-то...

— Да брось ты, «не положено», — как некормленный в зоопарке тигр, рыкнул Дзюгин.

Он принялся перелистывать материал, небрежно дёргая за уголки листов. Лицо его сосредоточенно замерло, а глаза, как паук по паутинке, цепко забегали по строчкам.

— Как же это так, — опять вздохнул Рудиков. — Худое дело. Даже не представляю, как... — он замаялся, — как мы тут вырулим. Три эпизода взятки. Крепкие показания взяткодателей, подчистки в реестровой книге. И несколько косвенных доказательств вдобавок. Всё это, упакованное в корочки уголовного дела, потянет в верные пять-шесть лет срока.

— Продажные твари! — Дзюгин выругался и бросил материал на стол. — Вот и делай добро людям... Говоришь, три эпизода? Слава Богу, что не тридцать три. Если не опускать руки, из любого положения можно выкрутиться. Так ведь? В первую очередь надо перекалякать с этими болтунами, чтобы они изменили первоначальные показания. И как можно быстрее, пока их болтовню не оформили протоколом. Я это смог бы проверить, если, конечно, останусь на свободе, — Дзюгин вопросительно посмотрел на Рудикова. — А-а?

— Хорошо, — кивнул Рудиков, — я, разумеется, постараюсь как-нибудь помочь...

— А как-нибудь меня не устраивает, старичок! За друзей даже жизнью рискуют, а не то что какими-то паршивыми бюрократическими принципами. Смотрю я на тебя и всё больше убеждаюсь, что самый лучший друг для человека — это он сам. Эх!

Рудиков обиженно вскинул глаза.

— Не так всё просто, Игорёк.

— Эт-то точно, — значительно сказал Дзюгин. — Наши с тобой гулянки-прогулки, пикнички на травке, кажется, оплачивались из моего кармана? Думаешь, это так просто? Или у меня неразменный червонец?

— Ты об этом, значит?

— И об этом — тоже.

— Но я же... сколько раз предлагал и свои деньги. Ты сам отказывался.

— До чего же ты наивный, как я посмотрю, — хмыкнул Дзюгин. — Ты мне друг или кто?

— Тихо-о, — Рудиков опасливо посмотрел на дверь. — Друг, конечно. Я от этого не отказываюсь ни в коем случае.

— Так вот, ясно было и козе, мой друг, что располагай я только заначками от зарплаты, и тебе, и мне было бы гораздо скучнее жить. Не было бы того куражу, верно? А молодость-то, она уже машет нам ручкой у последнего поворота. Жизнь, сам говоришь, штука уникальная. Неужто нам, чёрт возьми, обращать внимание на глупые дорожные знаки, когда дорога просторна и свободна? Жми на всю железку, дыши чистым воздухом.

— Тихо, тихо, — Рудиков поморщился, потёр кулаком лоб. Ему хотелось сказать Дзюгину, что, мол, давился на свою железку, вынесло на ухабы. Но говорить не стал, потому что вроде бы получается, что и он сам находится в том же автомобиле, который трясётся сейчас по бездорожью. Вслух он произнёс: — Тихо, а то услышат. В моей активности никто не должен сомневаться.

Дзюгин на этот раз одобряюще посмотрел на приятеля и демонстративно прикусил губу. В это время в кабинет заглянула секретарша, собираясь что-то сообщить.

— Разберёмся, разберёмся, — официальным тоном быстро проговорил Рудиков. — Пока можете быть свободны.

— Пока, — то ли прощаясь, то ли переспрашивая, чуть слышно сказал Игорь. Он протянул было руку, но затем поспешно убрал её за спину, словно схватившись за поясницу, поднялся со стула.

Вечером, когда Рудиков вошёл в свою квартиру, его шестилетний сын Максимка, катавший по коридору пластмассовый грузовик, радостно закричал:

— Ага, папка явился! Ты где шлялся? Эх, сейчас тебе будет!

— У кого ты таких слов набрался — «шлялся»? — снимая туфли, строго спросил Рудиков, хотя и сам отлично знал, что это за источник неуважительных выражений. — Нельзя так говорить своим родителям, Максим.

Из кухни, точно куда-то торопясь, быстро вышла жена.

— Явился? — со злорадным и нетерпеливым выражением истомившегося в засаде охотника спросила она.

Рудиков устало ответил «да» и про себя подумал, что теперь следует целая серия привычных вопросов, на которые он ответит привычными дурацкими отговорками.

— У тебя совесть есть?

— Ира, я ужасно устал. Был очень тяжёлый день...

— А ночь?! Ночь какая была, тоже тяжёлая?!

Переодевшись в домашнее, Рудиков включил телевизор, лёг на диван и накрыл лицо подушкой. Жена, перемещаясь по квартире вслед за ним, выключила телевизор, сдёрнула подушку.

— Совестно в глаза смотреть?

— Ира! — Рудиков сел, обхватил голову руками. — Тут такое случилось, такая неприятность...

— Что? — голос жены прозвучал испуганно и уже без издёвки.

— Игоря Дзюгина привлекают за взятки. Проходит по моему району. Сегодня весь день ломал над этим голову. И... и вчера тоже. Всю ночь беседовал с Игорем, решали, что делать.

— Ну, и что делать? — растерянно проговорила жена.

— Не знаю, — Рудиков с усталой гримасой махнул рукой. — Такая чертовщина получается, что я, вроде бы, обязан делать одно, а делаю совершенно обратное. Я — заместитель прокурора, блюститель законности. Но я же и друг обвиняемого. Что-то должно возобладать. Полнейшая неразбериха мыслей...

— Заяви самоотвод, — посоветовала Ирина и села рядом. — Пусть это дело решается без тебя. Самый честный выход.

— Ты что? — вздохнул Рудиков. — Был бы я просто следователем, которому поручили вести дело, тогда можно было бы. Тут всё однозначно, всё по процессуальному закону. А в моём положении? Как я заявлю начальству, что взяточник — мой товарищ, прошу, мол, связать меня, заткнуть кляпом рот и держать так, пока приговор суда не вступит в законную силу. Такая компра мигом сгубит всю мою дальнейшую карьеру. Пиши — всё пропало. — Ирина на эти слова согласнo кивнула. — И Дзюгина можно понять, — продолжал рассуждать Рудиков, — он мой друг, по-дружески просит помощи...

— Володя, в какое время ты живёшь?! — всплеснула руками Ирина. — Вокруг — одни проходимцы. И твой Игорь — бессовестный взяточник, я давно примечала в нём криминальную жилку и всегда была против вашей дружбы...

— Выходит, что мне надо заявить Игорю: выкручивайся сам, как можешь? — Рудиков неприязненно посмотрел на жену. — Будем по-газетному принципиальны, по-библейски бесстрастны. Так, что ли? Закон есть закон? Да?

— Запомни, не поступишь так, как я тебе советую — конец твоей карьеры. — Ирина поднялась и направилась в кухню. Уже из кухни донеслось: — И Анжела его — натуральная кукла, ветренная бабёнка, без малейших духовных запросов.

«Эх, знала бы ты полный расклад», — вздохнул Рудиков. Он лёг и опять нахлобучил на лицо подушку.

После ласкового августа наступил дождливый, мутный сентябрь. Стук капель о жёсть подоконника посылал, видимо, на мозг Рудикова какие-то умиротворяющие импульсы, и у него, когда он задумывался, отвлекаясь от бумаг и посетителей, создавалось настроение покоя и ясности жизни. Ни о чём не жалелось, ничего не хотелось.

Не задерживаясь по окончании рабочего дня, Рудиков не спеша вышел из здания прокуратуры, остановился под козырьком крылечка, расстёгивая зонтик. От кустов неподалёку отделилась ссутулившаяся фигура в курточке с поднятым воротником, в кепочке блинчиком.

— Ты меня ждёшь? — узнав Дзюгина, удивлённым голосом спросил Рудиков.

— Тебя, тебя. Не твою же конопатую секретаршу, — Дзюгин, судя по всему, здорово перемерз. На худом, бледном от холода лице выделялся прямой, как треугольник, покрасневший нос. Вельветовая кепочка обмокла и с неё на нос капали дождевые капли.

— А где же твоя «ласточка»?

— Опечатана в гараже, — Дзюгин въедливо посмотрел в глаза приятеля. — Ты и об этом не знаешь? Так-то ты интересуешься моим делом. Ничего не скажешь — друг. А ещё помочь мне клялся.

— Игорёк, не так всё просто, — Рудиков протестующе повысил голос.

— Короче, надо поговорить. Заскочим куда-нибудь, посидим?

— Можно, — неуверенно согласился Рудиков. — На Садовой, в пивбар. Только платить буду я, — предупредил он на ходу. Дзюгин хмыкнул и ничего не ответил.

В пивном зале посетителям курить не разрешалось. Дзюгин курил украдкой, пряча в ладони сигарету и выпуская дым куда-то себе под мышку. Он ещё не совсем согрелся и его рука, когда он подносил к губам кружку, мелко подрагивала.

— ...Я постоянно держу твоё дело на контроле, — оправдывающе говорил Рудиков. — Даже, мне кажется, вызываю недоумение Николай Николаевича.

— Этот твой Николай Николаевич, — недовольно цыкнул Дзюгин, — не следователь, а прямо крыса бумажная, зануда и копуша, как дряхлый дед.

— Может, у него тактика такая?

— Тактика! Ты что, не мог другому следователю моё дело поручить? С другой тактикой.

— Кто ж знал, что так выйдет? — потёр лоб Рудиков. — Ты тоже хорош: предлагать Николаю Николаевичу в лапу! В людях не разбираешься, Игорь. Только хуже сделал. Он ещё пуще в тебя вцепился, как будто ты ему личное оскорбление нанёс.

— А, ладно, — отмахнулся Дзюгин и загасил сигарету в капельке пива на столе, бросил окурочку в вазочку для салфеток. — Все берут, жизнь сейчас такая: сегодняшним днём живём, реальностью — а не какими-то туманными идеалами. У твоего Николая Николаевича просто в зобу дыхание спёрло, а глаза так и спрашивают: сколько?

Рудиков смолчал. Опустив глаза, он следил за оседающей в бокале пивной пеной.

— Я тебе сколько должен, Игорь? — будто что-то преодолевая, с натугой спросил он и поднял на приятеля глаза.

— Ты что это, Вовик? — У Дзюгина высоко взлетели брови. — Какие долги, старик? Не мели глупости!

— Ну, как же... Ты же... намекал, что много на меня потратил. Я считаю...

— Брось, брось! — Дзюгин закурил, уже не прячась, выпустил дым в потолок. — Между нами какие могут быть долги? Мы же друзья, а не какие-нибудь «вась-вась». Кореша со студенческой скамьи... — Дзюгин недобро усмехнулся, — ...и до самой скамьи подсудимых. Брось, Володя, о долгах. Скажи прямо: хочешь кинуть меня в беде?

— Нет-нет, что ты, Игорь! — Рудиков дёрнул головой и опять опустил глаза. — Всё нормально, Игорёк, все нормально...

«Физическое здоровье зависит от здоровья психического», — прочёл Рудиков начальную строчку газетной статьи на медицинскую тему. Он возвращался с судебного заседания и, дожидаясь трамвая, чтобы занять чем-то время, подошёл к газетному стенду. «Ещё как зависит», — согласился он. В последнее время чувствовал себя Рудиков весьма нездоровым. Подозревая, что у него грипп или какая другая заразная хвороба, по вечерам мерил температуру и разглядывал в зеркало веки. Веки были подтверждающе красными, но термометр стабильно показывал нормальную температуру.

Это от того, должно быть, догадывался Рудиков, что внутри у него идёт борьба двух враждующих человечков. Непримиимые забияки мутузят друг дружку без передышки, день и ночь, у них уже зашлись сердца, ёкает селезёнка, срывается дыхание — но они сами никогда

не помирятся и ни один из них на лопатки не ляжет, пока он не выберет из них победителя. Да что, казалось бы, проще: ткни пальцем в любого и скажи: «ты победил». Но что хуже — предать друга или нарушить закон, которому ты должен быть верен, как солдат — присяге? Или не нарушать закона, а Игорю просто сказать, что, мол, не прав, отвечай за содеянное, вина доказана... В этот момент человечек, на майке которого было написано — «карьер», так врезал прямой правой в лоб противника с надписью на майке — «дружба», что последний зашатался и рухнул на колени... Служебный долг, безусловно, в первую очередь. Это понятие общественное, а друг — это понятие сугубо личное... Покачавшись на коленях, человечек рухнул лицом в жёсткий пол ринга.

В раздумьях Рудиков чуть не пропустил трамвай. Вовремя спохватившись, он успел вскочить в закрывающуюся дверь. В вагоне, прижимая к груди папку с документами, снова отдался мучающим его размышлениям. Нокаутированный было человечек поднялся, держась за канаты, встал в боевую позицию. «Игорь, конечно, не такой идеальный член общества, но, говорят ведь, что друзей не выбирают. Предам друга — предам любого... Как жить буду? Неужто привыкну? Вот метаморфозы какие, и где это я нахватался? Как заразился от чего-то или кино посмотрелся, или книжек начитался...»

В коридоре прокуратуры Рудиков столкнулся со старшим следователем Яйцовым Николаем Николаевичем.

— А я как раз к вам заходил, — сказал Николай Николаевич, — нужно подписать обвинительное заключение. — Он показал уже подшитое полностью дело, обложка которого была оформлена с любовной аккуратностью двухцветным фломастером.

Рудиков пропустил Яйцова вперёд себя в кабинет, раздеваясь, спросил, какое дело.

— А по этому Дзюгину, нотариусу, — ответил Николай Николаевич и потрогал двумя пальцами круглую лысинку на своей макушке.

Рудикову показалось, что Яйцов заметил его замешательство и, пряча лицо, без дела принялся что-то искать в ящичке стола.

— Уже закончили?

— А что ж, я такие дела, как орешки... Правда, обвиняемый свою вину так и не признал. Но это ничего, доказательств достаточно, дело твёрдое.

— А почему вы к шефу не обратились? — продолжая рыться в столе и чувствуя какой-то подвох, глухим голосом спросил Рудиков.

— Так ведь прокурор уже два дня как в отъезде, — удивился Яйцов.

— Ах, да, — вспомнил Рудиков, — на конференции.

— На конференции, — подтвердил Яйцов. Ещё раз потрогав свою лысину, он вкрадчиво проговорил: — Вы зря сомневаетесь, Владимир Сергеевич, я по опыту знаю, что дело пройдёт. Подумаешь, этот взя-

точник вины не признал. Наглый тип, чувствует чью-то поддержку, прожжённый махинатор и, простите за выражение, наш коллега. Суд поймёт. Всё логично, вы не сомневайтесь, Владимир Сергеевич.

— Хорошо, оставьте дело. Я посмотрю. Сроки расследования ещё не истекли?

— Не истекли, — обиженно надулся Яйцов. — Натё. Всё уже оформлено, до последней запятой. Подпишите и отсылайте в суд. — Николай Николаевич задержался у дверей, кашлянул и с чувством полного понимания субординации с еле заметным упрёком проговорил: — Насчёт ареста, кх-м, зря вы... Владимир Сергеевич, возражали. Не тот это человек, который... Поверьте моему опыту, кх-м... Могут быть непредвиденные последствия.

Дело Дзюгина было расследовано Яйцовым с дотошной последовательностью, это Рудиков подозревал, в чём и убедился. Подробнейшие протоколы допросов, с экскурсами в биографию обвиняемого, аж три характеристики о личности, заключение эксперта, вкладки с фотографиями подчисток — и жёсткая логика резолютивной части обвинительного заключения. Твёрдое дело, как говорят у них в прокуратуре — «по-яйцовски». Вряд ли какой адвокат сможет раскачать камни в фундаменте обвинения, хотя Дзюгин упорно не признаёт своей вины.

«А ведь он действительно виноват», — как-то отстранённо подумал Рудиков, словно, обойдя вокруг интересующего его объекта и вернувшись опять к исходной точке, он теперь делает вывод. Взгляд упал на бланк описи имущества. Вот первой, по порядку, идёт Игорёва «ласточка». В её багажнике до сих пор, наверное, лежит шашлычница, от которой ещё веет запахом тех шашлыков... Тех, последних. И в закатных лучах между песчаных берегов под размытыми корнями сосен незримо движется лесная речка, а на бархатистой траве, с чётким абрисом на фоне заката, выступают пьянящие душу линии бёдер подружек...

Рудиков поднял телефонную трубку. Медленно крутя диск, набрал номер. Ощущение было такое, будто он собирался сообщить кому-то о смерти близкого человека.

— Да-а, — отозвался в трубке раздражённый голос Игоря.

— Игорь, это я.

— Ну? — в голосе проявился интерес.

— Дело твоё закончено. Лежит передо мной с обвинительным заключением.

— Знаю! — резко ответил Игорь. — Вчера ваш Яйцов знакомил меня с материалами дела. Короче, спички у тебя есть?

— Что? Не понял...

— Я говорю, какие твои действия? Что можешь предпринять?

— Какие же мои действия?.. Я не вижу больше никаких возможностей. Дело, как говорится...

— Слушай, ты, друг до гроба! — в голосе Игоря слышались насмешка и угроза. — Я заранее знал, что из-за твоей блистательной карьеры ты ради меня и пальцем не пошевелишь. Иллюзии о дружбе, любви и тому подобной хренотени выпали у меня вместе с молочными зубами. Так вот, слушай, если меня посадят, твоя карьера покатится к чёртовой матери... Я знаю, как это сделать. Понял? Вот и шевели мозгой! — и Дзюгин повесил трубку.

На губах у Рудикова застыла растерянная улыбка. «А молодость, оказывается, уже прошла», — с чего-то вдруг подумал он.

В кабинет заглянула секретарша Маша и спросила:

— К вам посетители на приём. Пускать?

— Ко мне? — рассеянно переспросил Рудиков. — Да-да, минут через пять.

Он потёр лоб, точно его сбили с мысли и он забыл, что собирался сделать. Потом пододвинул к себе сложенные стопкой экземпляры обвинительного заключения и на первых листах, под грифом «Утверждаю», поставил свою подпись. Не опуская авторучки, вынул из ящичка стола чистый лист бумаги и размашистым почерком стал писать заявление об увольнении из органов прокуратуры.

...Не прошло и минуты. Рудиков перечёл написанное и, поморщившись от вдруг явственно проникшего в ноздри пряного запаха августовских вечеров, свернул лист заявления вдвое, потом вчетверо. Поднатужившись, разорвал этот плотный квадратик и бросил обрывки в урну под столом. «А молодость, оказывается, уже прошла...», — ещё раз подумал он и крикнул в дверь:

— Входите!

И наступит утро

— ...Я не представляю, что может быть другая жизнь. То есть, я хочу сказать, что — вот как я сейчас живу — так я и хочу жить...

— Всегда, — подсказал кто-то.

— Ну-у, не всегда. Так не получится... А как можно дольше. Побольше и подольше.

Язык у Володьки уже заплетался, однако ему очень хотелось говорить. Говорить ярко, убедительно и доходчиво для всех. Но ярко и доходчиво не получалось. А Володька все пытался и пытался, забираясь в своих попытках в такие словесные дебри, что вернуться назад, к мучившей его мысли, никак не мог. Он раскраснелся, отпустил узел галстука, под его светлыми усиками прилепилась, как хлебная крошка, виноватая улыбочка.

— А, ладно. Скажу лучше чужими словами. За то — чтобы молодость знала, а старость — могла.

— Наконец-то, — с облегчением вздохнул парень лет двадцати восьми, по стилю одежды похожий на дерзкого рокера, а по лицу — на простого деревенского парнягу. — Сколько можно слушать твои бредни, Вовик.

— Пусть болтает. Он всё-таки виновник торжества, — с начальнической интонацией в голосе сказал полнеющий блондин с аккуратным прямым пробором.

Залапанный стакан с тёплым армянским коньяком обошёл по кругу. Освобождающиеся от стакана руки потянулись вниз, к картонному ящику из-под экспортной водки, на котором горкой навалены колбаса, жареная курица, мелко нарезанные яблоки.

— Для дамы, — Володька с дурашливой галантностью преподнёс куриную ножку единственной в этой мужской компании девушке, которая стояла в общем круте над ящиком, постукивая белым сапожком по полу и небрежно поигрывая концами длинного шарфа. Девушка откинула назад кудлатые рыжие волосы и ответно улыбнулась Володьке мокрыми от коньяка губами.

В полукружьях окон, под самым потолком, постепенно стемнело. Включили свет. Высокие штабеля ящиков с пустыми бутылками загораживали и без того слабую лампочку. Полумрак смягчал грубую обстановку подвального помещения, в котором размещался пункт приёма стеклянной тары.

Коньяк уже оказывал своё разлагающее воздействие на психику и, как в химической реакции, характеры — у кого быстрее, у кого медленней — распадались на составляющие элементы. Постепенно одни из этих элементов растворялись без остатка, как будто их и не было, другие выпадали в осадок и никакая «царская водка» ничего не могла с ними поделать.

— Я извиняюсь перед своими гостями, что мы собрались в такой, хм... экзотической обстановке. Но это даже хорошо, если задуматься, своей необычностью... — Володька опять разговорился и пошел блудить в словесном тумане, но на него уже, казалось, никто не обращал внимания.

— А почему вы — виновник торжества? — перебила его вдруг девушка, в свою очередь, мучаясь с куриной ножкой, не зная, как укусить её наиболее культурным образом. — У вас что, день рождения?

Володька тут же сбился с мысли и замолчал с виноватой улыбкой. Потом перестроился на волну вопроса и всё с той же витиеватостью принялся объяснять, что вот ему присвоили новый чин. И, если подводить под общий табель о рангах, он в тридцать один год добился майорского чина, а...

— А в тридцать пять станет уже подполковником — и пошёл, пошёл... — за Володьку договорил блондин с аккуратным пробором. — Надоел уже всем своими подсчётами. — Он выплюнул спичку, которой ковырял в зубах, и поднялся со своего ящика.

— Это — мой начальник, — с пьяной почтительностью шепнул Володька на ухо девушке.

Та, в самом деле или нарочно, сделала вид, что удивилась, и уронила на бетонный пол куриную ножку. Володькин начальник посмотрел на часы, разыскал свой «дипломат» и без разъяснений и прощаний направился к выходу.

— Максим! Максим Альбертович!.. Альбертыч, ну ты что? — Володька с расстроенным лицом побежал за ним. Через полминуты они вернулись назад и виновник торжества поспешно достал из своего объёмистого помятого портфеля очередную бутылку. В портфеле при этом красноречиво зазвякало и весь круг над ящиком с остатками закуски, до этого было загрустивший, опять оживлённо загомонил.

— Где наш стакан? Стакан где? — вопрошал Володька, а его начальник, видимо, продолжая начатый разговор, смотрел на Володькин портфель, бубня себе под нос: «Меня возмущает такая жизненная позиция... Пьянствовать чёрт-те где, чёрт знает с кем. Со всяким

ханыжьем... То в какой-то грязный сарай притащит, то в какую-то подсобку какой-то подозрительной шашлычной... Теперь — в этом подвале. Какой там к чёрту авторитет...»

Слова Максима насчёт «всякого ханыжья» обидели мужчину в кожаном пальто. Он выглядел постарше других, лет за сорок, и всё время до этого момента его одутловатое бледное лицо сохраняло выражение самоуважения и отстранённости от всего происходящего. Но тут он вдруг, встрепенувшись, выпрямил спину, вздёрнул подбородок и возразил Максиму мягким баритоном:

— Почему вы так говорите? Мы с вами не знакомы, но это не причина, чтобы огульно причислять меня к ханыжью...

— А давайте познакомимся! — перебивая его, предложила улыбающаяся девушка. Начав с Максима, она протянула ему ладошку и, с кокетливым поворотом головы, назвалась: — Лина.

— Максим, — без всякого дружелюбия тремя пальцами пожал он её ладонь. И добавил: — Начальник Володьки.

— Давайте, вправду, познакомимся, — бубнил сам Володька, оделяя всех по кругу порцией коньяка. — Мы все тут такие хорошие ребята...

— Действительно, когда пьёшь из одного стакана, надо знать, кого потом тащить на анализы, — хмыкнул парень в рокерской кожанке и пожал своей рукой в шофёрской перчатке мягкую влажную ладошку. — Станислав, или просто Стас... Человек мужественной профессии.

— Из уголовного розыска, — добавил Володька. — Опасен приёмами каратэ, которые применяет языковым способом, без всякого предупреждения.

— Ну, зачем же так грубо фантазировать, — Стас в упор, намекающим взглядом, посмотрел на приятеля. — Этак я тоже могу соврать, что ты работаешь в прокуратуре...

— Николай, — представился флегматичный парень в очках и старомодной узкополой шляпе. — Работаем вместе с Владимиром. Близкие, так сказать, коллеги.

— Виталий, если кто не знает, — по-гусарски щёлкнул каблуками высокий парень с широченными плечами спортсмена, в мятом рабочем халате поверх сертификатной рубашки. — Хозяин этого погребка. Извините за дискомфорт, но это рабочее, так сказать, место.

— Я тоже — коллега Владимира Сергеевича, — пожимая ладошку Лины, робко сказал паренёк с худым конопатым лицом и по-женски большими карими глазами. — Дима.

— Воплощённая невинность, — хмыкнул Максим, иронично скривив губы. — Будущий столп правосудия... Ну, столбы, за вас, ха-а, — резко выдохнув, Максим приложился губами к залапанному стакану. Постепенно подымая доньшко стакана, втянул в себя его содержимое.

— А вы? — спросила Лина у мужчины в кожаном пальто. — Вы, наверное, ого-го-го — самый-самый важный?

— Ну, почему же, — мужчина с достоинством повёл головой. — Конечно, такая обстановка и меня несколько коробит. Непривычно... Однако, если будем считать, что это просто дружеская пирушка, пожалуйста, я представлюсь. — Он чуть приподнялся с ящика и покивал в разные стороны. — Гласов Андрей Петрович. Директор пятого универсама. Женат, двое детей, не судим, совесть чиста...

Тут Стас невежливо скаламбурил насчёт чистой совести. Андрей Петрович опять сделал вид, что очень обиделся, с надменно-надутым видом отодвинул свой ящик подальше от Стаса, поближе к Максиму.

Максим, чуть ли не слюнявя губами ухо виновника торжества, громко шептал:

— Почему он здесь? Я тебя спрашиваю: почему о-он здесь?

— Так куда ж денешься? Времени в обрез, где б я всё это достал? — Виногато улыбаясь, Володька похлопал по своему портфелю. — Крайняя необходимость, Альбертыч...

— Эх, я так жалею, что затащился с тобой на эту помойку... На эту попойку. Наприглашал всякую шваль. Подследственного своего — это ж надо додуматься... Какой тут к чёрту авторитет.

— Ой, а одного ещё не хватает! — звонко воскликнула Лина, громко хлопая в ладони для привлечения общего внимания. — Я помню, был ещё один. Такой смешной-смешной... Ой, помру от смеха. Было восемь, стало семь — а один усох совсем.

— Правда, что ли? — Максим строго посмотрел на Володьку.

— Да не может быть, — удивился Володька. — Кто ж это ещё мог припереться...

Лина смеялась, по-ребячьи хлопала в ладоши и твердила:

— Был, был...

— Вот так, на полном скаку, мы теряем лучших товарищей. В прямом и переносном смысле, — сказал Стас, не отвлекаясь от колоды карт, которую они с хозяином подвала Виталием раскладывали на ящике в сторонке от остальных. — Что же ты, Вовик, забыл своего друга-горемыку, который наверняка спит сейчас, всеми позаброшенный, где-нибудь за штабелем, в почти антисанитарных условиях.

Володька хлопнул себя по лбу и опять стал улыбаться.

— Ах, точно. Калистратов... Вы же его знаете — адвокат.

— Этого-то мы знаем, — согласился, но всё равно неодобрительно, Максим. — Тоже личность — не идеал морали...

— Я же говорила! — обрадовалась Лина. Она пристроилась на коленях невозмутимого Николая, обвив его шею концами своего длинного шарфа, и одновременно заигрывала с сидевшим рядом Димой, то строя ему серьёзные глазки, то шаловливо показывая розовый кончик языка. Дима вспыхивал застенчивым румянцем, прятал глаза и рукавом пальто стирал со лба капельки пота. — Ой, помрёшь со смеха! Как в лесу, друг друга растеряли!..

Володька подвёл к коллективу сонного, помятого, испачканного в пыли и стружках Калистратова. Худощавое, с впалыми щеками, лицо Калистратова выражало муку и мольбу о покое. Виновник торжества помог приятелю опуститься на свободный ящик и затем, как бы в знак наказания за причинённое беспокойство, шлёпнул ребром ладони по шляпе на голове адвоката. Шляпа примялась и поклоунски слезла на самые уши Калистратова. Всем сделалось очень смешно или, может, просто общее настроение дошло именно до этой стадии. А девушку Лину смех до того разобрал, что она начала икать и, если бы не сидела на коленях Николая, то не удержалась бы на ногах.

— Ну, что вы, в самом деле, — со слабым возмущением бурчал Калистратов и всё пытался поправить шляпу. Но только он определял её на место, как Максим или Володька снова хлопали по ней ладонью — и все опять заходились хохотом. — ...У меня сегодня такой тяжёлый день. Обтяпал такой спорчик... Бац-бац — и в самую десятку... Всё, как я говорил. Клиент прямо обалдел. А я ему говорил: всё будет наше... только не скупись, дядя. Бац-бац — и отняли у ответчика кооперативную квартиру, какой-то там музейный сервиз и дачу в придачу, хе-хе... А ответчик — его родная дочь. А ему наплевать, а мне — тем более... Ну, перестаньте, ребяташки... Альбертыч, ты же начальник, оставь, пожалуйста, в покое мой головной убор... Потасил меня, значит, клиент в кабак, а там я Володьку встретил. У него радость — и у меня радость. Вот так. — Калистратов перестал бороться за свою шляпу, сложил руки на коленях и с грустным лицом затянул песню: — Вот и встретились два-а а-адиночества-а...

Девушка Лина пересела на ящик Калистратова, положила ему на плечо голову, доверчиво, словно была с ним знакома, по крайней мере, лет пять, и начала тихонько подпевать. Директор универсама, всё такой же отрешённый и замкнутый, как благородный пленник на пирушке диких разбойников, часто доставал из кармана отглаженный носовой платок и утирал им губы. Будто в задумчивости, опустив взгляд в бетонный пол, он внимательно и впитывающе прислушивался к тихому разговору виновника торжества со своим начальством. Те говорили о работе, только точно сейчас поняли острую необходимость решить до сих пор не решённые проблемы. Володька что-то объяснял с оправдывающимися интонациями, а Максим перебивал его и часто повторял: «Ты запомни, что досрочный чин тебе присвоили благодаря мне-е». «Я помню», — кивал Володька и опять начинал что-то объяснять. Стас и хозяин подвала Виталий, ни на что не обращая внимания, по очереди кидали друг другу карты. Виталий — с высокомерным презрением проигравшегося вдрызг графа, Стас — с ехидной улыбочкой человека себе на уме.

— Поосторожней с окурками! — ни к кому конкретно не обращаясь, раздражённым голосом предупредил Виталий. — У меня тут всё-таки какие-никакие, а материальные ценности.

— Не отвлекайся, — коротко посоветовал Стас. — Себе дорожке выйдем... Мои, мои — не лапай.

Флегматичный Николай, как обьевавшийся рыбой тюлень, смиренно сидел, прижавшись спиной к трубе батареи и уставившись в одну точку. То ли ему было очень хорошо, то ли, наоборот, очень плохо. Застенчивый Дима, морща конопатое лицо, мучился от каких-то внутренних борений. В конце концов, на что-то решившись, он тронул за плечо Андрея Петровича.

— Не скажете, сколько время?

— Что... а? — Андрей Петрович вздрогнул и посмотрел на Диму так, точно тот наступил ему на ногу. — Время? Без пяти десять.

— Так нельзя, — разговаривая сам с собой, вздохнул Дима. — Нельзя так.

— Это вы о чём? — насторожился Андрей Петрович и, уже с вниманием, посмотрел на Диму.

— Жена меня дома ждёт. А я здесь. Мы три месяца женаты — а я уже гуляю. Нехорошо, правда?

— Что ж, — рассудительно проговорил Андрей Петрович, — мыслите вы очень положительно. Одобряю. Я сам — сторонник домашнего очага.

В этот момент раздался треск ломаемого ящика — и под сводами подвала прокатился истеричный визг адвоката:

— А-а, гнида-шулер!

Как стало ясно из всплеска эмоций и ругательных реплик, Калистратов, занявший место Стаса у карточной колоды, очень близко к сердцу принял проигрыш кровного червонца и чисто профессионально попытался вернуть его обратно. Принципиальный в карточных вопросах Виталий, применяя свой профессионализм, одним ударом уложил хлипкого адвоката на бетонный пол.

Покинув свои ящики, весь коллектив бросился разнимать картёжников. Отсутствовали только Стас и девушка Лина. Верещавшего Калистратова подняли с пола и отряхивали в четыре руки, с открывшейся вдруг у всех душевностью, уговаривая успокоиться. Тот вырывался, брызгая слюной, визжал и мотал головой.

— Подлец! Сволота задрипанная... У-убью!

— Думаешь, самый умный... — хмыкал Виталий, гордо задирая подбородок. — Он думает — он самый умный...

— Друзья! Ребята, ну кончайте ссориться... У нас ещё коньяк остался, — призывно обращался ко всем Володька. — Зачем ссориться, или нам живётся плохо? Ведь всё так было хорошо...

Из полумрака, в дальней стороне подвала, возник, прямо как опер-

ный чёрт на сцене, хохочущий Стас. Его аж мотало от смеха, левой рукой Стас вытирал выступившие на глазах слёзы, а правой — задёргивал молнию на джинсах. Володька, одевающий всех по кругу порциями коньяка, протянул стакан подошедшему Стасу. Тот, посерьёзнев на мгновение, выпил и опять зашёлся смехом. Потом пошептал что-то на ухо Володьке и Максиму. Володькина улыбка приобрела загадочное выражение, а его начальник раза два хохотнул каким-то жирненьким смешком и затем осуждающе покачал головой.

— Парни! — громким, но уже по-пьяному скисшим голосом воскликнул Дима. — Парни...

— Ну, чего тебе? — будто щёлкнув кнутом дрессировщика, спросил его Максим. — Парень!

— Мне п-пора домой, — совсем тихо промямлил Дима. — Жена ждёт. Вы меня извините.

— Топай, — разрешил Максим, потом посмотрел на другого своего подчиненного, окликнул: — Николай! Ты тоже пойдёшь или останешься? Николай поправил очки на носу и только после этого повернул голову на окрик. Хорошо поставленным голосом радиодиктора сказал:

— Как прикажешь, шеф. Могу хоть до утра.

— Вот, молодец. За что и ценю: всегда молчит и на всё согласен.

— Как наёмный убийца, — пошутил Стас.

Максим засмеялся, и Николай, вслед за этим, тоже необиженно улыбнулся.

— Э-э, подбирать подчинённых — это большая мудрость, — значительно сказал Максим. — Не того взял, ошибся в характере — погореть можешь. Или какой-нибудь шустряк попадётся, сам тебя на повороте обойдёт, вперёд выскочит, ты у него в подчинённых станешь — тоже нежелательно...

— Лучшие подчинённые — это дураки, — в виде подсказки добавил Стас, кидая в рот кусочки яблок. — На их фоне сам умным кажешься.

— С дураками хлопотно, ну их. В характерах нужно разбираться и держать вокруг себя такие кадры, устремления которых не противоречат твоим, но и имеют те же средства достижения. Тогда получается сплочённый коллектив.

— Это правильно. Это точно, — по-слоновьи закивал головой директор универсама. — Мудрые, ей-Богу, слова.

— И вообще я люблю честных, открытых людей...

Из глубины подвала послышался непонятный шум и перед компанией опять появился уже с пять минут как ушедший домой Дима.

Дима испуганно хлопал длинными ресницами.

— Там... эта девушка, — он испуганно тыкал пальцем себе за спину. — Ей плохо, наверное. Она лежит... и совсем голая. Что делать?

Стас, Максим и Володька засмеялись.

— Ничего не надо делать. — Володька поднялся с места. — Иди, Дима, домой. Ей очень даже хорошо. Иди, иди, — подталкивая коллегу, Володька удалился вместе с ним, прихватив стакан с остатками коньяка.

Андрей Петрович, несколько обеспокоенный, поинтересовался у Максима:

— Может, что-нибудь серьёзное?

— Всё в норме, — отмахнулся Максим. — Ребята без этого не могут. Так, небольшое... шоу.

— Совсем ма-аленькое, — закивал Стас. — Можете присоединиться, если желаете.

— У него такого добра каждый день на работе, — Максим добродушно усмехнулся. — Наверное, шалите с молодыми продавщицами? А?

— Ах, вы об этом, — не сразу понял Андрей Петрович. — Ну, что вы, что вы... Жена — хуже всякого цэрэу, к тому же, надо думать и об авторитете. Сотни глаз, сами понимаете. Ничего не скроешь.

— Вот-вот, — мрачно вздохнул Максим. — Надо думать об авторитете — а какой, к чёрту, авторитет с такими шалопаями. Володька... то есть небезызвестный вам Владимир Сергеевич, живёт так, будто со скалы сорвался. Без оглядки как-то, даже страшно за него... — Директор универсама понимающе зачмокал и закивал. — А с другой стороны, сам порой подумываешь: стоит ли разрываться между авторитетом и прелестями жизни.

— Не вижу проблемы, — Андрей Петрович придвинул свой ящик поближе к собеседнику. — Будет солидный авторитет — будет карьера. А чем выше ступенька, тем шире ассортимент прелестей жизни. Дефицит — право избранных, я так понимаю...

— Ну, что, споем, что ли! — хулиганским голосом вдруг вскричал Калистратов, точно петух, проспавший восход солнца. — Чего сидим, скучаем?! Шлея попала мне под хвост — и я пою, как певчий дрозд. Но мне сказал один приятель, что я пою, как певчий... дятел. — Сделав стихотворное вступление, адвокат затянул свою любимую: — Вот и встре-етились два-а! а-адиночества-а!..

Андрей Петрович демонстративно зажал пальцами уши и поморщился.

— Не обращайтесь внимания, — равнодушно сказал Максим. — Он такой озорной гуляка. Башковитый был мужик, у нас работал... Теперь вот совсем опустился.

— Моё мнение, извините, был бы башковитый — не опустился бы.

— Тоже верно. Чтобы трезво оценивать обстановку, видеть, так сказать, второе дно жизни, мало просто ума — нужна мудрость... В этом смысле, мой главный, — Максим не стал называть должность и фамилию «главного», просто показал пальцем на потолок, — бо-

ольшой мудрец. Как обустроился, ка-ак укрепился! Поражаюсь. И сверху, и снизу. Не то что ногтем не сковырнёшь — кувалдой не выбьешь из обоймы...

— Таких только динамитом, — вмешался в чужой разговор Стас.

Максим глянул исподлобья и нейтральным голосом спросил:

— Ты знаешь, о ком я?.. Ну, если знаешь, так молчи.

— Есть люди, есть, — с завистливым вздохом протянул директор универсама. — Умеют мудро жить...

Сидевший со смурным лицом Виталий, наверное, чувствовавший себя неприкаянным без карточной колоды, поднялся с места и, слегка пошатываясь, направился куда-то вглубь своих владений. Стас окликнул его, предупредил, что «там» занято.

— Я по нужде, — буркнул хозяин подвала.

Калистратов, пропев раза три один и тот же куплет, закончил своё пение на завывающей ноте и, медленно кренясь, ткнулся физиономией в свёртки с остатками закуски.

— Ну, вот, — развёл руками Стас, — испортил нам весь натюрморт. А я голодный, как собака... Эх, ты, наш Плевако, защитничек ты наш горемычный.

Он перетащил адвоката к стене и уложил его там на груды смятых картонных ящичков. На обратном пути подобрал с пола куриную ножку, осмотрел её со всех сторон, слегка почистил перочинным ножиком и стал уплетать с аппетитом весь день не евшего человека.

— ...Я только хочу тебя предупредить, — Максим уже перешёл с директором на «ты», — не пытайся обстригать это дело в обход меня. Мимо меня оно никак не проскочит... Ты понял?

Серые глаза Максима от коньяка становились всё прозрачнее и всё больше напоминали безжизненные бутылочные стёклышки. Лицевые складки застыли, точно в гипсовом слепке. И только указательный палец сохранял подвижность и, будто автомобильный дворник, мелькал перед носом Андрея Петровича. Директор универсама, чем-то очень довольный, со всем соглашался, кивал и часто повторял:

— Ну, что вы... Ну, что вы...

— Володька! — рыкнул Максим, жестом отстраняясь от директора как от уже не нужного предмета. — Есть что-нибудь ещё у нас? Или я домой пойду!..

— Эка вас всех одновременно повело, — подивился Стас, обсасывая куриную косточку. — Вот, Николай — ему хоть бы что, молодец: сидит, молчит...

— Володька-а!

— Ну, чего вопить? — опять сказал Стас. — Вон портфель, наливай сам да пей. Зачем человеку мешать. Володька, каким бы подхалимом он ни был, тоже человек. Надо уметь прощать подчинённым их маленькие слабости.

— Маленькие слабости... — Максим посмотрел мёртвыми глазами на Стаса. — Если бы не я, он бы этого внеочередного чина сто лет не дождался. Я их маленькие слабости... — и указательный палец замелькал, точно подключенный к электромоторчику.

— Ну-ну, — усмехнулся Стас. — Не твоя нужда, ты бы и не почесался... Или я тебя не знаю?

— Меня ты не зна-аешь...

— Или ты меня не знаешь? — с нажимом спросил Стас.

В стеклоподобных глазах Максима сверкнул огонёк, Максим пожал губами и ничего не сказал.

— А вот и я! — подошёл Володька с неизменным выражением вины на улыбающемся лице. — Сейчас всё будет, сейчас. Где-то наш портфельчик? Где наш стаканчик?... — Он обернулся назад и крикнул: — Виталь, захвати, пожалуйста, стакан!.. Последняя бутылка, — предупредил он и вздохнул со скорбным сожалением. — Неужели вот так и наша жизнь... когда-нибудь. Кажется, всё так прекрасно, всё впереди — и вдруг неожиданно понимаешь, что... Эх! — Володька махнул откупоренной бутылкой, обрызгав Стаса коньяком. — Прекрасное далёко, не будь для нас жестоко. Прозит!

— Брось кривляться! — прикрикнул Стас. — Всё прекрасно... Всё хреново! И ещё хреновой будет.

— И что вы всё на меня ругаетесь. Ругаетесь и ругаетесь, — Володька непонимающе пожал плечами и широко улыбнулся. — Я уже так привык к ругани, что прямо не могу без неё, как токсикоман какой-то. Даже не обижаюсь...

— Нет, а ты попробуй обидеться, попробуй. Не получится у тебя, потому что ты — трус. Вот и прикидываешься таким добрячком. А добренькие — все трусы... Справедливым нужно быть! Справедливость — это главное в людях, везде и всегда, при любых режимах. Даже в воровском мире...

— Ну, это мы докатились! С кем себя сравнивать! — возмущённо запыхтел Андрей Петрович. — Я понимаю, конечно, товарищ хочет пофилософствовать. Но зачем же скатываться до таких сравнений. Воры... Коробит, ей-Богу, прямо коробит...

— А-а, не ввязывайся, — Максим дёрнул директора универсама за рукав. — Это такой хмырина, его только заведи, и конца не будет. Начнётся сейчас сеанс душевного стриптиза. Ладно бы себя, а то и других, хм... Посторонних хоть бы постеснялся, псих. Сколько раз Володьку предупреждал, чтобы в той компании, где я, его не было. Обязательно скандал случится.

— Ладно, мужики, гуляйте на свободе... — Стас захихикал над какими-то своими мыслями. — Все мы здесь прекрасные люди, Вовик прав. Даже те, от кого припахивает бензином-керосином, — он хлопнул ладонью по мощной спине сидевшего рядом Виталия, а

другой рукой обнял обтянутые кожей круглые плечи директора универсама. — А от вас пахнет чёрной икрой и финскими сосисками, — громко шепнул Стас в ухо Андрею Петровичу.

Тот поёжился и, немного поразмыслив, пока остальные смеялись, предложил:

— Если желаете, я могу вам... свой телефончик?

— Не надо, — Стас вздёрнул подбородок, точно униженный таким предложением. — Ваш телефон есть в записной книжке моего друга Вовы...

— Ой! Ой!! — вдруг истошно завопил Андрей Петрович. — Пожар! Горим!!!

Все вздрогнули от этого крика, потом мигом обернулись в ту сторону, куда были направлены выпученные от испуга директорские глаза. У дальней стены подпрыгивали к самому потолку красно-чёрные острые языки пламени. Дым, не находя выхода и чадя копотью, свёртывался в густой, быстро разрастающийся клубок.

— Ай-яй-яй, что наделали! — завопил Виталий и схватился за голову, как от горя, которое невозможно пережить.

— Тушить! — крикнул кто-то. — Огнетушители где! Воды!..

— Бежим! Сгорим, к чёрту!

— Телефон... телефон где?!

— Выход отрежет! Быстреей, быстреей, балбесы!

К охваченному огнём штабелю страшно было подойти. Сухие ящики быстро, как спички, вспыхивали в одно мгновение и в два мгновения превращались в пепел. Из огненной пирамиды летели по сторонам осколки, гвозди, хлопья копоты. Володька издали нацелился из огнетушителя, но тонкая пшикающая струйка даже не долетала до очага. Схватился огнём ещё один штабель, потом второй, третий... Изъеденные огнём, они рушились со стеклянным звоном, как хрустальные замки. В дымном мраке, освещаемом только огненными языками, невозможно было ни дышать, ни что-либо увидеть. Чьи-то кулаки молотили в запёртую изнутри дверь. Кто-то кашлял, захлёбываясь рвотой, кто-то стонал и ругался, чей-то тонкий голос визжал в смертельном ужасе...

Толкаясь, спотыкаясь и падая на крутых, скользких ступеньках лестницы, пробкой вылетели наружу, открытыми ртами жадно хватая холодный воздух. Последним выскочил Стас, с прожжённым рукавом куртки, со слезящимся глазом, в который попала искорка. Безудержно матерясь, Стас хватался то за дырку на рукаве, то за раненый глаз. Подвальные окна уже лизало пламя и из распахнутых дверей пульсирующе выбивало густые клубки чёрного дыма.

Максим, с «дипломатом» в руках, перебежал от одного к другому, ругался и толкал в спину.

— Чего встали... Быстро, быстро отсюда. Вы что, не понимаете?! Увидят если нас тут... Быстро все!

Переулок был безлюден, лишь редкие окна домов белели светом, на тротуаре шуршала под ветром собранная в кучу листва. Однако бегущим казалось, что топот их ног слышат в каждой квартире и за ними, словно за финиширующими на стадионе спринтерами, следят сотни заинтересованных глаз.

Не пробежав и с полквартала, директор остановился и, придушенно дыша, обляпил тополиный ствол. Язык у него вывалился, пухлые щёки дрябло поникли, точно сдувшиеся шарики.

— О-о, о-о... — еле выговаривал он. — Что ж это такое... Куда я попал, Господи. С ума сойти...

— Что встал? — злобно зашипел на директора Максим и в уголках его губ запузырилась слюна. — Что встал, кошачья задница? — Андрей Петрович, всё цепляясь за дерево, бессильно мотал головой. — Николай! — негромко крикнул Максим. — Хватай его, оттащим подалее, а там пусть хоть подышает. Ещё засветимся здесь из-за этого болвана.

Андрей Петрович покорно поднял локти и отдался на волю Максима с Николаем. Бежавший впереди Володька, вдруг споткнувшись на ровном месте, всем телом грохнулся об асфальт. Медленно подымаясь, он крикнул вслед пробежавшим мимо него:

— Эй! Эй! А Калистратов?! Мужики, а Калистратов-то?..

Володька рывком вскочил с колен и побежал назад. Максим бросил директора и кинулся за Володькой.

— Стой, дурень! Ты понимаешь, куда бежишь? Уже всё, уже поздно. Не поможешь, только навредишь и себе, и... и всем нам. Представляешь, если узнают, что мы там были — такая компра. Твой внеочередной чин будет последним в твоей карьере... А Калистратову уже не поможешь. Такой огонь... Да-а, — Максим с искренней горечью поморщился и потёр кулаком испачканный сажей лоб. — А он и сам виноват, закономерный итог его безалаберной жизни...

Стас и хозяин сгоревшего подвала Виталий тоже подошли к Володьке, тоже стали говорить, что в таком огне сами-то чудом ноги унесли. Володька уже никуда не рвался, стоял с понурой головой, с опущенными вниз глазами и уголками губ.

— И эта ещё... Лина. Тоже там, — спокойным голосом диктора сказал Николай, зловеще блестя очками под светом уличного фонаря.

— Да-а, — протянул Стас, — вот повеселились. До смерти не забудешь. Девчонка-то — чёрт с ней, туда ей, шалаве, и дорога. А вот Калистратыча жалко от всей души... Кто бы мог подумать. Да, повеселились...

— Я же говорил! Говорил или нет, чтобы окурки не бросали куда попало?! — почему-то пискляво вскрикнул Виталий.

— Заткнись, морда, — глядя в одну точку, сказал Стас.

— Тише, тише, вы! — крикнул на них Максим. — Что произошло, не изменишь. Теперь главное — самим не погореть из-за этого. Разбегаемся — и молчок. А тебе лично, — Максим повернулся к Виталию, — в особенности, когда начнут разбираться с твоим пожаром.

— С нашим...

Виталий, лязгая от холода зубами, хотел ещё что-то сказать, но Стас так взглянул на него, что хозяин подвала быстро-быстро, как в ознобе, закивал головой.

— Ты постой, — Стас придержал Виталия, направившегося было вслед за другими к трамвайной остановке. — Будет разговор.

— К-какой? Не видишь, задубел весь.

— Задубел, говоришь? Так иди погрейся в свой погребок. Пожар — твоих рук дело?

— Ты что?! — Виталий прыжком отскочил от Стаса.

— А то! Недостачу решил скрыть? Керосинчиком побрызгал, чтобы лучше горели твои баночки-бутылочки?.. Учти, нюх у меня собачий, профессиональный, я ещё там заметил, что от тебя керосином разит... Не дергайся, не дергайся... Ну, куда ты убежишь? — Стас держал Виталия за полу халата и Виталий, несмотря на в два раза большую массу и рост, выглядел растерянным, перепуганным мальчишкой.

— Не докажешь! — истерично выкрикнул Виталий. — Не докажешь!..

— Я-я не докажу? Я докажу, что ты на луне родился, если надо. Нет проблем. И не ори, не буди свидетелей своего преступления. Ты, гад, моего дружка погубил. Я этого тебе не прощу, ты у меня до-олго в должниках ходить будешь... Справедливость должна торжествовать.

Виталий на ходу вытащил двумя пальцами из заднего кармана брюк свёрнутую рулончиком пачку денег.

— На. Больше нет... Вымогатель.

— Это пока. Пока, — со значением повторил Стас, накрывая ладонью деньги и незаметно пряча их, как в карточном фокусе. Он повернул в сторону и рысцей побежал к трамвайной остановке.

Громко бренькая в отдающейся эхом ночной тишине, подкатил почти пустой трамвай. Володька бессильно шлёпнулся на сиденье, рядом с ним сел Николай. Максим, Стас и Андрей Петрович встали за их спинами. Затем Андрей Петрович сходил к кассе и оторвал пять билетов. Все молчали.

— А на душе-то как муторно, — поморщившись, сказал Стас. — Может, купим у таксистов, а? Я расплачусь. Помянем Калистратыча?

— Надо бы, — кивнул Максим, — чтобы стресс снять. От таких впечатлений психика совсем вконец расшатается... Ты как, Володь?

Вместо Володьки подал голос Андрей Петрович:

— Я пас, товарищи. Домой, понимаете, надо... и всё такое.

— Да-да, конечно, — согласился Максим. — Вас никто и не задерживает. Торжественная часть закончилась — а у нас своя компания.

— Я, только вот, хотел... — замялся Андрей Петрович, — для успокоения решить окончательно. Так сказать, поставить точки. Ну, с нашим делом...

— С нашим, — по-недоброму усмехнулся Максим. — С вашим. С вашим делом... И вообще, что вы лезете со своими шкурными делами... в такой момент. У нас горе — неужели непонятно? Могу уверить, что с вашим делом всё будет в рамках законности.

Андрей Петрович вспыхнул румянцем и вдруг, преображаясь на глазах, вздёрнул подбородок, гордо повёл обтянутыми кожей плечами.

— Законности?.. Я вас попрошу не оскорблять меня! — громко заявил он, что даже обернулись два пассажира с передних кресел. — Вы просто издеваетесь! Я не позволю, я найду и на вас управу. Не последняя инстанция. Найду, найду! — повторял директор, пятясь к дверям. — Ещё пожалеете. Знаем, знаем теперь...

Трамвай остановился и Андрей Петрович, не dokonчив фразы, шустро прыгнул со ступенек.

— Мразь какая, — огорчённо проговорил Максим. — Ещё возьмёт и телегу накаатает... Всё настроение испортил.

— Накатает, — равнодушно поддакнул Стас.

— Это всё Володька. Якшается вечно со всякой мразью. А неприятности на мою голову. Вот, чёрт возьми...

Погрузившись в свои мысли, Максим замолчал. На следующей остановке он кликнул за собой Николая и вышел, не попрощавшись.

Стас сел рядом с Володькой, заглянул снизу воспалённым багровым глазом в лицо приятеля, бодрячески хлопнул его по колену.

— Ладно, Вовик. Мы-то живём. И, как ты говоришь, хорошо живём. Наплюём на все печали... — Володька не отвечал. Он сидел, опустив ресницы, не шевелясь и как будто не дыша, был похож на тусклую, наполненную дымом только что перегоревшую лампочку. — ...Вот придёшь домой, ляжешь под бочок жене. Выспишься — и наутро мир станет прекрасным, а жизнь бесконечной.

— Ты знаешь, — через силу, словно выдавливая из себя слова, произнёс Володька, — я боюсь, что наступит утро... Я почему-то боюсь утра. И когда-то, когда наступит утро... мне кажется, я не выдержу...

Заглушая Володькины слова, мимо трамвая пронеслись две пожарные машины, сверкая маячками и истошно воя сиренами, как от невыносимой зубной боли.

Содержание

Мой любимый коллектив

Закон рынка, или Мой любимый коллектив	4
Моменты личной жизни.....	12
Лупырёв, его мамаша и его невеста.....	26
Соло на барабане	34
Быль о седой медведице	46
Угрюмый «француз»	51
Вся совокупность обстоятельств	59
Квадратность мира, или Пожарная лестница	63
По пути	73
Все хорошо!.....	90
Анализ крови	105
Календарик.....	112

Следствие по делу друга

Мир приключений	176
Ночь без особых происшествий	186
Больше никому.....	208
Балерина	220
Седьмой этаж, квартира справа.....	225
Следствие по делу друга	243
И наступит утро	257

Евгений Владимирович Жироухов

**МОЙ ЛЮБИМЫЙ КОЛЛЕКТИВ.
СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ ДРУГА**

Рассказы

Самарская областная писательская организация
искренне благодарит за поддержку и помощь
в реализации проекта

«Народная библиотека Самарской губернии»

***Ольгу Васильевну Рыбакову,
Лидию Алексеевну Анохину***

Книга издана за счёт средств бюджета Самарской области

Руководитель проекта

«Народная библиотека Самарской губернии»

Александр Громов

Издание подготовлено издательством

«Русское эхо»

Самарской областной писательской организации

Адрес: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 179,

телефон (846) 333-48-01

Подписано в печать 15.09.2009. Формат издания 60х90/₁₆.

Объём 17 печ.л. Гарнитура Georgia. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии издательства ООО «Книга»

г. Самара, ул. Песчаная, 1, офис 310, телефон (846) 267-36-82